

HEBA



2•2025



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юлия ПИКАЛОВА

Храмы. *Стихи* • 3

Александр ЛАСКИН

Жены Матюшина. *Документальный роман* • 7

Валерий СКОБЛО

Лучшая в мире страна. *Стихи* • 106

Эрик ШМИТКЕ

Метод Лаптева. *Повесть* • 109

Владимир СПЕКТОР

И правду победой зовут... *Стихи* • 153

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Юлия ДОЛГАНОВСКИХ

Темное сияние. *Стихи. Предисловие Д. Драгунского* • 156

ПУБЛИЦИСТИКА

Дмитрий ЛАНКО

Аграрный вопрос и финское экономическое чудо • 164

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Александр МЕЛИХОВ

Хороший повод вспомнить • 187

К 130-летию Всеволода Иванова

Мария ЧЕРНЯК

«Оглухший композитор» Всеволод Иванов • 196

Елена ПАПКОВА

Путь писателя в контексте истории:
Всеволод Иванов • 201

Всеволод ИВАНОВ

Пегий берег. Рассказ • 207

Вера КАЛМЫКОВА

Валерий Брюсов — культурный герой русского
модернизма. Статья вторая. Проза. Движение • 212

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. Сергей Солоух. Между К. Р.
и «ЛЕФ'ом». **Рецензии.** Ирина Чайковская. Последний
поэт Серебряного века. Книга о Георгии Иванове.
Айдар Хусаинов. Сибирь? Да я там всех знаю! **Книж-
ный остров.** Публикация Е. Зиновьевой • 222

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Русские паломники у святынь Бельгии. Часть 2 • 244

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышки-
на** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-
библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2025

Юлия ПИКАЛОВА

ХРАМЫ

Наталье Гранцевой

НОТР-ДАМ

Своды пали,
И в небе голом —
Напряжение рваных жил.
Что за жажда — дожечь глаголом
Тех, кто адское пережил?

Знаки, знаки, — долдонят люди,
Но вина целиком на мне:
Так напомнили мне о чуде
Розы¹, выжившие в огне.

КЁЛЬНСКИЙ СОБОР

Дыхание мое оборвалось,
Взгляд запрокинут, губы побледнели.
Взлетает к небесам земная ось.
К чему мне все, что видела доселе?

Вся жизнь была — не та, все дни — не те!
Избавлюсь, чтоб вместить твою громаду —
И замираю в белой немоте
Перед твоим готическим фасадом.

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА

служитель в комнате-пенале
пред нами, будто на суде,
живописал, как распинали,
показывая на себе.

Юлия Пикалова родилась в Москве. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и программу «Мастер делового администрирования» Государственного университета Калифорнии. В конце 2020 года в Москве вышла ее книга стихов «Первая»; в 2021-м в Италии в легендарном издательстве «Laterza» вышла книга переводов ее поэзии «Camminare sull'acqua» и был поставлен спектакль по ее стихам. Живет в Италии.

¹ Розы — витражные окна готических соборов. 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам произошел пожар.

мои зрачки теряли резкость,
колени обращались в воск,
и мозг поплыл по галерее
на перламутра белый блеск.

когда глаза открылись снова —
сновали люди надо мной.
завещанное тишиной,
исчезло меж словами Слово,

но ткань, пронизанная телом,
переливалась светом белым.

АКРОПОЛЬ

Отчаяться, отпеть, отгоревать.
Отжить. Отплакать. Подвести итоги.
Но нет, не перестанут волновать
Давно не существующие боги!

Увижу вдруг на городских горах
Сияние небесного портала:
Акрополь в золотых прожекторах.
Афина о таком и не мечтала.

В ПРИТВОРЕ

Мы ловим отблески и блики
В мерцающей глуби упрямо,
Когда ревнители религий
Нас держат на пороге храма.
Что толку щуриться до боли,
Коль наше зрение незрело?
Мечта и Вера, но не Воля
Уводят в горние пределы
К тому, чье имя мы в притворе
Одним дыханьем произносим...
Так мы угадываем море
В просвете корабельных сосен.

КОНЦЕРТ В СОФИЙСКОМ СОБОРЕ

София, София, на взлете орган
И скрипки — стихия, восторг, ураган!
Врата распахнуло, вибрирует свод —
Эгей, берегись! А не то унесет!
Эгей, берегись! А не то унесет!

И музыка мчала, не чуя земли,
И небо сшибало свои корабли,
 И мир озаряло блестящим огнем,
 И ветер плясал необузданный в нем,
 И ветер плясал необузданный в нем.

А музыка мчала, озоном дыша,
И, ширясь, ее не вмещала душа.
 Она пролетела и скрылась вдали,
 И я улыбалась, и слезы текли.
 И я улыбалась, и слезы текли.

ДУША

Так храм оставленный — все храм...
 М. Ю. Лермонтов

здесь не идут богослуженья:
 здесь сны идут,
и фресок смазаны движенья,
 и сдвиг минут —
ушедшего приметы быта
 и бытия,
и все разомкнуто, раскрыто,
 как жизнь моя.

сюда, бывало, люди, люди
 текли, текли
и разносили весть о чуде
 путем земли.
а ныне, ныне длится, длится
 иная быль:
зимою снег лежит в глазницах,
 а летом пыль.

а где же люди ныне, ныне,
 в чем ищут суть?
они оставили святыни
 и держат путь
по буреломам, по оврагам,
 покрытым тьмой...
(ты не устал читать зигзагом,
 читатель мой?)

зимою снег лежит в глазницах,
 а летом пыль.
душа моя, мне только снится
 иная быль:

душица, мята, люди, птицы,
колокола...
душа моя, мне только снится,
что я — была!

здесь не идут богослуженья:
века идут.
и фресок смазаны движенья.
и сдвиг минут.
и на разомкнутых орбитах
звенеть звездám.

и небо в куполе пробито.
и аз воздам.

НАТАЛЬЕ ГРАНЦЕВОЙ

Всего две встречи.
Или целых две.

И первая случилась на вокзале
в такую рань, что кажется небывшей,
приснившейся. Но вот же Ваша книга,
Вы подарили воздух, он со мной
на случай духоты или удушья.
Вы спрашивали, пишется ли мне
среди моей тогдашней суеты.
О, что бы я ответила сегодня,
глаза куда бы дела...

А вторая
случилась в октябре у Дома книги,
между моим и Вашим днем рожденья,
и Петербург приветствовал нас ветром:
весь воздух свой гудящий нам принес
и шарфы наши превратил во флаги,
и мы летели — город неся с гиком,
смеялся и разбрасывал слова.
И я в тот день Вам подарила книгу.
Вы эту книгу угадали раньше,
чем автор сам предчувствовать бы мог.

И вот теперь Вы — петербургский воздух.
Я не могу вернуться, но вдыхаю
европейский, выстраданный, детский,
полудатский, с привкусом слюды,
воздух Петербурга полушведский —
*взвесь азота, камня и воды*².

² Цитата из книги Натальи Гранцевой «Воздух Петербурга».

Александр ЛАСКИН

ЖЕНЫ МАТЮШИНА

Документальный роман

Слушай, ты, безумный искатель,
мчись, несись,
проносись, нескованный
опьянитель бурь.
Елена Гуро

Бедная красивая барышня —
она не умела летать!..
Елена Гуро

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДО. 1906—1917

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Петербург

Все начинается — век, жизнь Ольги Громозовой. Много лет назад для таких барышень Петр создал Петербург. Уж очень ему хотелось, чтобы они удивлялись. Не только прямым улицам и прекрасным зданиям, но буквально всему, что встречается на пути.

Кто-то впервые увидел автомобиль, а Ольга узнала, как выглядит помидор. Сперва она решила, что это сорт капусты. Когда разобралась, представила натюрморт. Вот бы красное смешать с белым и зеленым! Прежде чем съесть, хорошо бы это нарисовать.

Приятно думать о помидорах и знакомстве с художниками, но сейчас это не главное. В Петербург Громозова приехала не развлекаться, а поступать в Женский медицинский институт.

Институт даст ей ощущение своих прав. Только земский врач и государь император могут сказать: «Это не совет, а приказ». При этом так сверкнуть глазами, что все покорно опустят головы.

Александр Семенович Ласкин родился в 1955 году. Историк, прозаик. Доктор культурологии, профессор Российского государственного института сценических искусств. Автор 23 книг (вместе с переизданиями), в том числе: «Ангел, летящий на велосипеде» (СПб., 2002), «Долгое путешествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2003), «Гоголь-моголь» (М., 2006), «Время, назад!» (М., 2008), «Дом горит, часы идут» (СПб., 2012; 2-е изд: Житомир, 2012), «Дягилев и...» (М., 2013), «Мой друг Трумпельдор» (М., 2017), «Белые вороны, черные овцы» (М., 2021). Автор сценария фильма «Новый год в конце века. Известные Дягилевы» («Ленфильм», 2000). Лауреат Царскосельской премии (1993), премий журналов «Звезда» (2001), «Нева» (2017), премии им. Н. В. Гоголя (2020), премии «Театральный роман» (2021) и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Все бы так и было, если бы Ольгу приняли. Лучше бы ее экзаменовал Петр! Его бы устроило ее неведение, а у комиссии возникли вопросы. Ей предложили позаниматься еще и поступать на следующий год.

Раз ты оказалась в Питере, то как расстаться с этим городом? Не повезло с одним, может, выйдет с другим? Почему бы ей не попробовать добиться счастья для всего человечества?

Да, так, и только так. Вот бы еще дальние цели совместить с ближними! Хотя бы с самым скромным жалованьем. Чтобы что-то есть и где-то жить, Громозова поступила продавщицей в книжную лавку.

Впрочем, не только для этого. Лавка — это практически библиотека. Читаешь целыми днями. Ненадолго отвлечешься на покупателя, а потом опять зарываешься в книгу.

Так Ольга проштудировала все медицинские издания и еще с десятков философских. В некоторых из них рассказывалось, как можно поучаствовать в истории.

Опять ей что-то мерещилось. Разве она хуже Гавроша, да и прилавок — чем не баррикада? Тут проходит граница, отделяющая мир, принадлежащий книгам, от мира, где они составляют меньшинство.

Скоре у нее появились новые знакомые. Сперва они к ней присматривались, а потом дали задание. По городу разбросано много явок, и ей поручалось их контролировать.

Выглядело это так. Приходит покупатель, разглядывает новинки. Для большего правдоподобия может что-то купить. Затем они остаются наедине, и она сообщает адрес конспиративной квартиры.

Дальше сценарий известный. Надо незаметно войти в дом и так же тихо его покинуть. Стать усатым извозчиком или бородатым торговцем фруктами и какое-то время существовать в этой роли.

В общем-то, рисковали все. Ольга не меньше, чем тот, кто изображал покупателя. Он мог оказаться тем, кто скрывается от полиции, и тем, кто в полиции состоит.

Громозову раздражало, что все происходит медленно. Революционеров много, но революция все время откладывается. Чтобы ускорить события, Ольга перешла к более действенным средствам.

Теперь она заворачивала не книги, а нечто пообъемнее. Да что тут сравнивать! Книгочей еще не дочитает страницу, а карета со всем содержимым уже взлетела на воздух.

Заметьте, все это один человек. Ольга беседует о литературе, помнит десятки явок и делает гремучие смеси. Совсем некогда посмеяться и пококетничать. Имеет она право улыбнуться лишний раз? Хотя слово «революционер» мужского рода, но невидимые лучики ей к лицу.

Тюрьма и после

Громозовой представлялось что-то вроде брюлловской «Гибели Помпеи». Входишь в картину и оказываешься среди голых торсов и воздетых рук. Вот почему, когда ее арестовывали, в голове мелькнуло — это то самое!

Видно, что-то не разглядела. Из-за этого не распознала шпика, а тот сообщил куда следует. Взяли ее прямо у прилавка. За минуту до этого она расхваливала покупателю новую книгу Горького.

Опасно политическому оказаться вместе с уголовниками. Не ровен час, распропагандирует. Поэтому ее определили в одиночку. Монологи тут произносить не перед

кем, а фантазируешь вволю. Представляешь, как к власти приходит кто-то из покупателей лавки.

Времена, конечно, не лучшие, но не самые зlostные. Находящиеся под надзором могут покидать Петербург. После тесной камеры хочется простора. Вот почему Горький начал пьесу в Петропавловке, а заканчивал в Ялте.

Кстати, пьеса называлась «Дачники». Что только не придет в голову заключенному! Возможно, Алексей Максимович сперва представил летний день, себя в компании отдыхающих, а затем прибавил сюжет.

Пока Ольга не пишет и писать не намерена. Да и для чего еще одни «Дачники»? Лучше отправиться в Уусикиркко и почувствовать себя горьковской героиней.

Финляндия — небольшая страна, но здешних далей хватит на всех. Куда не помотришь — края не видно. Даже лес тут не темный, а светящийся, весь пронизанный солнечными лучами.

Уусикиркко — давняя любовь семейства Гуро. Елена еще не приехала, но здесь ее старшая сестра Екатерина. Она решила «прогулять» Ольгу, а заодно кое-что с ней обсудить.

Дело в том, что Екатерина тоже тяготеет к острому и обжигающему и недавно посидела в тюрьме.

Часто не знаешь, что найдешь. После тюрьмы Екатерину сослали в Вятку, а здесь жила Громозова. Вряд ли библиотекарь читальни при Кожевенном заводе уже думала о революции, но старшая Гуро ей все объяснила. Подготовила к работе в подполье и последующему аресту.

Обычно после зимы отдыхающие редко улыбаются, но девушки были настроены позитивно. Такое, согласитесь, выпадает не всем. Несколько месяцев за решеткой — это уже биография.

В Уусикиркко позволено то, что запрещено в Петербурге. На Невском не покричишь, а тут — пожалуйста. Да и темы любые. Моды и скандалы их не интересуют, а о революции они говорят с воодушевлением.

Что это за зверь такой, пока не очень ясно, но это не мешает разговаривать громко и бурно жестиковать.

От всех прочих «идейные» отличаются тем, что мыслят слишком прямо. Ничто, даже финские красоты, их не отвлечет от главного. Сейчас они хотят понять, что будет через ритуальные чеховские «сто-двести лет».

Как уже сказано, Ольга из мечтательниц. А тут еще чистый воздух, голоса птиц, всюду мелькающие белочки. Они не отделяют себя от людей. Можно протянуть руку и погладить коричневую шкурку.

Сразу представляешь новую жизнь. Вот же она — не где-то на горизонте, а, подобно лесу и воздуху, буквально везде.

Появление Елены Гуро

Пропустим шесть лет и окажемся в апреле двенадцатого года. Теперь Ольга и Екатерина живут в Териоках. Впрочем, пейзаж тот же. Да и разговоры не изменились. Словно в Уусикиркко они начали говорить, а сейчас продолжают.

Итак, революцию обсудили и уделили внимание белочкам. Чего ждать еще? Баришши скучают и собираются в город.

Тут приезжает Елена. О том, что Ольга и Екатерина мыслят себя революционерками, знают несколько человек, а о ее прозе и живописи отзывались Блок и Вячеслав

Иванов. В последнем номере «Трудов и дней» Иванов пишет о ее второй книге «Осенний сон»: «Тех, кому очень больно жить в наши дни, она, быть может, утешит».

Им бы тоже хотелось, чтобы их хвалили, но обычно в эти моменты рядом никого нет. Все же одно дело сказанное наедине, а другое — опубликованное в журнале. Поэтому рецензии они воспринимают пристрастно. Примерно так думают: почему одним все, а другим ничего?

Муж у Елены тоже не такой, как у их приятельниц. Его официальный статус — первая скрипка Придворного оркестра, а неофициальный — ни на кого не похожий художник. В одном случае он играет по нотам, а в другом все делает не по правилам.

Кстати, и с революцией у них свои отношения. Екатерина и Ольга ее только замышляют, а Матюшины в этом преуспели. Ведь перевороты могут совершаться как в глобальном масштабе, так и в скромном пространстве страницы и холста.

Как тут не позавидовать? С появлением Елены в усыпляюще-ровной дачной жизни возникает драматургия.

Драматургия предполагает взрывы. В новой драме они случаются на ровном месте. Вот и сейчас Ольга раскачивается в гамаке и укоряет подругу: «А как же общественные темы? Простые люди тебя интересуют меньше, чем природа».

Ссора назревает, и сходит на нет. Была у Елены такая манера, подмеченная одним знакомым. Она так смотрела на собеседника, словно видела его с другого берега. Один такой взгляд, и вопросов больше не возникало.

Близорукие видят даль сквозь туман, а дальнотзорким не разглядеть близкое. Не надо быть глазным врачом, чтобы убедиться: Елену волновало то, что рядом, а сестру с подругой то, что далеко.

Действительно, в природе всегда что-то происходит. Только успевай заметить и дать этому имя. Вот дерево «с тяжелой кудрявой головой», а это стрекоза «голубей неба»...

Ни одна из дачниц не красавица, но, пожалуй, Елена самая некрасивая. Рост небольшой, нос картошкой, скулы выступают. Легко представить ее не за письменным столом или мольбертом, а где-нибудь на сенокосе.

Елена француженка по отцу и русская по матери, а уродилась чуть ли не коренной жительницей Финляндии. Если у нее есть что-то особенное, то только глаза.

О ее взгляде мы еще скажем, а пока упомянем, что она все время торопится. Казалось бы, куда ей спешить, а она тормозит подругу. Посмотрела на рисунок, что-то быстро о нем сказала, перевела взгляд на ручей. Прямо-таки потребовала: «Безим, посмотрим».

Сотни таких вспышек не оставили следов, а эта запомнилась обеим участницам. Лучше всего их описала Гуро в рассказе «Щебет весенних».

Сперва набросала контур рубашки с тонкими бретельками. Затем, еще парой штрихов, «молоденькие, тоненькие, некрасивые» косы. Когда вырисовался портрет, она ее назвала. Имя — Олли, а по сути — «найденная, наше сокровище».

Сказала — и опровергла себя. Найденная — значит определившаяся, а Ольга всегда в движении. Только мы ее разглядели, а бретельки с косами растворились в луче света.

«Ты пушковатый скромный луч мой — Олли! Когда ты выскользнула на балкончик, видна стала на рыжей двери и смотрела в изумруд ветвей».

Лучу не поспеть за ручьем, а ручью не угнаться за автором. Описывая его, Елена говорит о себе — сразу представляешь, как она волнуется, успокаивается и вновь начинает сначала.

«На ручей побежали, — пишет Гуро, — суровый и бешеный, и в мокрых хлопьях, и в вихре просыпались... Сумасбродство же, ей-богу!»

Еще о Гуро и минуте

Иногда проза открывает то, чего никогда не признаешь в авторе, но тут удивляет сходство. По ее произведениям представляешь маленькую женщину, которой интересно все. Вряд ли с таким темпераментом напишешь роман. Самое большее, текст в две-три страницы.

Как говорится, мал золотник — да дорог. В Уусикиркко, Мартышкине или Териоках в этом убеждаешься на каждом шагу. Все, чего бы не заметил в городе, тут становится важно. Нагибаешься или поднимаешь голову, и ты уже приобщен.

Читаешь Гуро и представляешь дачную жизнь. В ней нет ничего обязательно-го. Взглянула в окно — и вот вам рассказ. Если бы сейчас пошла в сад, написала бы о другом.

Фраза немного расслабленная, часто уводящая в сторону. Кстати, линия ее рисунка столь же быстрая и легкая. По словам Матюшина, Елена не разделяла литературу и живопись. Начнет с наброска карандашом, а на том же листе возникает история. Бывало, наоборот. Запишет свои ощущения, а итог подведет в картинке. Получится, что одно объясняет другое.

Неизменно одно — ее проза и картины говорят о чем-то большем. Да и сама жизнь, с ее точки зрения, представляет что-то большее. В реальности природа не одушевлена, а у нее звезда «теплая», калоши «гордые», «лошади стали ночнее».

Этот мир не только живет и чувствует, но участвует и даже рассказывает. Вот она рисует полосатую кубышку, и у нее выходит портрет. Не нечто, а некто. Полный такой субъект, буквально надутый ощущением превосходства.

Кстати, этот толстяк проник и в ее прозу. Гуро называет «пузатых кубышек с яркими полосками, груды овощей с черных огородов и веселых, добрых детей, которые гладят пушистых кроликов». Это и есть «мир умираний, страданий, горя, концов и начал», и в нем для всего, тут перечисленного, есть свое место.

Гуро умеет тайное сделать явным. Казалось бы, разве можно изобразить вкус? На ее рисунке он стал светом и образовал что-то вроде нимба.

Перед нами опять портрет. Не просто яблоко, а, так сказать, яблоко «с человеческим лицом». Его можно съесть, но лучше рассматривать. Столько в нем красоты и искусства.

С предметами и плодами все ясно, а что люди? Вот Матюшин повернулся к окну. В поднятых руках у него горшок с цветами. Он его не столько держит, сколько предъявляет как самый главный свой аргумент.

Гуро не раз рисовала своих героев спиной к зрителям. Их положение не мешало ей рассказать о них — и о себе. Вот так же с бочонком и яблоком. Можно не показывать лицо, но при этом лицом быть.

В искусстве и в жизни Елена вела себя одинаково. В некотором смысле отворачивалась. Кто-то говорит о себе прямо, ничего не скрывая, а она на примерах.

Мы видим бочонок, а на самом деле кого-то из ее знакомых. Яблоки на холсте свидетельствуют о неземном свечении. Напряженная спина мужа подтверждает связь с белесым небом за окном.

Как говорилось, для Гуро жизнь состоит из мгновений. На ее картинах и в рассказах запечатлен след минуты. Если это так, то надо спешить. Отвлечешься, и впечатление испарится. Предстанет искаженным воспоминанием.

Она вообще недоверчива ко всему длительному. Это относится и к публикациям. Как-то не вяжется нечто вспыхивающее и гаснущее с твердой обложкой и хорошей бумагой.

Это потом она поняла, а сперва поступала как все. Ходила по редакциям и с волнением ждала ответа. Несколько журналов написали что-то обтекаемое, а «Русская мысль» ответила грубо. Даже не хочется повторять. Что-то о том, что хорошо бы почитать классиков и поработать над стилем.

Тут-то ей все стало ясно. Она решила печататься только с единомышленниками. Ради этого они с Матюшиным создали издательство «Журавль».

В других местах все чужое, а тут свое. Редакционное совещание не отличается от встречи друзей. Тем более что все происходит в их столовой при участии пепельницы в виде галоши.

О пепельнице еще будет речь, а пока скажем, что между пережитым и запечатленным расстояние было столь же коротким, как между написанным и изданным. В первом случае увидела и сразу это записала. Во втором — закончил книгу, а уже через пару дней держишь ее в руках.

Скорость обеспечивалась тем, что книги, как гравюры, печатались литографским способом. О дистанции говорило только название. Впрочем, в последних изданиях Матюшин вернулся с неба на землю и переименовал «Журавль» в «Дом на Песочной».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гуро + Матюшин =

Пока место Матюшина в нашем рассказе такое, как на упомянутом полотне. В это время Елена жила на даче в Териоках и старалась угадать, чем муж занят в городе. Наверное, так думала: сейчас он смотрит на небо, а небо глядит на него.

Наконец (уже не на холсте, а в этом тексте) Михаил Васильевич поворачивается к дачницам. На нем кожаный шлем, его мотоцикл извергает клубы дыма... Вот он, «бог на машине»! Даже рядом с революционно настроенными барышнями муж Елены выглядит радикальней.

Такие впечатления не забываются. Ольга еще не разглядела Матюшина, но уже признала в нем футуриста. Ведь футуристы воспевают скорости и движение, а он в эту минуту был скорость и движение, буря и натиск.

С Гуро эта картина не очень вяжется. Впрочем, рядом с ней лишним казалось многое. Особенно слова. Сколько бы ты их произнес, она ответит одним или двумя.

Ее взаимопонимание с мужем определяли более важные вещи. Разговор о взгляде впереди, а пока упомянем кривую. В этой семье считали, что прямая — дань общему мнению, а индивидуальна только волнистая линия.

Это верно как для творчества, так и для жизни. Чтобы встретиться с Гуро, Матюшин должен был свернуть в сторону, обзавестись семьей и детьми. Впрочем, женщину, похожую на Гуро, он рисовал задолго до знакомства. Значит, мечты не требуют подтверждения. Если что-то мерещится, то это уже есть.

Когда они стали жить вместе, Михаил Васильевич так ее и нарисовал — как воплощенную грезу. Светлую не только платьем и шапочкой, но всем существом. Не просто стоящую на фоне леса, но живущую с ним заодно.

Немного о жизни до Гуро

Если Елену Матюшин рисовал много, то первую жену Марию лишь несколько раз. Дело в том, что они очень разные. Одна хрупкая, а другая целиком погружена в реальность. Нежные и прозрачные краски, которые любит Михаил Васильевич, ей не очень подходят.

При всем почтении к легкости и воздушности отдадим должное прочности и постоянству. Пока Матюшин не встретился с Гуро, его жизнь была совершенно понятна. Детей четверо, положение уверенное. Казалось бы, чего желать еще? Вроде все состоялось, и можно просто радоваться жизни в кругу близких людей.

К достижениям Михаила Васильевича надо прибавить то, что он — лицо, приближенное к императору. Если государь сидит в первом ряду, а он в оркестре, дистанции почти нет. Дело не в расстоянии, а во внимании. Когда что-то говорили министры, царь слушал вполуха, а его скрипке буквально внимал.

Все же вернемся к женам. Чем они непохожи, Матюшин объяснил сам. Вернее, нарисовал. Вот Елена — белое пальто и белая шапка в лучах света, идущего от сосен. А это — Мария. Летняя панاما, румянец во всю щеку, свежесть во взгляде и настроении.

Елена вписана в пейзаж, чуть ли не стала его частью, а Мария существует сама по себе. Как отделить самодостаточность от самонадеянности? Она тоже знает, что судьба удалась, и это уже навсегда.

Так бы и продолжалось, если бы не странный поворот к живописи. К той жизни, что уже состоялась, Матюшин прибавил еще одну. Мария и с этим справилась. Не отговаривала, не жаловалась подругам, а только спросила: «Что я могу для тебя сделать?»

Казалось бы, вот — идеальная жена, но тут действовало то же правило кривой линии. Чтобы понять, что было дальше, можно не уподобляться школьникам, подсмотревшим ответ в конце задачника. Тот, кого считали хозяином в доме, стал гостем — не очень частым и не больно ожидаемым.

Впрочем, прежде чем подойти к этому итогу, надо еще о многом рассказать.

Перемена участи

Следует ненадолго вернуться назад. Как уже ясно, семья образцовая, что подтверждается таким документом¹. Через пять лет после женитьбы на Марии Ивановне канцелярия оркестра потребовала разъяснений. Все же не у всех жены француженки, да еще австрийские подданные.

Спрашивали не прямо, но, судя по всему, были поняты. В ответе сообщалось, что Мария перешла в православие и стала Матюшиной. Чего не сделаешь ради семьи! Если они состоят в браке, у них все должно быть общее. Как вера, так и фамилия.

Тем удивительней измена профессии. Это же угроза всему, что создавалось столько лет! Мария согласилась с таким поворотом, но при этом думала: а что если не получится? Наконец, он нарисует лошадь, а потом узнает, что в этом умении нет ничего особенного.

Посомневавшись, Мария все отлично придумала. Путь оказался короче, чем можно предположить. Так бывает в игре в шахматы. Достаточно сделать точный ход, и ты, считай, победил.

Художники редко выбирают на концерты, но у нее глаз-алмаз. Она углядела в зале академика живописи Крачковского. Если ему нравится, как Матюшин играет на скрипке, он не откажется посмотреть его рисунки.

Так она поступала каждый раз. Находила выход. Или подводила к нему мужа. Некоторое время он колебался, а потом признавал ее правоту.

Был ли он ей благодарен? Тем более что детей у нее не четыре, а пятеро. Хотя Михаил Васильевич и взрослый, но хлопот с ним не меньше, чем с маленькими.

¹ Здесь и далее (кроме специально оговоренных случаев) цитируются документы из папки «Канцелярии Придворного оркестра дело артиста Михаила Михайловича Матюшина», которая хранится в Санкт-Петербургском Центральном историческом архиве (ЦГИА).

Как положено ребенку (пусть даже пятому), Матюшин все время спорил. Наверное, у них с женой были хорошие минуты — ведь дети иначе не рождаются, — но чаще он был недоволен. Не раз говорил, что ощущает себя «холодным человеком» и счастья ей не принесет.

Хорошо, что Мария такая хозяйственная, но ему хотелось другого. Если опять вспомнить о прямой линии, тут все было слишком ровно. От жизни, как и от искусства, Матюшин ждал резких акцентов и поворотов.

Все же лучше не заноситься в далекие дали, а честно исполнять свои обязанности. Воспитывать детей, служить в оркестре. Делать все то, что уже неоднократно приносило ему успех.

Так будет двадцать, сто лет, но когда-нибудь закончится. На том свете тебя спросят: «Было ли у вас что-то яркое?», и ты поймешь, что ничего. Все как у всех — семья и работа. Ни на что больше времени не оставалось.

Достаточно того, что он и так многое пропустил. Например, слишком поздно пришел к рисованию. Все же сорок с небольшим — это не двадцать. Если бы музыкой и живописью Матюшин занялся одновременно, результат был бы другим.

Утешает то, что так не только у него. Русское искусство тоже запаздывает. Ему куда больше лет, а оно продолжает копировать себя. Какого художника ни возьми, он или передвижник, или — еще хуже! — академист.

Правда, появляется новая поросль. Их мало кто знает, да они еще не раскрылись, но это дело времени. Один из них Михаил Васильевич. В оркестре его свобода ограничена композитором и дирижером, а у мольберта он сам по себе. Никто — даже старый Стасов или молодой Бенуа — не запретят ему рисовать так, как он считает правильным.

Ученик и учителя

В названии «Школа общества поощрения художеств» смущает слово «школа». Сразу возникает мысль о начальных классах и буквах алфавита. Тем более странным казался новый студент.

У сокурсников Матюшина едва пробиваются усы, а к нему обращаются по имени-отчеству. Одни иронизировали по этому поводу, а другие относились с почтением и одалживали деньги на обед.

Наверное, правильнее было бы одеваться попроще, но Михаил Васильевич решил выделиться. Завел брутальные усы, золотой перстень и трость. Поведение тоже было не рядовое. Обычно в студентах ценят послушание, но он не хотел быть как другие.

Сперва Матюшин ходил на занятия к Крачковскому, а затем стал заглядывать к Ционглинскому. Менять учителя, правда, не спешил. Если однажды тебя назовут перебежчиком, то ты так и останешься с этим клеймом.

Кстати, Мария Ивановна тоже просила не торопиться. Все же это она нашла Крачковского, а он отнесся к ней внимательно. Долго смотрел работы — то издали, то приближая к глазам, — а затем сказал: беру!

Да и можно ли изменять своему первому учителю? Это же все равно что неверность в браке.

О том, чтобы изменить семье, он пока не думает, а предпочтения у него меняются. Если позволено выбирать между музыкой и живописью, то и учителей у него может быть несколько. Правда, объявлять об этом необязательно. Лучше пойти не прямо, а в обход.

На Литейном Ционглинский вел частную студию. В начале дня он подчинялся руководству школы, а в конце был первым лицом. Бывало, выслушает то, что от него требуют утром, а про себя думает: вечером все сделаю наоборот.

Ян Францевич хотя и преподавал, но разговаривать не любил. Зачем что-то декларировать, если за тебя это делает искусство? Любая его работа подтверждала, что он видел себя импрессионистом. Те, кто еще не привык к этому слову, называли его «впечатлистом».

Вот достойная цель. Воспитывать новое поколение — и учиться самому. Не только запечатлевать интересные виды, но стараться смотреть больше. Где только ему не довелось побывать! Даже там, где не ступала нога русского художника.

Вернется, к примеру, из Африки, соберет друзей. Они рассказывают, сколько продали картин и в каких пирушках поучаствовали, а он о том, как охотился на львов и совершал восхождения на гору.

При этом никакого «делай, как я». Зачем домоседа звать в дорогу, а кубиста агитировать за импрессионизм? Не лучше ли учить не готовым приемам, а собственно творчеству — умению делать что-то свое?

Ционглинский такой же перебежчик, как Матюшин. До Петербурга он учился в Варшаве на медицинском, а потом на физико-математическом факультетах. За этой переменной последовала еще одна. Преподаватели в академии утверждали, что нам не по пути с французами, а он их не послушал.

Еще учителя сближает с учеником то, что они оба музыканты. Правда, Ян Францевич не метил ни в первые скрипки, ни даже в последние пианисты. Устанет от того, что его не слышат, и садится за фортепиано. Шопен возвращал его в тот город, в котором он начинал рисовать, но еще не думал преподавать.

Так жил Ционглинский. Путешествовал и музицировал. В живописи тоже открывал что-то вроде музыки и новых путей. Так что в любом своем качестве он делал примерно одно.

Если живопись — это музыка и дорога, то главное не сюжет, а все то же впечатление. Даже чистый лист заставляет тебя трепетать. На нем еще ничего нет, но ты уже что-то предчувствуешь. «Поймите, какая красота — белая поверхность, — говорил он, — вы должны сделать так, чтобы она стала еще красивее».

Умер Ционглинский так, как и надлежит серьезному живописцу. Защищая то, что он считал самым важным в искусстве.

Среди его воспитанников был один сезаннист. В честь своего кумира молодой человек даже отрастил бороду. Как-то Ян Францевич заговорил с ним о кубизме. Сначала ученик возражал, но вскоре аргументы у него закончились. Тогда он взял первый попавшийся холст и надел учителю на голову.

Студийца увезли в лечебницу, а Ционглинский слег в постель и через несколько месяцев умер. Больно серьезной была обида. Пострадавшая картина была импрессионистической, а это обижало не только его, но и любимых мастеров.

Гуро, Матюшин и выбор пути

Тепло... холодно... горячо... Так и будем двигаться. Начнем с того, что среди студийцев только Матюшин и Гуро чувствовали себя независимо. Один состоял на службе в оркестре, а у другой отец был генералом.

Генерал Гуро был настолько нужен начальству, что квартиру ему предоставили в Генеральном штабе. Путь из дома до кабинета занимал минут десять. Тут его ожи-

дала никогда не уменьшавшаяся гора бумаг. На каждой следовало написать: «Отказать» или «Разрешить».

На службе Генрих Степанович был строг и требователен, а дома добр и снисходителен. Возможность исполнять прихоти дочерей он считал своей привилегией.

Можно вспомнить и других родственников Елены. Никто не нажил богатств, но жизнь у всех была насыщенная. Жаль, никто о себе не написал. Слишком много у каждого было дел.

Дед со стороны отца, Этьен Гуро, был сержантом наполеоновской армии. В отличие от своего императора он не бежал из России, а поселился в ней навсегда. Назвался Степаном Андреевичем, но остался французом — преподавал язык своей родины и составлял французские словари.

Второй дед, Михаил Борисович Чистяков, редактировал «Журнал для детей», сочинял сказки и стихи. Не чуждалась литературы и его жена, Софья Афанасьевна. Так что первые книги, прочитанные внучкой, написали самые близкие ей люди.

У всех были свои занятия, но каждый имел в виду высшую цель. Степан Андреевич не изменил родному языку, а Михаил Борисович детям. Генрих Степанович визирировал рапорты и донесения и этим способствовал порядку в армии.

Предки Гуро известны до четвертого колена, а у Матюшина близкие наперечет. Какой может быть род, если его мать начинала в крепостном звании? Правда, род был у отца, но отца он почти не знал. Существовал кто-то сильно пьющий — принесет сласти, а потом пропадает надолго.

Причастность родственников к литературе еще до рождения определила участь Гуро. Матюшину приходилось рассчитывать только на себя. Вот почему его путь — словно в подтверждение теории о кривой линии — оказался непоследовательным.

Ранние годы прошли в Нижнем Новгороде. Если бы тогда ему сказали, что где-то есть искусство, он бы пожал плечами. В жизни хватало разного, но музыки и рисования в ней не было совсем.

Рядом недоедал и подворовывал Алеша Пешков. Вряд ли будущий писатель пересекался с будущим художником, но среда у них была одна. Улица научила их не сдаваться. Лупят тебя, а ты так же сильно бьешь в ответ.

В детстве Михаила подстерегал первый выбор. Избери он неправильную дорогу, не было бы в его жизни скрипки с мольбертом.

Как положено «типам Горького», Матюшины пьянствовали. Лет в семь Михаил почувствовал себя взрослым и тоже стал прикладываться. Делал он это не без расчета на впечатление. Особый шик заключался в том, что пил он не дома, а в кабаке.

Кабатчик почти плакал, но наливал. Во-первых, заплачено, а во-вторых, это не Обществу трезвости, и не ему перевоспитывать граждан.

Как удалось бросить? Скорее всего, градус искусства оказался сильнее. К тому же к этому времени у него появилось чувство пути. Он знал, что, если оно что-то подсказывает, ему не надо перечить.

Сестра отца, актриса Сабурова, звала в Петербург, но мать воспротивилась. Уж как непросто ей было бегать с работы на работу да еще приглядывать за шестью детьми, но она не хотела торопить события.

Через многие годы Михаил Васильевич признал, что все было правильно. Не хорошо и не плохо, а так, как должно быть. «...Я радуюсь... решению моей матери, — писал он. — Я бы ни за что на свете не поменялся ни с кем жизнью».

Окажись он в Петербурге раньше, все сложилось бы иначе. Без Придворного оркестра, женитьбы на Марии Ивановне и встречи с Гуро. Звали бы его так же, но это была бы другая судьба.

Цветаева писала, что есть художники с историей и художники без истории: «Первых можно представить как круг, а вторых как пущенную стрелу». Иначе говоря, одни самодостаточны, замкнуты на себе, а другие открыты всем ветрам.

Матюшин был «художником с историей». До знакомства с Гуро он уже многое пережил. В отличие от него Елена обошлась без «истории». Главные для нее события происходили на глубине, у мольберта и за письменным столом.

Не случайно Михаил Васильевич стал не солистом, а музыкантом в оркестре. Он любил шум и разногласия. Елена была тишайшая. Представьте, что в большую компанию чудом попало небесное существо. Все перебивают друг друга, а она молчит. Сядет в дальний угол и весь вечер его не покидает.

Как уже понятно, до поры до времени в жизни Матюшина шума было немного. Если не считать вечно кричащих детей. Казалось, теперь все так и будет: домашние заботы, походы семьей в гости, радость от того, что Коля подрос, а Маша стала вышивать.

Интересно, как это тогда называлось? А что если тоже текучкой? Мелкие события проходили, как рябь по поверхности, но, по сути, ничего не менялось. Все ограничивалось оркестром, в котором он играл на скрипке, и домом, где он играл с детьми.

Живешь спокойно, хорошо ешь, много спишь, как вдруг все переворачивается. Как говорится, «бес в ребро». Сам себе удивляешься: странно в его возрасте стать художником, но еще рискованней влюбиться в Елену Гуро.

Что-то такое он чувствовал у мольберта. Все вроде получилось, но не хватает акцента. Хотя бы красной капельки в центре холста. Долго не понимаешь зачем она нужна, а потом смотришь: а ведь это точка! Не в том смысле, в котором запятая, а в том, в котором незаконченное становится целым.

О свойствах зрения

Есть практики, а есть теоретики. В Матюшине это соединилось. По крайней мере, его теории были не бесплодны. Каждый раз это был повод для новых картин.

Для Серебряного века в этом нет ничего необычного. Сколько раз в эту эпоху сперва возникало предположение, а затем все происходило как по писаному.

Рассказывая о встрече Гуро с Блоком, Михаил Васильевич написал, что поэт «не мог долго оторваться от Лены». Такая же мера внимания и погружения, с его точки зрения, отличала других гениев. Бетховен «сливался... с воздухом, ветром», а Лермонтов «напитывается... пространством».

Если ты отдаешь себя кому-то или чему-то, то какое может быть ячество? Вот чем Матюшин отличался от друзей-футуристов. Художник для него — это тот, кто способен отречься от себя.

Хорошо, что великие с ним заодно. Смотрят в оба, впитывают, проникают... Как бы он радовался, если бы его позиции разделяли не только люди с портретов, но и кто-то близкий.

Наконец это произошло. Матюшин открыл дверь в учебную мастерскую и увидел маленькую тихую барышню. Он бы прошел мимо, если бы не ее глаза. Она не просто смотрела, а превращалась в предмет своего интереса. Присваивала его своим зрением.

«Вспоминаю, как я впервые ее увидел, „нашел“ ее. — рассказывает Матюшин, — В тот день работающих было мало, и вдруг я увидел маленькое существо самой скромной внешности. Лицо ее было незабываемо. Елена Гуро рисовала „гения“ (с гипса). Я еще никогда не видел такого соединения творящего с изображаемым. В ее лице был вихрь напряжения, оно сияло чистотой отданности искусству. Закрывая дверь, я мыс-

ленно порицал себя за то, что не сразу обратил на нее внимание. С тех пор я постоянно наблюдал за ней и всегда поражался напряжению ее ищущих глаз».

Что это было? Наверное, «любовь с первого взгляда». На сей раз это не преувеличение и метафора, а ровно то, что случилось. Она смотрела — и этот взгляд решил все.

Матюшин тоже глядел во все глаза. Гуро поглощала «Гения», а он не отводил взгляд от незнакомой девушки. В эту минуту они уже были вместе. Все, что случится после, к этому ощущению прилагалось.

Помните, как в знаменитом романе? «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих!» С этого момента для него закончилась спокойная жизнь. Только что он не строил никаких планов, а вдруг понял, что выхода у него нет.

Случившемуся Матюшин дважды подвел итог. В дневнике он написал, что ее дар проникаться увиденным имеет отношение не только к искусству. «Это было золото моей жизни, мой сладкий сон, мои единые мечты всей моей жизни, и я этого не знал еще тогда. Эту прелестную мечту сменила чувственная». Последняя фраза в этой записи подчеркнута жирной чертой.

Второе объяснение более сложное. Чтобы это событие стало понятней, ему пришлось придумать новую меру времени: «В моей биографии лежит совершенно новое понятие о встрече художника с чем-либо, впервые поражающем его воображение. — писал он, — Эти моменты, останавливающие целиком на себе внимание художника, я называю „шоками“».

Значит, судьба движется невидимыми посторонними событиями? О том, что с ним произошло, пока не знала даже Елена. Ведь он с ней еще не познакомился. Да и потом долго наблюдал издали.

Позже Матюшин увидит ее рисунки и прочтет рассказы. Впрочем, это было уже не так важно. Та, кто так смотрит, непременно создаст что-то значительное. Возможно, она сравнится с теми, кому дано «сливаться... с воздухом» и «напитываться... пространством».

Сейчас самое время перевести взгляд от Елены на Марию. Как сказано, первая же-на была добрая и хозяйственная, но зрение имела обычное. Чрезмерная пристальность хорошей хозяйке вредна. Если она будет вглядываться, то ничего не успеет.

Михаил Васильевич уважал Марию за преданность и корил за то, что, кроме дома, ее ничто не интересует. Представьте, она не знает о четвертом измерении! Впрочем, зачем ей четвертое, когда столько сил уходит на первые три?

Со временем его теория оформилась. В ее основании лежали «взгляд» и «шок». С помощью этих понятий объяснялись не только любовь и обретение, но суть нового искусства.

От мыслей о взгляде — прямой путь к «расширенному смотрению». Эта идея предполагала, что художник видит все. То, что впереди, сзади, слева и справа. На его холстах мир предстает разъятым — и собирающимся воедино. Что-то такое делает «шок» в судьбе человека. Он приводит к разрушениям — и просветлениям, переворачивает жизнь — и вносит в нее смысл.

Сосредоточенность и рассеянность, поражение и победа

Матюшин столько размышлял на эти темы — и вдруг читает, что «видимый мир... представляет собой нечто весьма малое, быть может, даже не существующее по сравнению с огромным невидимым миром». Выходит, незнакомый ему Петр Успенский прочел его мысли? Скорее, похожие идеи приходят в голову сразу нескольким людям.

Наверное, кто-то из них был первым, но это не так важно. Главное, что теперь каждый не сам по себе.

Представляешь, как московский философ Петр Успенский едет из Москвы в Петербург. За чаем с пирогами они спорят о том, чего вроде нет, а на самом деле есть. Пытаются навести мосты между «четвертым измерением» и «расширенным смотрением».

К этим терминам мы еще вернемся, а пока упомянем, что у художника есть преимущество перед философом. То, о чем один догадывается, другой может увидеть и нарисовать. Для большей ясности Матюшин придумал термин: «метапредмет». Так именуется «сверхтело, растущее в пространстве другого измерения».

Как говорится — два пишем, три в уме. Рисуем относящееся к трем измерениям, но подразумеваем четвертое. Так что не обманемся сходством. Предмет может быть похож на настоящий, но он уже принадлежит искусству, а значит, в реальности его нет.

Матюшин был куда ближе к материальному, чем Гуро. Он ездил на мотоцикле, умел столярничать. При этом понимал, что не всякий вопрос должен иметь ответ. В этом отличие школьной задачки от того, что можно назвать «метазагадкой».

Если есть «метапредмет» и «метазагадка», то есть и «метавзгляд». Одни смотрят, другие уясняют. Видят не первое, не второе, а последнее. Поэтому отношения Елены с бытом не складывались. Ведь для того, чтобы понять главное, все прочее следует пропустить.

Особенно досаждало Гуро железное и стеклянное. Прямо никакой управы! Посуда предательски билась, часы терялись, а затем обнаруживались в самых неожиданных местах.

Почему-то вспоминаются лебеди. На земле они забавно переваливаются и вытягивают шеи. Взмах крыльев делает их красавцами и покорителями стихии.

Так Елена за работой чувствовала себя уверенно, а в жизни терялась. Увлечется ползущим жуком и забудет, о чем думала. Или настолько уйдет в свои мысли, что ничто другое ее не будет интересовать.

Ее подруга Ольга не без пристрастности отмечала такие промахи. При этом не забывала сказать, что все могло закончиться совсем плохо, если бы ее не было рядом.

«Подымаясь на дюну, я увидела под ветвистой сосной Елену Гуро, в белом платье и полотняном картузике с большим козырьком. Она то опускалась на колени, то вставала, медленно делала несколько шагов, стараясь разглядеть что-то.

„Что она тут колдует?“ — подумала я.

Гуро направила ко мне.

— Опять ключ потеряла. Вечно со мной так получается! Давно уже ищу и, должно быть, только глубже в песок заталкиваю. У тебя, Олли, глаза зоркие. Поищи, пожалуйста».

Гуро назвала подругу «лучиком». Так и видишь, как лучик перескакивает с одного на другое и находит то, что искал. На сей раз это не понадобилось. Ключ висел у нее на шее да еще подпрыгивал при каждом шаге, словно говорил: я здесь!

Другой случай еще выразительней. Как-то Елена опрокинула чашку с кофе. Любая хозяйка пошла бы за тряпкой, а она замерла, как перед начатым холстом. Потом изменила пальцем контур лужицы. Всего несколько уточнений — и темное пятно превратилось в картину.

«— Посмотри, Мика, вот мостик, а здесь — цветущая яблоня. — передает ее слова Ольга, — А это длинноногий рыцарь, он собирается вскочить на коня!»

Скатерть отправили в стирку, а значит, лужа недолго имела отношение к искусству. Вряд ли это огорчило Гуро. Даже на минуту заглянуть в вечность — это, согласитесь, немало.

Вообще к вещам она была снисходительна. Сейчас они валяются из рук, а потом проявят радушие. Чуть ли не поприветствуют того, кому они интересны. Именно так повел себя серебряный крестик. Его уже считали потерянным, как вдруг, по словам одной знакомой Елены, он «спрыгивает с высоты гардеробного шкафа... и падает почти к моим ногам».

Громозова верила в причинно-следственные связи, в то, что называют петелькой-крючком, а выходит, есть иная логика. Такие мысли она выбрасывала из головы. Если о чем-то не думать, может показаться, что этого нет.

Летом на природе вообще не до размышлений. Тяжелая одежда отправлена на антресоли и заменена на легкие сарафаны. Всякая серьезность вызывает смешки. Впрочем, один поступок был явно не по погоде. Казалось, бедная девушка из провинции что-то доказывает пресыщенной генеральской дочке.

Дело в том, что стирала Ольга. Сама вызвалась это сделать. Сперва хозяева не придали этому значения, а когда поняли, что это не просто так, скатерть сушилась во дворе.

Громозова хотела показать Елене, чем они отличаются друг от друга. В то время как одна придумывает и воображает, другая спасает от ее фантазий их семейный быт.

Другие черты Елены

Ко всему прочему прибавим ребячливость Гуро. Хотя она была на восемь лет старше Ольги, но в этом союзе чувствовала себя младшей.

Как Елена реагировала на поучения подруги? Казалось бы, ей следует посмотреть «словно с другого берега», но она терялась и опускала глаза.

Да и что ей было сказать? Вот на бумаге она могла быть откровенной. Особенно если писала от другого — да еще мужского — лица.

«Я очень даже неловок, я — трус. Я вчера испугался человека, которого не уважаю. Я из трусости не могу выучиться на велосипеде... Я вчера доброй даме, которая дала мне молока и бисквитов, не решился признаться, что я — пишу декадентские стихи, из мучительного страха, — что она спросит меня, где меня печатают? И вот сказал, что главное призвание моей жизни с увлечением давать уроки. Сегодня я от стыда и раскаяния — колочу себя...»

Примечателен список опасностей. От детских (боюсь учиться ездить на велосипеде) до еще более детских (стихи пишу, но не признаюсь, что их не печатают). Не случайно в этот ряд попали бисквиты. Если ребенку дать что-то вкусное, он забывает о своих страхах.

Елена всегда занимала сторону маленьких. Да и она сама, как уже сказано, не очень от них отличалась. Взрослые в ее рассказах — это те, кто сам не фантазирует и не советует это делать другим.

«— Ах, отстань, не все ли равно. Это сказка, Леля, Дон Кихота не было никогда.

— А зачем же написали книжечку тогда? Мама, неужели в книжечке налгали?

— Ты мешаешь мне шить, пошла спать.

— Если книжка лжет, значит, книжка злая. Доброму Дон Кихоту худо в ней.

А он стал живой, он ко мне приходил вчера, сел на кровать, повздыхал и ушел...

Был такой длинный, едва ногами плел...

— Леля, смотри, я тебя накажу, я не терплю бессвязную болтовню».

То, что Леля и есть Елена, подтверждает другой рассказ. В нем все это она повторила от своего имени. Различия незначительные. Тут — «ногами плел», а там — «дрыгал». Еще не пропустим слово «несомненно». Все, что говорит юная упряmica, оно вмещает в себя.

«Несомненно, когда рыцарь печального образа летел с крыла мельницы — он очень обидно и унижительно дрыгал ногами в воздухе, и когда упал и разбился, — был очень одинок».

Не зря «хитроумный идальго» стал героем Гуро. Оба не скрывали и даже демонстрировали свои странности. Легко представить, как рыцарь ищет ключи или разливает кофе. Не потому ли его — длинноногого, как журавль — она увидела в луже на столе?

Вообще «журавль» и «Дон Кихот» — любимые герои Гуро и Матюшина. Возможно даже, это один персонаж. Так что издательство могло быть названо не в честь птицы, а в честь странствующего рыцаря.

Остается понять, почему «плел» она заменила на «дрыгал». Это объясняет сюита Матюшина «Дон Кихот». В ней нет плетения и ровной вязи, а есть синкопы и контрасты. Прямо-таки видишь рыцаря — он движется не плавно, а резко, не робко, а победительно.

Прежде говорилось, что между рассеянностью и сосредоточенностью нет противоречия. Затем мы увидели связь между странностью и вызовом, поражением и победой. Сделав эти выводы, перейдем к следующей главе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Громозова — зритель и персонаж

Ольга тоже уносила в эмпирию. Ей грезились не только будущее человечества, но и собственное. Впрочем, без того было ясно, что возможны варианты.

Вот, например, вариант Матюшина. Нельзя не восхититься тем, как он работает у мольберта или — весь как божья гроза! — едет на мотоцикле. Вряд ли тут ей что-то обломится. Уж очень они с Еленой подходят друг другу.

Зато в компании футуристов у нее есть перспективы. Кто-то посетовал на то, что они перестали ругаться. Как-то это не по-футуристически! Если все «за», кто-то должен быть «против». Эта роль предназначалась Громозовой.

Она была вроде как народный глас. От имени своего родного города Слободского в Вятской губернии морщила лоб и раздраженно взмахивала руками.

Ольга выступала бы еще резче, если бы она не перепечатывала их тексты. Все же машинистка своего рода соавтор. К тому же неловко брать деньги у тех, кого ты только что критиковал.

На людях приходится себя сдерживать, а наедине говоришь все. Прямо заявляешь, что знакомые слова тонут среди «зовав» и «минав». Почему бы вам, Виктор, не почтить Плеханова? Какие сложные вещи он объясняет, а никакого тумана! Да и чем загадочное «крылышка» лучше понятного «летит»?

Эти разговоры ничем не заканчивались. Хлебников улыбался чему-то, находящемуся за пределами комнаты. В конце концов она решила представить, что это тарбарский язык. Нужно не разбираться, а печатать букву за буквой.

Вечной спорщице это непросто, но зато все довольны. К тому же дело не только в том, что пишут футуристы. Есть еще что-то, что ее в них привлекает.

Обычно в поклонниках у литераторов читатели, но Громозова больше зритель. Впрочем, они сами видят себя актерами. Иначе как объяснить желтую кофту и ридиксу в верхнем кармане пиджака?

Пусть они повторяются, но Чаплин тоже все время попадал впросак, и это никогда не надоедало.

Легко представить Чарли в роли футуриста. О рассеянности Гуро говорилось, но Хлебников от нее не отставал. Как-то вместо булки он засунул в рот коробок спичек. Если бы это проделал маленький человек с усиками, он бы округлял глаза и взмывал тростью.

Иногда футуристы перебирали. Даже для Чаплина это было бы слишком. Городецкий читал стихи на арене цирка, сидя на лошади, а Бурлюк красил нос серебрянкой и писал фамилию на лбу.

Это обозначало, что к традиционному образу русского поэта — задумчивый взгляд и перо в руке, ямбы и хореи — эта компания не имеет отношения.

Громозова, как уже сказано, наблюдала. Мол, что еще они учудят? Она бы и дальше оставалась свидетелем, как вдруг стало не до того. После того как заболела Гуро, самые из них безбашенные сразу посерьезнели.

Бы не забыли, что Ольга хотела стать врачом? В институт она не поступила, но акции у нее были, как у настоящей медички. Стоило ей услышать, что кому-то плохо, и она сразу спешила на помощь.

Это свойство связано не только с медициной. Есть такие люди, к которым все обращаются. Пусть даже она не поможет, но хотя бы скажет несколько утешительных слов.

Вскоре подопечных у нее станет больше, о чем мы узнаем из второй части, а пока Ольга существует в этом кругу. За него переживает и в каком-то смысле несет ответственность.

Елене в этом смысле принадлежало особое место. Она не только автор любимых книг, но родной человек. Тут никак нельзя оставаться зрителем. Следовало встать со своего места в зале, пробраться по ряду и оказаться среди действующих лиц.

Последняя поездка в Уусикиркко

В жизни наших героев много разных путей, но все они приводят к апрелю тринадцатого года. В этом месяце дача в Уусикиркко жила по расписанию процедур и приема лекарств.

Когда Гуро приезжала в эти места, у нее сразу прибавлялись силы. Вот и сейчас у них с Матюшиным был такой план. Если лекарства не помогут, можно прибегнуть к помощи леса и тающего снега.

Конечно, в этом решении таилась опасность. В городе есть врачи, а тут на много верст никого. Если природа не справится, то больше обратиться не к кому.

Как бы то ни было, обустроили для больной комнату и стали ждать чуда. Елене становилось только хуже. Может, дело в том, что целебный воздух перебивал запах лекарств?

Оставалось надеяться на тишину. В городе постоянно что-то происходит, а тут новости сводятся к переменам погоды. Начинаешь верить в то, что если дождь сменяется солнцем, а холод теплом, любые неприятности не навсегда.

Теперь о многом ей приходилось догадываться. Не только о чистом воздухе, но о лесе рядом с их дачей.

Когда Елена бывала в лесу, ей вспоминался Рембрандт. На его картинах время вечно длящееся, а потому его можно уподобить пространству. Тут не дни и недели, а тьма и свет. Да и возраст деревьев примерно такой, как у рембрандтовских стариков. Он измеряется не годами, а веками.

В эти часы Гуро убеждалась, что в реальности больше искусства. Такое соотношение было и в ее жизни. Когда она поняла, что сына у нее не будет, ей ничего не оставалось, как его придумать.

В своих текстах она называет его по-разному. Словно у него, как у всего, что сочинено, есть черновики и варианты. В ее прозе и стихах юноша предстает как Вильгельм Нотенберг, барон фон Кранц, принц Гильом и Бедный рыцарь.

Так у Елены появилась еще одна биография. Сына не существовало, но его путь она прошла до конца. Когда сюжет был исчерпан, назначила ему последние сроки и проводила в двух стихотворениях.

Существуют такие литературоцентричные авторы. Они состоят из прочитанных или написанных ими книг. Вот что значит строчка: «...и не надо жалеть о нем». Это говорит не мать Вильгельма, а его автор. Приступая к новому замыслу, она прощается с прошлой работой.

За то время, что выпало Вильгельму-Гильому, он вытянулся, возмужал, стал похож, как говорила Гуро, на ученика Матюшина Бориса Эндера. Ничто не предвещало ухода. Что это было — болезнь, гибель в бою, упавший кирпич? Скорее всего, Елена понимала, что умирает а без нее он точно не сможет жить.

Гуро болеет

У одного жизнь длинная, как роман, а у другого короткая, как рассказ. Страничка-другая, и все кончено. Можно только удивляться, что ее любимый жанр оказался судьбой.

Прежде она не разделяла себя и свои тексты. Все, что с ней происходило, отражалось в рисунках и записях. Сейчас ей хотелось многое скрыть. Уж больно все по-настоящему — и боли, и кошмары, и кровь на подушке.

Рядом с медицинскими склянками лежит тетрадка. Кажется, решается вопрос: чья возьмет? Уж как она сопротивляется, но страдания оказываются сильнее.

У Елены и прежде случались приступы, но сейчас все было иначе. Ведь приступ — это то, что проходит. Нынешняя боль могла быть глуше или острее, но никуда не уходила.

Не хотелось никого видеть. Особенно футуристов. Они ведут себя как на сцене: громко читают стихи и о них говорят. Вряд ли ей по силам этот напор. Да и врача надо слушаться. Он прописал тишину и присутствие рядом самых близких людей.

Елена зовет мужа или сестру, и кто-то из них появляется. Так и помогают в четыре руки. Все это напоминает детство. Когда в три года она заболела, их квартира сосредоточилась на лекарствах, сползшем одеяле и сказке перед сном.

Это родственники, а что остальные? Их всех следовало заменить Громозовой. Все же в отличие от друзей-поэтов она имела отношение к жизни, а не только к литерам в наборной кассе.

Через что только не прошла ее подруга! Книжная лавка, подполье, работа машинисткой... Все это перемешалось, и на свет явился «пушковатый скромный луч мой — Олли».

Разберем эту фразу на слова. «Луч» говорит о ясности и прямизне, «пушковатый» о тепле и мягкости. «Мой» подтверждает, что она воспринимала Ольгу как часть себя.

После первого письма Громозовой показалось, что замысел удался. Вместе с природой на помощь пришел деревянный дом. В помощи Елене поучаствовали не только стены, но даже половики.

«Боже, как здесь хорошо! Как в сказке!.. Мне все понравилось: стены бревенчатые, а потолок — медовый. Я давно о таком мечтала. И узенькая полоска половики, и только что выкрашенный пол, и три большие светлые комнаты. Я выбрала угловую, с окнами на юг и на запад.

Я буду здесь здорова. Я должна быть здорова. Правда, Олли?»

Вот такая эта барышня. Ее сверстницы заглядывались на серьги и кольца, а она на потолок. Правда, потолок был вроде как медом намазан. Цвет и запах свежего дерева обещали спасение.

О болезни сказано в конце. Сперва Елена говорит, сколько у нее сторонников. Потолок, пол, половик. Это, не считая мужа и сестры. Если все, что есть в доме, объединится, она должна поправиться.

Только Ольга порадовалась, что болезнь отступает, как пришла телеграмма: «Лене очень плохо, — писала Екатерина Гуро. — Хочет вас видеть. Приезжайте немедленно».

Не станем останавливаться на том, как Громозова добиралась. Она и сама этого не заметила. Если сказано «немедленно», думаешь только о том, чтобы успеть.

Наконец Громозова в Усукирко. В доме темно и пахнет лекарствами. Михаил Васильевич и Екатерина побледнели и исхудали, но делают вид, что надежда есть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Придворный оркестр

В кино есть такой прием. Называется «А в это время...». Монтаж переносит нас в новое пространство, и мы видим ситуацию объемно — с одной, и, с другой стороны.

Хотя основные события происходили в Усукирко, но Петербург тоже поучаствовал. Хотя бы потому, что всякую отлучку Матюшин согласовывал с канцелярией.

Не зря оркестр прежде подчинялся военному ведомству. Скрипки и валторны не стреляли, но строгости не уступали армейским. Отпуск запрещался, а работа на стороне приравнивалась к сдаче врагу.

Жили музыканты в казармах Конюшенного ведомства. Все подчинялось одному. В спальне стояли в ряд железные кровати, а прямо за стенкой располагался концертный зал.

На фото коронавания императора Николая оркестранты в сборе. Мундиры делают их похожими друг на друга. Различаются они усами, бородами и количеством орденов. Одни получены за служение искусству, а другие — их больше! — за храбрость в боях.

В одном документе руководитель оркестра барон Штакельберг назван «начальником в строевом и хозяйственном отношении». Значит, оркестр — это не только хозяйство, но и строй. Действительно, музыканты на сцене выглядели красиво, как войска на построении.

К 1897 году оркестр переподчинили Министерству двора. Общее руководство связало его с Ботаническим садом, театрами и дворцовой полицией. Учреждения эти очень разные, но без каждого из них не представить географию жизни царской семьи.

Многое осталось, как прежде. Штакельберг не только назывался начальником, но продолжал расти в чинах. Вот он на фотографии — грозный, но справедливый — в форме генерал-лейтенанта. Ноты у него в руках подтверждают, что он всегда помнит о службе.

Со временем военного становилось меньше, а художественного больше. Впрочем, единообразие сохранялось. Правда, мундиры заменили костюмами егерей времен Елизаветы Петровны. Так что войско было скорее потешное.

Потешное — значит предполагающее перевоплощение. Надел мундир — и принял условия игры. Снял — и опять сам по себе. Матюшина такие метаморфозы расстраивали. Почему другие могут быть собой всегда, а он время от времени?

После того как Матюшин почувствовал себя художником, оркестр стал его тяготить. Впрочем, сразу уходить не хотелось. После двадцати пяти лет службы ему полагалась пенсия. Следовало немного потерпеть — и он больше не будет раздваиваться.

Все это подтверждала бумага. На языке, принятом во всех канцеляриях, в ней разъяснялось, что «в сентябре сего года вы окончите службу в Придворном Оркестре».

Михаил Васильевич не только рассчитывал на освобождение, но к нему готовился. Издательство «Журавль» выпустило книги жены и друзей. Это были первые шаги в новую жизнь, которую он посвятит футуризму и футуристам.

Не пора ли вступить медным? — ими по праву гордился Придворный оркестр. Вот они заиграли туш в честь предстоящих перемен, но как-то враз замолчали.

Даже громкоголосые инструменты обладают тонкой организацией. Иногда они чувствительней скрипок. Впрочем, в сочувствии Матюшину объединились все. Когда кто-то хотел его о чем-то спросить, ему говорили: лучше не надо, Елена Генриховна тяжело больна.

Матюшин обращается в канцелярию

Сперва проситель получает разрешение. Причем не устное, а письменное. Затем набирается терпения. Наконец в правом углу листа появляется закорючка. Значит, тебя заметили и удостоили резолюцией.

Матюшин никак не мог взять этого в толк. Почему его прошения движутся не экспрессом, а обычной скоростью? Называется это «бумагооборот».

Ситуацию осложнял его характер. Зачем обращаться в инстанцию, практически не имеющую лица, со своего рода письмом? Впрочем, по-другому он не умеет. Даже рисуя, обращается. В цветке или дереве угадывает нечто живое.

За годы, проведенные за мольбертом, ему стало ясно, что живопись дышит. Сочетания красок — все равно что вдох и выдох, понижение и повышение голоса. Может показаться, что картина сама себя спрашивает и себе отвечает.

Чтобы написать заявление, об этом надо забыть. На конкретный вопрос получаешь конкретный ответ. При этом обе стороны должны быть непроницаемы. Словно диалог ведут не люди, а шкафы или стулья.

Матюшин никак не мог отстраниться. Как он ни старался себя сдерживать, но за текстом слышалось: «После того как заболела моя Лена, я уже не живу».

Что будет дальше, он только догадывается, но «дело артиста Михаила Матюшина» знает все. Оно ясно и недвусмысленно говорит о финале. Даже не об одном, а о нескольких.

Начинается папка с паспорта Марии, а заканчивается паспортом Елены. Это вроде как пролог и эпилог. Обе его жены скончались, и их документы разорваны надвое.

В промежутке — его нынешняя жизнь. Прямо-таки видишь, как он мечется между оркестром и женой. Это вам не то же, что выбирать между музыкой и живописью. Тут не две возможности, а необходимая и совершенная невозможность.

Матюшин просит у начальства отпуск на десять месяцев, а значит, все еще надеется. В то же время сомневается. Иначе он бы не писал о «крайне обострившейся болезни» и «настоятельности быстрого отъезда».

«Его высокопревосходительству гос-ну Старшему Капельмейстеру придвор. орк. Гуго Ивановичу Варлиху.

Ввиду крайне обострившейся болезни моей и настоятельности быстрого отъезда из С. Петерб., предписанного врачом г-ом. Брунсом и г-ном Штернбергом и удостоверенном нашим врачом г-ном Булавинцевым; покорнейше прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать перед его Превосходительством Начальником оркестра необходимый мне, для сопровождения моей жены и пребывания с ней, десяти-месячный отпуск от самого ближайшего срока.

5 апр. 1913

С истинным почтением

арт. пр. орк. Мих. Вас. Матюшин»

На другой стороне листа это комментирует доктор М. Булавинцев. Да, подтверждает он, все так. Может, даже хуже, чем думает муж.

«Честь имею донести Вашему превосходительству, что жена артиста Матюшина больна злокачественной формой малокровия и быстро прогрессирующей ввиду тяжелого положения необходимо пребывание за городом на свежем воздухе и усиленное лечение и питание общее состояние настолько тяжелое, что за ней требуется усиленный внимательный и постоянный уход».

Доктор пишет одно, а думает о другом. Уж очень ему хочется продлить жизнь пациентки. Поэтому вопреки печальному итогу фраза продолжается. Не считается с тем, сколько раз следовало поставить точку.

Одно дело надежды, а другое обязанности. Доктор сделает все, что в его силах, а если не выйдет, подготовит родственников к ее уходу. Об этом говорит заключение. О «лечении» в нем написано раз, а «усиленный» повторено дважды. Это значит, что микстуры важны, но поможет только покой.

Гуго Варлих все так и понял. Все же у него музыкальный слух, а слух — это чутье. Прибавьте сердечность, без которой не сыграешь Рахманинова и Скрябина.

Концертмейстер не пропустил просьбы о девяти месяцах. Какие такие сроки при этом диагнозе! Посомневавшись, он опять доверился слуху. Подумал, что это не в его власти. У него нет возражений, а уж как оно будет, решать не ему.

Когда Гуро вскоре умерла, стало ясно, что еще хотел сказать доктор. Он понимал, что это не отъезд, а побег. Пациентка и ее муж хотели выйти из круга сочувствующих и остаться наедине с неизбежным.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Гуро умирает

Для музыканта нет пространства, а есть только время. Зато живописцу безразлично место действия. Даже если речь о портрете. Человека на первом плане он должен соотносить с фоном.

В данном случае музыканту помогал художник. Первый не думал об обстановке, а второй все замечал. Не пропустил закрытых штор и теней по стенам... В комнате Елены весь день сумрачно. Может показаться, что время остановилось.

Год назад Гуро тоже приезжала в Усукиркко. В это время начались ее приступы, и она слегла. Матюшин раздвинул шторы на веранде, и из окон хлынул свет. Он был такой силы, что в нем растворились лицо и подушка.

Вспоминал ли Бенедикт Лившиц эту картину, когда описывал «излучавшуюся на все окружающее, умиротворенную прозрачность человека, уже сведшего счеты с жизнью»? Как бы то ни было, все это тут есть. Елена уходит туда, откуда идет свет. Не только она, но и комната им пронизаны — все темное рядом с ней так истончилось, что чуть ли не засияло.

После того как мы увидели ее на этом холсте, попробуем понять, что она чувствовала. Конечно, близкие о многом догадывались, но больше всего было известно дневнику.

Как мы знаем, проза Гуро говорит о мгновениях. Случится что-то ее задевающее, и она сразу достает тетрадь... Сейчас рассказывать было не о чем. Все повторялось, начиная приступами и заканчивая процедурами.

Когда в настоящем удивляться нечему, обращаешься к прошлому. Правда, болезнь и тут вмешивается. Пишешь про «рай любви и таланта», а буквы подпрыгивают на линии строки. Напоминают, что все хорошее было когда-то и уже не повторится.

Чтобы писать внятно, нужны силы, а у нее их все меньше. Прежде впечатлений было сколько угодно, а теперь остались только стены и потолок. Как на экране, на них возникают разные картины.

Все замечать — ее обязанность литератора. Так поневоле мы стали свидетелями. Вот Елена ощутила себя поллой емкостью, заполненной ужасом до краев. Или червяком — скользким, корчащимся под ботинком. Представив это, она написала: «Раздавленная, я ползла».

Чем хуже она себя чувствует, тем больше тумана. «Мне хотелось кровопролития, чтобы под трупами спасти своих людей (своих единомышленников)». Неужто это об утраченных смыслах? Слова тут потеряли значение, а значит, пали в этой битве.

Тем удивительней появление света (уж не начал ли действовать морфий?) в соседней записи. Пространство расширилось, и она увидела не готовый опуститься ботинок, а огромное небо.

«Я уходила все дальше в пустое поле под нависшими тюремными мыслями... — писала она. — Это абстрактная сторона одиночества, до чего я дойду... подумала я и отчаянно напрягла мысли... Звала людей, звала товарищей, чтобы не быть одной. „Я верю в вас“, — кричала я мыслями, которые соединяют народы, чтобы не быть одной».

На последней фразе боль вернулась, и слова опять попадались не те. Добавляешь обезболивающего, и в воображении возникает пейзаж: «Кругом, в голубоватом старом поле стоял дождь. Во всю сторону перевалом уклонами ширилось поле».

Так мы движемся от одной записи к другой, от острой боли к короткому просветлению. Откуда-то выплывают «чашки... китайской синьки, кофейник друзей и ананас радости». В эту триединую формулу счастья вписываются «состояние созерцания, белая дача, август». Завершают эту картину «золотистые белокурые волосики, по которым ласково проводит солнце».

Запись называется не «Диагноз», не «Близкий конец», а «Творчество». Ведь только работа может ее спасти. Кажется, сейчас их двое — первая очень больна, а вторая смотрит на себя со стороны и пытается описать.

Последней умирает не надежда, а способность к созиданию. Гуро видит, как опухоль переходит все границы и хозяйничает в доме. «Уже половинки со стульев, шкафа, стола съедены изжелта-мутным же. Уже половина головы отпадает...» В финале она не выдерживает и едва не кричит: «Сжался, сжался над жалким! Болит у меня мое — и не виновато оно в том, что было: если виновата, то я».

Словом, существуют «я» и «мое». Почему тело должно отвечать за сознание? Если наказывать, то не плоть, а дух. По крайней мере, не придется так мучиться.

В апреле плоть совсем сдалась, но дух еще держался. Елена опять попросила поднять шторы. Как год назад, когда муж нарисовал ее лежащей в постели, наступила весна, и из окон шел свет.

Елена умирала, но продолжала сочинять. «Ручеек прозрачный из-под ворот по красным и синим мостовинам бежал, — писала она, — и было видно сразу, что камни мостовой были невинны от городских грехов. А над воротами прозрачней юного ручейка чирикала птичка».

Вот что навсегда. Поле с дождем — и живой комочек, призывающий к чистоте и независимости. Ее не станет, но дождь будет идти, а птичка петь.

Когда Матюшин это читал, рядом с некоторыми записями он пометил: «дневник из ран». Значит, раны — это не только кровь и боль, но это чирикание. Его можно слышать в тех фразах, в которых перекликаются: «ейк»-«чир»-«птич».

Последняя запись помечена двенадцатым апреля. Только домашние знали, что происходило в оставшиеся ей полторы недели.

К домашним присоединим кота Бота. Как рассказала Громозова, он понял, что происходит что-то непоправимое, и почти не вылезал из-под шкафа.

Интересно, почему его так называли? Бот — небольшое парусное судно, а *botte* по-французски — сапог. Возможно, тут оба значения. Передвигался кот быстро, как парусник, а растянувшись на полу, длиной и чернотой не уступал голенищу.

Еще раз оценим способность Елены отражаться. Судя по фото, сделанные ею куклы в эти дни прятались в тени. С куклами были солидарны фарфоровые собачки на тумбочке. Они и прежде грустили, а сейчас на их мордочках прочитывался страх.

Это я отвлекал вас от главного. Не хочется говорить об этом, но придется. Обычно Матюшин старался в быт не погружаться, но тут ничего не пропустил. «Усиленный, внимательный и постоянный уход», прописанный доктором, не исключал и последней заботы. Елена умерла у него на руках.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В опустевшей квартире

Больше всего Матюшина угнетали подробности. Как освободиться от взбиваемых подушек и дурнопахнущих лекарств? Еще его мучил ее дневник. Он открывался на тех страницах, которые пока лучше не перечитывать.

Трудно Михаилу Васильевичу. На этой кровати, почти не вставая, она провела последние месяцы... А эти фарфоровые собачки еще не сняли траура... Не правильней ли послушаться кота Бота и в ее комнату не заходить?

Следует вернуться в оркестр, но пока Матюшин не пришел в себя. Может, ему помогут новые виды и разговоры на непонятном языке? Если ты устал от слишком знакомого, надо лечиться чем-то совсем чужим.

Он снова пишет заявление, и опять выходит что-то вроде письма. Зачем жаловаться на усталость, если много месяцев ты не был на службе? По крайней мере, в канцелярии к этому относились именно так.

«Ввиду постигшего меня большого горя, потери близкого друга и жены, я чувствую себя настолько физически и духовно разбитым и угнетенным, что покорнейшее прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать мне перед его Превосходительством начальником военного, так как в настоящем моем состоянии я ни на что решительно активное не способен и чувствую страшную усталость.

...1913. Мая 3-го».

Такую задачку задал Михаил Васильевич. Чтобы определиться с ответом, понадобилось четыре резолюции. Трое сомневались, а последний высказался уверенно.

В том, что четвертый писал карандашом, было что-то неформальное. Все равно что стукнуть кулаком и сказать: а кто не устал? Я бы тоже поехал в отпуск, но не могу бросить оркестр.

Оставался единственный вариант. Пойти в обход, или, говоря иначе, к врачам. Если заручиться нужным диагнозом, этот вопрос будет решен.

Булавинцев писал на заявлении пациента, а у доктора Купчика был собственный бланк. В правом верхнем углу значилось: «Министерство двора» и «Врач при-

дворной капеллы». Этот шрифт украшает бумаги начальника оркестра и даже самого императора.

Так доктор подчеркивал, что он — первое лицо. Как с упомянутыми высокими чинами, с ним лучше не спорить. Если он придет к какому-то выводу, это будет вердикт.

«Ввиду крайне обострившегося общего болезненного моего состояния, — обращался Матюшин в канцелярию, — плохое сердце, болезнь почек, сильный катар желудка и общее тяжелое ухудшение душевного состояния вследствие недавней утраты, по заключению врачей, меня лечивших, а также и нашего придворного врача Николая Ивановича Купчика; требуется неотложная поездка за границу, так как промедление может серьезно ухудшить состояние моего здоровья. Я покорнейше прошу Вас, г-н Капельмейстер, исходатайствовать перед Его Превосходительством г-ном начальником Придворного оркестра мне столь необходимый отпуск за границу сроком на два месяца...»

Заключение Купчика похоже на то, что писал Матюшин, но с уточнениями. Имеет место нервное расстройство, осложненное «хроническим воспалением почек и перенапряжением мышцы сердца», что позволяет сделать вывод: «Крайне нуждается в основательном лечении при полном моральном и физическом покое, в отъезде за границу в один из санаториев Германии».

На иерархической лестнице каждый считает себя первым. На самом деле это лестница в небо. Поднимаешься на ступеньку и получаешь право оказаться на следующей. Мнение доктора важно, но только для того, чтобы двинуться дальше.

«Прилагая при сем докладную записку его Сиятельства доктора Купчика, — написано на оборотной стороне листа, — честь имею ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о разрешении ему заграничного отпуска по лечению болезни».

Сперва мы обманулись шрифтом, а теперь доверились роскошным усам начальника оркестра. Они тоже говорили об особых возможностях. Тут выясняется, что он сам ничего не решает, а может только обратиться в следующую инстанцию.

«Артист вверенного мне оркестра Михаил Матюшин, — пишет Штакельберг, — просит об увольнении его в отпуск за границу сроком на 1 месяц и 28 дней. Донося о сем Вашему Сиятельству, испрашиваю прошение на увольнение помянутого артиста в просимый отпуск».

Это последний документ, связанный с просьбой об отпуске. Сложно сказать, что было после. Если даже отпуск разрешили, Матюшин остался в городе. Может, ему стало ясно, что на поездку нужны силы, а они у него кончились.

К тому же Михаил Васильевич нашел другой выход. Теперь он общался с Еленой с помощью спиритических сеансов. Вряд ли санаторий мог ему в этом помочь. Надо, чтобы все знали ту, кого вызывают, и она тех, кто хочет с ней пообщаться.

Приятельница назвала Елену человеком «очень оккультного склада». То же можно сказать о Матюшине. Да и как могло быть иначе? Тот, кто верит в четвертое измерение, непременно захочет вступить с ним в контакт.

Медиумом он сделал Грозовову. Для него было важно, что Елена говорит через нее. Твердый голос Ольги в эти минуты становился мягче. Слово от масляных красок она переходила на акварель.

На Матюшина сеансы действовали успокаивающе. Называешь Елену, а она тут как тут. Словом или фразой поддерживает собравшихся. Вскоре он отказался от крутящейся тарелки и присутствия посторонних. Достаточно было остаться одному, и они уже разговаривали.

Происходило это примерно так: «Вчера 24 августа ясно почувствовал Елену около себя... — рассказывает запись тринадцатого года. — Я совершенно ясно ее ощущал

у себя на плече. Она была очень весела и довольна и давала на все ясные ответы. Опять она говорила, что мы с ней вместе будем много работать, и это так было весело. Затем на овраге она меня повела за руку, и я, повинувшись ей, точно слепой, закружился и остановился около очень молоденькой, очень маленькой прелестной елочки, такой трогательной своей ребяческой нежностью и ясностью».

Кажется, Матюшин совершенно спокоен. Если есть четвертое измерение, эти контакты в порядке вещей. Как всегда, его удивляет только Гуро. В очередной раз она его куда-то вела, а он ей подчинялся.

Благодаря этим разговорам, кружениям и остановкам Михаил Васильевич приходил в себя. Без немецкого санатория голос стал тверже, а зрение четче. После того как она сказала: «Мы... вместе», он опять стал рисовать.

Так воскресают. Медленно, но неуклонно. Только что он не хотел никого видеть, а вдруг его потянуло к друзьям. Как вы там, Казимир и Алексей? Не хотите ли поучаствовать в моем возвращении к жизни?

Выезд на природу получил название первого съезда боячей будущего. Провести его решили в Усукирко. В зависимости от места — дача, поле или озеро — каждому предстояло стать докладчиком, президиумом и залом.

Конечно, Усукирко. Где еще? Здесь близость Гуро ощущалась особенно — 24 августа, когда Матюшин «ясно почувствовал Елену», не меньше, чем 18, 19 и 20 июля, когда состоялся съезд.

Съезд

Из участников нашей истории цельность отличала только Гуро. С остальными было по-разному. Если Ольгу это не волновало, то Матюшин свою раздвоенность преодолел. О том, что он думал на этот счет, говорил автопортрет.

О сходстве нет речи — работа изображает не человека, а призму. Так он понимал художника и конкретно себя: каждая сторона противостоит другой, а все вместе образуют единство. Это, конечно, больше мечта. В реальности грани конфликтовали. Как уже сказано, самым трудным был выбор между работой в оркестре и свободным творчеством.

Когда Матюшин оказывался вне строгих служебных рамок, он мог позволить себе все что угодно. Вот так, как на фото, где он снялся вместе с Малевичем и Крученых. Получилось что-то вроде картины или, как сказали бы сегодня, инсталляции.

Известен вкус питерских ателье. На рисованном заднике — колонна, полка с книгами, занавес. Все говорит о необходимости тянуть спину и смотреть прямо перед собой. Как видно, эту обстановку выбрали для того, чтобы над нею весело посмеяться.

Малевич и Матюшин сидят, а между ними прилег Крученых. Один держит его ноги, другой голову. Посредине — перевернутый стул. Он вроде как укрепляет положение автора «дыр бул щыла».

Рука Казимира Севериновича лежит на ноге Крученых. Его лицо при этом настолько серьезно, словно он произносит: «Отказать!» — или клянется в верности императору.

У Матюшина своя игра. Он оберегает товарища от падения — и сердечно его обнимает. Крученых чувствует симпатию и из этой неудобной позиции по-пушкински выкидывает руку вперед.

Все это похоже на провокацию, «сапоги всмятку» и «мир с конца». Съезд вышел таким же шутейным, как фото. При этом продуктивным. Между купаниями и походами за грибами задумали оперу «Победа над солнцем».

Начали не откладывая. На все про все ушло не больше месяца. Сложность оказалась только одна. Действующих лиц было столько, что пришлось на помощь призвать поклонников.

Вот и повод для Громозовой показать себя. Впрочем, как это сделаешь, если актеров закрывают фигуры из картона? Так что от тебя остается только голос. От имени героя ты должен прокричать что-то малопонятное.

Не везло Ольге. Никак у нее не получалось выйти на первый план. Сейчас прав у нее еще меньше, чем у машинистки. Тогда она высказывала свое мнение, а сейчас приходится говорить чужими словами.

Вот почему собой она была не очень довольна. Зато все остальное ее впечатляло. Шум, волнение, невероятные гости... Пришел подвыпивший Блок. Видно, он подготавливался. Решил отклоняться от реальности вместе со спектаклем.

Об этой премьере в шестидесятые годы рассказала Екатерина Гуро. Перед ней стояла чудо-машина «Яуза-5», бобины крутились, пленка шелестела... Все это было так удивительно, что ей никак не удавалось сосредоточиться.

Времена путались, и Екатерине Генриховне показалось, что спектакль она смотрела вместе с Еленой. Ясно представилось, как они выходят из театра «Луна-парк» на Офицерской улице, а сестра говорит: «Тебе не кажется, что мы парим?»

К концу тринадцатого года Елены уже пять месяцев не было на свете, но эту фразу она вполне могла сказать. Странно поклоннице четвертого измерения перемещаться только по земле. Тем более что в фантазиях, как уже сказано, она чувствовала себя уверенней, чем в обычной жизни.

«Потихоньку кто-то идет в воздухе и любит все живое... Мимо всех вещей, сквозь все вещи, идет, не замечаемый никем. И никто его не видит и не знает о нем. Пробирается во все живое, как тепло весны и благословение».

В этом отрывке она вся. С одной стороны, немислимое («кто-то идет в воздухе»), а с другой — привычное («тепло весны»). То она выпадает из привычных связей, то вновь возвращается обратно.

Такое мерцающее существование. Вот и после смерти Елена попеременно отсутствовала и присутствовала. То вычиталась из числа ее товарищей, то опять была с ними. Об этом говорит название книги «Трое», которую участники съезда посвятили ее памяти.

Эта цифра тоже мерцает. Если эти трое Матюшин, Крученых и Малевич, почему нет Хлебникова и Гуро? Если речь о Гуро, Хлебникове и Крученых, где Матюшин и Малевич?

Может, это и есть то, что называется двоимирием? В Уусикиркко это остро ощущалось. Особенно тогда, когда Матюшин с Малевичем приходили на кладбище, а затем шли назад.

Возможно, из этих разговоров — близко и далеко от Гуро — возник малевичевский портрет Матюшина тринадцатого года. Это портрет не больше, чем упомянутая призма — автопортрет. Тут нет знакомых усов, улыбки и трости. Есть что-то вроде клавиш, галстука и пуговицы, но, скорее всего, сходство случайно.

Мы помним, что Михаил Васильевич отмерял время шоками. Казалось бы, шок — это что-то вроде взрыва. Все летит в разные стороны и никогда не станет целым. У него выходило наоборот. Он верил во взрыв животворящий, соединяющий распавшееся воедино.

Все это Малевич показывал на примере. Предположим, существует разнонаправленное движение. В реальности было бы не избежать катастрофы, но сейчас все закончилось счастливо. На свет появилась одна из самых гармоничных его работ.

В этой картине тоже есть мерцание. Хрупкость — и неокончателность, сила — и цельность. Из хаоса рождается единство, при этом хаос никуда не уходит. Так чувствовал себя Матюшин в тринадцатом году. Только что он потерял жену, впал в отчаяние, но все же решил жить дальше.

И еще через месяц

Почти каждый день Матюшин беседует с Гуро. В какой-то момент он понял, что им надо отдохнуть друг от друга. Уж очень бурные выходили беседы. Для людей, расставшихся навсегда, это все-таки чересчур.

Значит, придется сменить обстановку. Если не случилась Германия, можно переехать в соседний дом. Тут хотя бы есть то, что Малевич называл «прибавочным элементом». Номер квартиры тоже двенадцать, да и вид из окна напоминает прежний. Только ракурс немного другой.

Тут жила Екатерина Гуро с семьей. Так что и в этом смысле ниточка не рвалась, а тянулась дальше.

Новым должно было стать ощущение независимости. Словно он находится не внутри прошлого, а видит его со стороны.

Об одной причине не скажешь вслух. Если Елена его не совсем покинула, то ей, должно быть, многое непонятно. Для чего, к примеру, к нему зачастила Ольга? Она не станет ему выговаривать, но ее молчание выразительней слов.

После обмена поводов для подозрений не будет. Впрочем, пока это только мечты. Чтобы их осуществить, нужно согласие инстанции столь же твердолобой, как канцелярия оркестра.

С 1904 года несколько домов по Песочной принадлежали Литературному фонду. Сейчас связи с литературой истончились до неразличимости, но у фонда остались кое-какие права. Здесь по-прежнему решали, кому где жить и какую площадь занимать.

К этому времени Матюшин был уже известным художником, но для фонда оставался «отставным музыкантом». Подпишись он иначе, от него бы потребовали это подтвердить. Предоставить что-то более весомое, чем картины.

Срочность переезда Михаил Васильевич объяснял тем, что ему трудно оплачивать большую квартиру. К тому же он хочет помочь сестре жены избавиться от соседа. Уж лучше слушать его скрипку, чем вопли пьяного мастерового.

О главной причине Матюшин не заикнулся. Вряд ли его поймут, если он скажет, что меняется потому, что хочет увеличить дистанцию.

Литфонд вроде согласился, а потом засомневался. Странно менять шило на мыло, двенадцать на двенадцать. Да и какая разница, кому мешает сосед? Возможно, на новом месте он разойдется еще больше.

Сосед тоже не давал согласия. Видно, он не представлял жизни без семейства Гуро. Пришлось постучаться в соседнюю дверь. Здесь квартировала целая артель плотников. Существовали они в такой тесноте, что долго уговаривать не пришлось.

Представьте молодых, полных сил, ребят. Все в их руках спорится. Возвести дом им так же просто, как сколотить скамейку. Понятно, что их не тревожила тень Гуро. Да и тарелки были для них не средством связи, а предметами быта.

После переезда Матюшин вновь рисовал, ходил на выставки, встречался с разными людьми. Хотя бы с той же Ольгой. Прежде Елена постоянно была рядом, а теперь появлялась редко. Смотрела издали на мужа и подругу и думала: а почему нет?

Первое появление Бонча

За время, прошедшее с начала истории, Громозова успела не раз измениться. Теперь она не мечтала о громе и молниях. Для чего эта иллюминация, когда есть тихие радости?

Вот такое знакомство — разве не приобретение? Как-то в книжную лавку заглянул симпатичный человек. Вообще-то, несимпатичные редко покупают книги, поэтому удивляться тут нечему. Станным было то, что новый знакомый не пропал, а остался в ее жизни. Даже пару раз пытался ее направлять.

Его фамилия была Бонч-Бруевич. Ей понравилось то, что он зажигался от каждой новинки. При этом в книге ему было важно все. Не только автор и тема, но плотность бумаги и ширина корешка.

С этих пор интерес был взаимным. Не в том смысле, о котором вы подумали, а в куда более долгосрочном.

В шестом году Бонч создал издательство «Вперед» и присматривал сотрудников. Кроме того, что Громозова понимала в книгах, у нее было еще одно преимущество. Многие авторы тоже сидели в тюрьмах, а это сближает, как ничто другое.

Издательство разгромила полиция. Потом три года пришлось собираться с силами. Наконец Бонч предпринял вторую попытку.

Название «Вперед» говорило о продвижении и завоевании, а «Жизнь и знание» — о карандаше в руке и круге горящей лампы. Раньше читателя звали сражаться, а теперь останавливали. Благо есть что почитать.

В тринадцатом году было много разных событий, а тут еще это предложение. В последнюю поездку в Уусикиркко Ольга взяла недавно изданную ими книгу. Вот, мол, что мы издаем! Это тебе не цветы-птички-травинки, а настоящая жизнь.

Прежде всего Громозова занималась распространением. Тут ей пригодился опыт контроля за явками. Чтобы книги уходили куда надо, следовало помнить множество адресов.

Все происходило параллельно. К примеру, вечером Ольга играет в «Победу над солнцем», а с утра у нее другие проблемы. Она думает о том, чтобы книги не затерялись, а, подобно стреле, попадали в цель.

Оказалось, в ее жизни есть место и для личного. Тут тоже наметились перемены. Пока это секрет, но самые бдительные соседи уже перешептываются. Одна говорит: «Ты знаешь...», а другая отвечает: «Не может быть!»

Не очень понятно, как это началось. Помните, Гуро назвала ее «пушковатый скромный луч — Олли»? Луч всегда появляется незаметно. Только что его не было, а вот он есть.

Елена написала, что Ольга-Олли «выскользнула на балкончик, видна стала на рыжей двери». Сейчас тоже не обошлось без двери и балкона. «Из квартиры Матюшина, — пишет Громозова, — можно было по балкону пройти в Катину. Часто, особенно по вечерам, я слушала оттуда, как печально пела его скрипка... Как-то... я была дома одна. Стояла в Катиной комнате, прислонившись к балконной двери». Как видите, она чувствует себя здесь как дома. Впрочем, еще немного, и это действительно будет ее дом.

Через страницу-другую в ее рассказе появляется «мы». Эта едва заметная частичка свидетельствует о том, что ситуация вновь изменилась. Начинается их совместная жизнь.

Громозова отмечает, что это пятнадцатый год. «Тихая шла весна... Тепло, солнечно. Деревья будто мечтательно подняли свои головы». Слышите здесь голос Гуро? Рассказывая о том, как она заняла место подруги, Ольга заимствует ее интонацию.

Обычно влюбленные невнимательны. Кажется, Михаил Васильевич совсем ослеп, если не взгляделся в фото тринадцатого года, запечатлевшее их с Ольгой на могиле Гуро.

Вот он, момент истины, соединения в одном чувстве, но почему-то каждый сам по себе. Взгляд Матюшина странно блуждает. Хоть он и рядом с Громозовой, но больше там, куда ушла Елена. Зато она точно здесь. Ее губы сжаты, а на лице написана обида.

Вот оно как! Кладбище примиряет с жизнью и смертью, а тут чуть ли не семейная сцена! Особенно это странно для людей, уверенных в том, что Елена видит все.

Этот любовный треугольник похож на нерешаемую «квадратуру круга». Впрочем, Ольга еще не освоилась в своей роли. Вскоре ей удастся вписаться во что угодно — хоть в круг, хоть в квадрат.

Уже через год Громозова это продемонстрировала. Стала частью живописной композиции. Получилось это у нее так легко, словно она вошла не в картину, а в дверь.

У Ольги немного таких удач. Даже через тысячу лет ее будут помнить за то, что она позировала для этой картины. Вот же ее глаза, прическа, абрис лица. Взгляд недоверчив, как на упомянутом фото, но руки, придерживающие младенца, полны нежности.

Как Громозова была Девой Марией

В Русском музее сперва идешь к «Семье плотника». Как вы там, петух, лошадь, собака, Дева Мария, младенец? Ну и, конечно, Иосиф. Он поднял обе руки, то ли защищая мать и ребенка, то ли вознося благодарность за то, что они есть.

Так вот Марию Филонов писал с Ольги. Это не первое ее участие в чужом творчестве. Ей доверялся Хлебников, чьи тексты она получала, что называется, горячими. Читатель еще ничего не знал, а она уже приобщила и даже высказала свое мнение.

Впрочем, такого у нее не было. Ее бы меньше смутило, если бы Филонов писал с нее собаку или лошадь, но он настоял на фигуре с младенцем. Казалось бы, откуда это в ней, нерожавшей? Неужто художник догадался о том, в чем бы она никогда не призналась?

Влюбленный видит не то, что есть, а то, что может быть. Особенно если любовь безответна. В общем-то, ничего и не было. Сперва он ее ждал, а потом они недолго гуляли. Вместо того чтобы отдыхать после работы, Ольга должна была поддерживать разговор.

Даже после его смерти она ему это припоминала. Представляла, как его фигура отделяется от стены. Он, видите ли, закончил картину и теперь хочет отвлечься.

«По вечерам он... поджидал меня на набережной Фонтанки, — писала она в своей „Песне о жизни“, — и я, несмотря на усталость, шла домой пешком, а не ехала на конке».

Большая часть фразы говорит о ее удивлении. Особое раздражение слышится в словах «несмотря на усталость» и «пешком». Прошли годы, а она по-прежнему злилась на то, как не вовремя он появлялся.

В сорок шестом, когда это было опубликовано, имя Филонова не произносилось. Поэтому в ее книге он назван Художником. Выходит, Громозова выясняет отношения непонятно с кем. При этом не упоминает о том, как позировала для его картины.

Можно было не уточнять, что это одно из самых прекрасных полотен в мировой живописи. Главное было сказать, что все это она часто видела во сне. Сколько раз ей представлялось, что ее сын стал богом. По крайней мере, для нее он точно был бы бог.

Вот что объединяло Елену и Ольгу. Обе мечтали о наследнике и обе признались в этой тайне. Одна придумала своего Вильгельма. За другую это сделал художник, написавший «Святое семейство».

Так выглядит греза. Руки то ли приближаются, то ли удаляются. Расстояние между Марией и ее сыном никогда не будет преодолено. Возможно, эта дистанция говорит и о них с Ольгой. Не только о том, как это началось, но и том, чем закончилось.

Однажды Громозова сказала Филонову, что выходит за Матюшина, и попросила не приходить. Конечно, это было сказано впрок. Что-то такое уже мерещилось, но о свадьбе речи не было. Пока они разговаривали, потом прощались и встречались на другой день.

Ольга не художница, но почему бы ей не пофантазировать? Филонов представил ее Девой Марией, а она себя женой Матюшина. Пусть они не поженились, но она так чувствует. Для чего тут церемонии и бумаги?

Его фантазии и ее выдумки говорят о более или менее спокойном времени. Начавшаяся 1 августа 1914 года война все изменила. Уже никто ничего не планировал. Ко всему примешивался неприятный привкус. Идешь на выставку и думаешь: кого из художников призвали? Если все так пойдет, то некому будет рисовать.

Филонов ждал мобилизации, но на фронт попал только осенью шестнадцатого года. До этого нарисовал самые страшные из своих картин. На одной из них — «Германская война» — представил что-то вроде человеческого месива. Соединил принадлежащие разным людям лица, ноги и руки.

Громозова и Матюшин старались этого не замечать. На Песочной (уже в доме 12, а не 10) по-прежнему обсуждали «расширенное смотрение». Даже находили этому оправдание. Не без пафоса говорили, что тому, кто занял сторону искусства, опасаться нечего. Тем больше они удивились, когда война буквально вошла в их дом.

Все началось со звонка в дверь. Они не почувствовали опасности и сразу открыли. Нежданный гость интересовался Николаем Матюшиным, 1895 года рождения. Ах, он пока учится? Пусть не очень усердствует. Скоро ему идти на фронт.

Михаил Васильевич растерялся, но Мария быстро привела его в чувство. Уж как она не любила просить бывшего мужа, но тут взмолилась: прошу, помоги!

Отец и его дети

Хотя это сильно меняет картину, но иначе ничего не понять. Матюшин почти не пересекался со своими детьми. Они выросли и искали себя вдалеке от него.

В архиве нет следов общения с ними. Хотя бы одно поздравление с днем рождения! Ученики шлют открытки ко всем праздникам, а они внимания не проявляют. Да и его блокноты показательны. Что только он не рисовал по ходу жизни, но сына и трех дочек в них нет.

Процитировать по этому поводу нечего, но догадаться несложно. После того как Михаил Васильевич ушел из семьи, он стал им неинтересен. Даже искусство для них перестало существовать. Если отец рисует и играет на скрипке, они займутся чем-то другим.

Все же совсем без Матюшина нельзя. Больно неженские вопросы приходится решать Марии Ивановне. Больше всего она не любит ходить по инстанциям, а у него по этой части есть немалый опыт.

Особенно много проблем было с Николаем. Пробовали разные варианты, но в конце концов его определили в приют. Это была капитуляция. Родители признавались в том, что без чужой помощи им его не воспитать.

Приют принца Ольденбургского был государством в государстве. В его уставе, своего рода конституции, говорилось, что заведение «имеет целью воспитание и образо-

вание детей обоего пола... без различия их происхождения, состояния и вероисповедания». Словом, дело не в отсутствии средств и не в присутствии родственников. Если тебе нужны помощь и поддержка, то тут тебя ждут.

Серебряный век — это не только «жизнетворчество». Кого в этом не заподозришь, так это Николая. Если он напоминал отца, то совсем раннего. Того, что в детстве дрался и пьянствовал.

Откуда это известно? В своем хозяйстве принц установил порядок. Это относится и к канцелярии. Обычно чиновники бумаги выбрасывают или теряют, а тут их подшивали в папки.

Первая дата в «деле» Николая² — одиннадцатый год, но от семьи он откололся раньше. Сперва была торговая школа при лютеранском храме Христа Спасителя. О том, как здесь учили, говорят отметки, полученные при поступлении в приют. По русскому, арифметике и закону Божьему у него стоит «два».

Понятно, что за этим должно последовать. Поверх строчки: «Может быть принят в... класс» — красными чернилами написано: «Отчислен».

Может, к юноше отнеслись необъективно? Чтобы сомнений не возникало, в «деле» вложен диктант. Все честно: «деревня» написано через «и», а в слово «рощицы» вторглась буква «т».

В тексте говорилось о том, что Матюшин и его вторая жена любили больше всего. Судя по отсутствию запятых, абитуриент природу не чувствовал. Поэтому части предложения, как описанные тут овцы, сбиваются вместе.

«Бродившие по дну долины овцы мелькали, как белые крапины, которые то сверкали на солнце, то исчезали в голубой тени, бросаемой облаками».

Это мы расставили знаки препинания, и картина оказалась в фокусе. Кажется, от нее идет свет: овцы, тени от облаков, причудливое сочетание прозрачного, белого и голубого.

Если ты этого не видишь, внесенные за учебу 155 рублей тебе не помогут. После этого можно было бы успокоиться, но Матюшин решил попробовать еще раз — обратился с просьбой зачислить на механико-техническое отделение «сына моего... выбывшего из ремесленного отделения».

Оказалось, тут действительно шансов больше. Прежде преобладали двойки, а сейчас тройки... С такими отметками он бы доплелся до выпускного, если бы не год рождения.

Сперва Николая определили «в присутствие по воинской повинности». Конечно, присутствие — не участие. Впрочем, очередь продвигалась быстро. Люди на фронте выбывали ранеными или убитыми, и их место занимали другие.

Когда речь о детях, самые прекрасодушные родители становятся хитрецами. Вот и Матюшин подал заявление «на получение казенного обеспечения». Расчет был на то, что государство соотносит действия правой и левой руки. Вряд ли оно заплатит за учебу Николая — и отправит его на войну.

Как говорят в театре, «та же игра». Одни пишут на заявлениях резолюции, другие комментарии. Среди последних оказался один равнодушный человек. Не каждый, отметив внесенную сумму, добавит от себя, что «успехи очень хорошие и поведение отличное».

Вряд ли «успехи» — это про русский и арифметику. Впрочем, даже если есть достижения в механике, какой от этого толк? Судьба Николая решалась не в классе или мастерской, а в бумажной плоскости. Особые надежды Матюшин связывал со Штакельбергом.

² Здесь и далее цитируются документы из папки «Личное дело воспитанника Матюшина Николая», хранящейся в Центральном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб).

У бывшего начальника Михаила Васильевича были все основания ему отказать. Для этого необязательно встречаться. Секретарь объяснит, что с тех пор, как вы вышли на пенсию, у вас нет права нас о чем-то просить.

У Константина Карловича другая логика. Он считает себя отцом солдатам и старается не забывать о своих детях.

Штакельберг сразу написал куда следует. Ему отвечали чуть ли не с расшаркиваниями. Знаете эти бюрократические обороты? Фраза словно сгибается в поклоне. Если этого недостаточно, сгибается еще раз.

«Вследствие письма Вашего превосходительства, имею честь уведомить, что прошение относительно артиста придворного оркестра Матюшина о зачислении на казенный счет сына его Николая Матюшина... будет доложено Попечительскому совету в ближайшем его заседании, но едва ли можно надеяться на удовлетворение этого ходатайства, так как в принципе казенных и беспошлинных вакансий не имеется...»

Так и произошло. И доложили, и отказали. Сперва хотели использовать то, что у Николая болеет мать, но потом решили, что это вряд ли поможет. Убитых на фронте не считают, а тут все же столица. Всегда можно позвать врача.

Да болезнь развивалась стремительно. Пока оформляли бумаги, ждали ответа, стало ясно, что счет идет не на месяцы, а на недели.

Днем смерти матери — 5 ноября 1915 года — помечена вторая крайняя дата на «деле». Она стала не только отметиной в памяти, но цифрами на папке. Не сам ли Николай попросил ее поставить? Уж очень явно время разделилось на до и после.

Как видите, не так просто Матюшины. В их жизни достаточно символизма. Не случайны не только эти даты, но место захоронения Марии Ивановны.

Перед женитьбой Мария Патцак перешла в православие, а после смерти вернулась в религию родителей. Поэтому похоронили ее на далеком Выборгском католическом кладбище.

Остальные бумаги в папке связаны с необходимостью идти на фронт. О «присутствии по воинской повинности» уже говорилось. А это еще одно предупреждение. Тут уже прямо сказано: «Воспитанники 2 класса низшего механико-технического отделения... Матюшин Николай Михайлович... и Машуков Сергей Дмитриевич... подлежат досрочному призыву для отбывания воинской повинности с 15 мая сего года».

Как видно, в армию брали соответственно алфавиту. Наконец добрались до «Ма». Впрочем, приказ — не приговор. Вскоре приют ходатайствовал о «предоставлении... Матюшину и Машукову отсрочки для отбывания воинской повинности для окончания ими курса означенного отделения, каковой они, при переходе в 3 выпускной класс, должны окончить в мае 1916 года».

Ну а дальше никаких поблажек. После выпуска Николай отправился на фронт. Кто же мог знать, что после мировой сразу начнется Гражданская? Он воспользовался короткой передышкой между войнами и вернулся в Петроград.

Прежде учеба его не очень интересовала, а сейчас захотелось учиться. Несколько месяцев он уворачивался от пуль, и аудитория показалась ему убежищем.

Возникли даже блаженные мысли. Почему бы не пересдать двойку на тройку, а тройку (чем черт не шутит!) на четверку? Тут выяснилось, что приют закрывается. Новая власть не доверяла людям «без различия... происхождения, состояния и вероисповедания». Теперь только и делали, что разделяли. Одни допускались к строительству нового государства, а другим в этом отказывали.

Перестав быть столицей, Петроград растерял свой блеск. Прежде это был город дворцов, а сейчас здания отступили на второй план. В глаза бросалось запустение. Си-

туация жителей была еще хуже. Газеты призывали отказаться от домашнего питания. Во-первых, это революционно, а во-вторых, продуктов всем не хватало.

В приюте и армии жизнь Николая отражалась в бумагах, а сейчас он существовал как птица небесная. Хорошо до нас дошли кое-какие разговоры. Пусть они невесомей ветра, но все же следует к ним прислушаться.

Первая версия говорит о том, что Николай погиб в Петрограде. Что ж, дело обычное. Пули свободно гуляли на улицах. Ничего не стоило пойти в магазин и попасть в морг.

Кроме местного, был вариант удаленный. Якобы он добрался до Франции. Может, так обозначалось перемещение на тот свет? Все же другие уехавшие подавали знаки, а он как растворился.

Так продолжалось уже много лет. Вроде бы пора черной полосе стать светлой, но число потерь только увеличивалось. Началось это с болезни Гуро. В январе тринадцатого года умер Ционглинский, благодаря которому Матюшин познакомился с женой. В апреле проводили Елену. Дальше так и пошло. В четырнадцатом хоронили Крачковского, а в пятнадцатом Марию Ивановну.

Теперь исчез Николай. Михаил Васильевич пытался что-то выяснить, но что можно понять в городе, который уже не помнил себя столицей Серебряного века?

Самые страшные события произошли после смерти Матюшина. В тридцать седьмом году расстреляли мужа младшей дочери Марии, а ее отправили в лагерь. Начался мор не только для искусства авангарда, но и для его семьи.

До этого момента мы еще пройдем, а пока остановимся в районе конца десятих — начале двадцатых годов. Михаил Васильевич подводит черту под прошедшей жизнью в неожиданном жанре: он заполняет анкету поступающего на службу и дважды проговаривается.

Некоторые итоги

В каждой семье есть «скелеты в шкафу». За пределами своего круга об этом не говорят. Михаил Васильевич нарушил это правило и сам явился с повинной. Дал повод коллегам немного посудачить.

Существует ли пространство более публичное, чем анкета? Если что-то будут знать в отделе кадров, то не только для академии, но и для всех художников Петрограда это уже не будет секретом.

В мае девятнадцатого года Матюшин оформлялся в Академию художеств. В графе «семейное положение» он написал, что «от I-го брака, после развода, связь с женой и детьми порвалась и сведений не имею»³.

Справедливо ли так казнить себя? Как мы видели, Михаил Васильевич участвовал в судьбе сына. Что касается дочерей, то это было их решение. Так что тут виноваты все.

Если Матюшин смог честно признаться, что не общается с детьми, почему бы ему не сказать о Грозозовой? Он решил, что правильнее промолчать, и написал: «вдовец».

Непростая жизнь у него была с Ольгой. По крайней мере, такой ясности, как когда-то с Еленой, тут точно не было. Они уже подумывали расстаться, но решимости не хватило обоим. Так они дожили до двадцать второго года, когда он сам заговорил о женитьбе.

Хочется эту часть закончить не на мрачной ноте. Попробуем вообразить церемонию бракосочетания. В прежней жизни они бы венчались, но сейчас церковью был загс.

³ Цитируется по «карточке-формуляру» М. В. Матюшина (май 1919), хранящемуся в Архиве Российской академии художеств (НА РАХ).

Особого воображения тут не нужно. Все происходило так, как это бывает всегда. Особа с зычным голосом заменяет священника. Еще есть свидетели. Они не держат венцы над головами, а перетаптываются невдалеке.

Скорее всего, его представлял кто-то из футуристов, а ее сотрудница издательства «Жизнь и знание», теперь переименованного в «Коммуниста». Эти двое привыкли находиться на первом плане, но сейчас у них была другая роль. Поэтому первый не красил нос серебрянкой, а вторая не агитировала за новую власть.

Казалось бы, можно забыть обиду. Вместе с тем Громозову не оставляла мысль, что Матюшин тянул столько лет. После его смерти она написала в автобиографии, что они поженились в шестнадцатом году, и тем самым восстановила справедливость.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОСЛЕ. 1938—1955

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Громозова примеривается

О том, как события развивались дальше, долго рассказывать. Ограничимся тем, что это была семейная жизнь. Нам с вами известно, что это такое. Постоянно что-то происходило в диапазоне от небольшой размолвки до удачного борща. Конечно, в жизни этой четы было много искусства — того, что творил он, и того, что создавали друзья.

Все же не будем отвлекаться от нашего сюжета. Постараемся объяснить, как так случилось, что Серебряный век стал Советской эпохой.

Сперва вспомним один портрет. Матюшинка Мария Эндер перед войной нарисовала Громозову. Каждая краска на этом листе отбрасывает тень. Например, желтый в волосах продолжен синим, а на щеке зеленым.

Мария следовала совету Матюшина использовать дополнительные цвета. Такой прием во многом объясняет Громозову. Становится ясно, что ее не свести к чему-то одному.

Чтобы не заслонять мужа, иногда Ольга Константиновна делала вид, что тут нет никакой сложности. Например, гости отмечали ее хозяйственность. В голодные годы она угощала их грибами, а в более благополучные пирогами.

Часто, оставшись одни, вдовы утасают, уходят в слезы и воспоминания, но сейчас вышло иначе. Если эти перемены выразить в цвете, то тут были не две краски, а четыре или пять.

Обычно дебютируют в двадцать лет, а ей было почти пятьдесят. В этом возрасте многие почивают на лаврах, а она начинала. Рисовала первую в жизни картину и писала первую повесть.

Конечно, для дебюта слишком поздно. Не только из-за того, что стоишь в очереди с молодыми, но и потому, что силы не те. Громозову это лишь раззадоривало. Было ясно, что это ее час, и она не должна его пропустить.

Как сказано: «Смешен и ветреный старик, / смешен и юноша степенный». Иначе говоря, всему свое время. В одной эпохе Ольга Константиновна существовала при муже и друзьях, а в другой заняла самостоятельные позиции.

У каждого поколения свои требования к начинающим. Прежде у нее бы не спрашивали, почему раньше она тяготела к футуристам, а сейчас ответа на этот вопрос было не избежать.

Ясно, что от нее хотели отречений, и Громозова ничуть не растерялась. Написала в автобиографии, что она интересовалась многими, но любила только Серова и Левитана.

«Живопись с детства притягивала меня, — писала она, — но мне даже в голову не приходило самой попробовать. Матюшин был художником. Могла наблюдать, как он пишет. Но Матюшин принадлежал к группе „левых“ художников. Это искусство мне не нравилось. Я любила пейзажи Левитана, картины Серова. Жизнь отвлекала меня от живописи. Я продолжала работать в издательстве. Время было горячее. Начиналась революция»⁴.

Странная, конечно, мотивировка. Значит, в том, что все случилось так поздно, виноваты муж и революция? Теперь, когда революция победила, а она осталась одна, ее давние планы осуществятся.

Пересказ ее мыслей вольный, но как это понять иначе? Тем более что дальше следует уточнение: «В 1934 году умер М. В. Матюшин. В 1938 году совершенно неожиданно у меня вспыхнула страсть к живописи». Хотя «после» не значит «вследствие», но все же странно, что эти события следуют одно за другим.

Лучше бы Ольга Константиновна это сказала вслух. От того, что напечатано на машинке, откреститься сложнее. На любом, в том числе и высшем, суде эти страницы будут считаться свидетельством.

Нечастное лицо

Возникает ассоциация с ролью. После того как актер получает текст от помощника режиссера, он уже себе не принадлежит.

Громозова должна была сыграть не Дездемону или Катерину. Роль советского писателя допускает варианты, но до определенной степени. Импровизации и отсебятины тут не поощряются.

В ее юности ценилась непохожесть, какая-нибудь дерзкая редиска в кармане, а сейчас все изменилось. Не только пишешь правильно, но ведешь себя соответственно. Хочешь не хочешь, изволь завести архив. Теперь бумаги не выбрасывались и не использовались как закладки в книге, а отправлялись в ящик письменного стола.

Да и возможности у нее сейчас были другие. При муже Громозова не удалялась от дома дальше, чем в Мартышкино, а тут ее пригласили в Москву. С тридцать восьмого по сороковой год она занималась оформлением Сельскохозяйственной выставки.

Конечно, это не просто так. Следовало отлучить от выставок бывших авангардистов. Слишком много их пришло в эту область. Кто-то даже исхитрился сохранить верность учителям. В декоре они использовали квадраты и треугольники, знаки принадлежности уничтоженной школе.

Громозова в этом смысле была человек надежный. Казалось бы, ей легко что-то позаимствовать у мужа, но она понимала, что сейчас это не нужно. Поэтому ее решения были не сложные, как у Лепорской или Бориса Эндера, а простые, как рисунки в стенгазете, одобренной директором школы.

Одновременно выходили книги. В те времена не было слова «амбидекстер», но это точно о ней. Правой рукой она рисовала, а левой писала. Был бы жив Матюшин, он бы сказал о третьей жене, как когда-то о второй. Мол, Ольге все равно выражать себя в прозе или через живопись.

Для разминки у нее не было времени. Пришлось опираться на то, что она поняла в бытность женой художника и работником издательства. Теперь ее советы другим следовало предъявить себе.

⁴ Здесь и далее цитируются документы, хранящиеся в фонде О. К. Матюшиной (Громозовой) в рукописном отделе Российской национальной библиотеки (РНБ).

Так появился не просто новый автор, но образцовый советский писатель. Нелзя не подивиться, насколько все у нее правильно. Хоть отправляя эти произведения на Выставку достижений народного хозяйства.

У нее был свой путь, но муж присутствовал в ее мыслях. Соревноваться с ним было невозможно, да и не ко времени, но некоторые его роли она примеряла.

Например, Матюшин был вперёдсмотрящим. Все, кто пошел за ним, стали мастерами. К тому же он создал издательство, и это расширило пространство поисков. А что если стать учителем и редактором? Воспитать учеников и позволить им показать себя?

У Громозовой другой масштаб, и это справедливо. Учителем с большой буквы она уже не станет, а учителем пожалуй. Да и ее подопечные не художники, а младшие школьники. На ее уроках они пробуют себя в письме, а на соседних изучают географию и арифметику.

На что может претендовать журнал, чья известность не выходит за пределы двадцать седьмой школы? Вместе с тем он претендует. Явно напрашивается аналогия с футуристическими книгами.

В том и другом случае ценилась рукотворность. Рисовались не только картинки, но и тексты. В матюшинском издательстве тиражи крохотные, а у журнала их нет вообще. Единственные экземпляры запирались в учительской и выдавались по мере надобности.

На некоторых своих сочинениях Розанов писал: «На праве рукописи». Тут же не «на праве», а просто рукопись. Это было видно во всем. Что нашли в пределах досягаемости, то и использовали. Не посмотрели, что бумага разных сортов и форматов.

Есть еще одно совпадение. Тут уже почти мистика. В том возрасте, когда Громозова занялась творчеством, Матюшин начал делать что-то свое. Для них обоих это был поворотный момент. Жизнь разделилась на то, что было прежде, и то, что началось теперь.

Прежде чем перейти к тому, почему все так повернулось, надо выразить сочувствие. Понятно, что ее подтолкнуло писать и рисовать. По крайней мере, одна из причин была такая.

При муже гости в доме не переводились, а после его ухода стало совсем тихо. Следовало как-то заполнить эту тишину-пустоту. Так что занялась она этим не от полноты впечатлений, а от избытка одиночества.

Громозова и подрастающее поколение

После того как Громозова стала писательницей и художницей, она пошла в школу. Виноваты в этом были второклассницы Наташа и Галина Эндер. Их мама рассказала директору, что автор книг о революции хотела бы преподавать, и он согласился.

Кому еще вести факультатив по литературе, как не начинающему автору? Возраст у Громозовой близкий к пенсионному, а стаж небольшой. Свои первые тексты она написала ненамного раньше, чем ее воспитанники.

Наверное, правильно, что начинающий учит начинающих. В этом случае возникнет столь необходимая доверительная атмосфера.

У этого решения был и тайный мотив. Когда-то Филонов угадал в ней способность к материнству, и теперь это чувство она перенесла на несколько классов.

Главная задача матери — подготовить детей к будущему. Объяснить, какие опасности их ожидают и как их избежать. Она решила на примере журнала научить их умению жить в коллективе.

Проиллюстрируем это так. Представьте детей на демонстрации. Одинаковые костюмчики, пионерские галстуки, светлые макушки... Когда они идут в колонне, каждый становится частью целого.

Теперь понимаете, почему журнал назван не «Школьник», а «Ребята»? Почему в текстах часто слышны обращения: «У меня есть просьба, ребята», «Ребята, вы сделали то, о чем мы говорили в прошлый раз?».

Если научиться совместному творчеству, потом получится совместная жизнь. Пока они вроде как тренируются. Стараются не удариться в ячество и не отвлекаться от главного.

Иногда выходит чересчур. Сложно представить, кто это писал. На детскую речь непохоже, да и взрослые так изъясняются только в газете.

«Журнал наш должен помочь ребятам жить крепким спаянным коллективом, хорошо учиться, развивать свои творческие способности, вырасти честными, правдивыми, мужественными гражданами великого Советского Союза, горячо любить свою социалистическую родину».

Насколько Громозова правила журнальные материалы? Судя по результату, контроль был строгий. Так работали с ней, и было бы странно, если бы она поступала по-другому.

Сейчас, да и всегда, Ольга Константиновна исходила из пословицы про журавля в небе и синицу в руке. Журавль — это нечто неуловимое, растворяющееся в дали. Что касается синицы, то ее будто создали по твоей ладони. Держи крепче, и она никуда не денется.

Громозова не только сама так относилась к воспитанникам, но пыталась этому научить. Объясняла, что понятное лучше туманного, уравновешенное — продиктованного эмоцией. Если следовать этим правилам, то вы точно не пропадете.

За свою жизнь она убедилась в преимуществе «синицы» над «журавлем». Дружья ее юности отменяли поэтические размеры и знаки препинания. Им хотелось преодолеть границы, и каков итог? Количество правил стало не меньше, а больше.

Футуристам уже не поможешь, а новое поколение хорошо бы предостеречь. Большинство ее учеников сделали так, как она просила. Кто-то, может, и хотел написать что-то особенное, но они поняли, что тогда у них не будет пятерки.

В любом самом хорошем коллективе есть кто-то несогласный. Иногда, как в этом случае, даже двое. Как ни старалась Ольга Константиновна, они вели себя так, как считали правильным.

Когда ученики стали грозить, что вызовут в школу родителей, Громозова смирилась. Тем более что мать Наташи и Гали была матюшинкой. Вот уж с кем ей не хотелось обсуждать что можно, а что нельзя.

Опять вспомним колонну на демонстрации. Конечно, это неправильно, но, согласитесь, такое случается. Вот и сейчас все идут в ногу, а двое-трое в ритм не попадают — то торопятся, то отстают.

Наташа, Галя и Кирилл

Начнем с Наташи и Гали. Как уже ясно, особенная семья. Каждому хотелось создать что-то необычное. Не очередную копию, а свой, непохожий, мир.

Настоящий художник не пытается подменить действительность. Старшие Эндеры пошли еще дальше. Они рисовали жизнь красок — их пересечения, союзы и противоборство.

Возможно, абстракция и есть чистая красота. Так восход или закат не нуждаются в конкретизации. Достаточно того, что воздух переливается. Насыщается разными оттенками.

Принадлежать к такой семье — что-то вроде обязательства. Невольно будешь писать не чужими, а своими словами. Да и все остальное будет свое. Не только свой сюжет, но свое пространство и время.

«Давно-давно жил карлик Золотик, — пишет Наташа Эндер. — Он был одет в красненький костюмчик и был очень маленький и злой. У него было много-премного красивых вещей и драгоценных камней, разных переливающихся ракушек, бриллиантов. Он их очень берег, чтобы его вещей никто не взял. А еще больше всего карлик дорожил своей злостью и карликовой важностью. Каждый день он добывал красивые вещи, чтобы еще больше и красивей стали его дворцы».

В этой сказке не только сочиненное. Кое-что взято из самой близкой жизни. Когда карлик стал добрым, он идет на елку. Здесь он встречает Наташину сестру Галю, Нину, еще Нину, Валю, Тамару. Какой без них счастливый финал?

Присутствует тут и «тетя Оля» — Ольга Громозова. Как всегда, она следит за порядком. Вот и сейчас ее участие гарантирует, что дети покажут себя самым лучшим образом.

Наташа — чуть ли не главный автор журнала. По основным предметам в школе она не старалась, а тут была в первых рядах. Пробовала себя в разных жанрах. Когда выбирали того, кто нарисует обложку, все согласились: раз в ее семье все художники, то и кисточки ей в руки!

На обложке первого номера дети собирают яблоки, а рядом стоит человек в длинном пальто. Может, это Пушкин? Недавно Эндеры вместе с футуристами сбрасывали его «с корабля современности», а их наследница утверждает, что поэт с нами везде. Даже пионерский почин без него не обходится.

Так Пушкин стал немного Сталиным. Лучшим другом пионеров. Еще, возможно, Наташе он напоминал Громозову. Девочка уже знает, что одни люди заняты делом, а другие говорят: хорошо бы так, а еще лучше — так!

Есть вещи поважней содержания. Наташа уже чувствует цвет. Правда, ошибается в количестве воды, и картинка расплывается. Зато синий и зеленый выбраны точно. Краски говорят о нежном и хрупком, а значит, о детском.

Теперь обсудим второго несогласного. Кирилл Городков не связан с искусством. Его родителей интересовала жизнь естественная. Так что его будущее просматривалось. Раз мать и отец изучают природу, он тоже должен ей послушать.

Независимости можно научиться, не только занимаясь творчеством, но, к примеру, изучая растения. Больно наглядно они тянутся вверх — и ничто не может им помешать.

Стихи Кирилла в журнале явно вторичные. Остается только угадать предшественников.

Уж не знал ли мальчик о хармсовских «Случаях»? Взрослые тексты обэриутов не печатались, но просачивались. Кто-то давал почитать машинопись, и вовлеченных становилось больше.

Есть объяснение и без питерских абсурдистов. Городковы любили гостей. Соберутся десяток интеллигентов — и начинается! Руководителей государства не вспоминают, но героев школьной программы почему не задеть?

Вот стихи о Ломоносове:

Ломоносов, ломонос! Ты стоишь, задравши нос,
Между колб, и склянок, банок,
И мензурок, и весов.
Ты стоишь здесь, Ломоносов,
Ты стоишь, задравши нос.

А это о композиторе Бородине. Здесь поза героя уже другая.

Бородин, ты Бородин,
Ты сидишь ведь здесь один.
Что же будет, если
Углемедной солью
Подействовать на борную кислоту.

В журнале ничего не знали ни о Хармсе, ни о семье мальчика и сочли это за юмор. Последние страницы многие издания отдают смешному. Впрочем, рубрика не имеет значения. Куда важнее то, что этим детям почти ничто не казалось серьезным.

Возьмите Пушкина на сборе яблок. Поэт так же нелеп, как светоч науки со вздернутым носом. У светоча даже есть преимущество. Он хотя бы не претендует на участие буквально во всем.

Вот такие ребята. Думающие, острые на язык. Интересно, как сложилась их судьба? Досталось всем, но таким, как они, особенно. Думать и понимать их научили, а как одолеть испытания, не успели объяснить.

Испытания

Последний, второй, номер журнала вышел в первые месяцы сорок первого года, а 22 июня началась война.

Наташе и Гале выпала блокада. Тут не выбирали. Это была война не годных к службе, а буквально всех. Если ты остался в городе, то становился мишенью.

Погибали не только от бомб. Всем было трудно, но особенно художникам. Тетка Наташи и Гали Мария помутилась в рассудке и попала в сумасшедший дом.

Вот что удивительно. Не было еды и тепла, а психушки не закрылись. Это было так же странно, как то, что работали парикмахерские. Возможно, только это в блокаду напоминало прошлую жизнь.

Эти больницы существовали не столько для лечения, сколько для того, чтобы пациенты не могли свободно перемещаться. Зачем пугать тех, кому и без того страшно?

За Марией, как и за многими матюшинцами, странности замечали и прежде. Приверженцам реализма особенно досаждали их попытки увидеть невидимое.

Одна картина Марии называется «Растущий плод». На ней изображен процесс умножения. Одну округлость дополняет другая, а другую третья... Сила прибывает, чуть ли не переплескивается через край. Судя по напору, этот избыток предшествуют появлению человека.

Так она ощущала себя недавно, но сейчас все поменялось. Мария была отрезана от мира больницей и блокадой и уже не надеялась ни на что.

Прежняя жизнь допускала одиночество, а теперь она существовала вместе со всеми. Даже то, что когда-то она рисовала, сейчас не имело значения. У всех, кто тут находился, раньше была профессия, но зачем это вспоминать?

Так что к холоду и голоду прибавилось разочарование. Всего этого накопилось столько, что Мария не выдержала. Впрочем, смерть ее положения не изменила. Из общей палаты ее переместили в общую могилу. Родственники об этом узнали тогда, когда все произошло.

Зато Наташа и Галя одолели блокаду и прожили почти до восьмидесяти. Остальное не так оптимистично. Болезнь, сломавшая Марию, обнаружилась и у них. У всех

были замужества и дети, а у близняшек ничего. В промежутке между больницами они клеили коробки и этим зарабатывали.

Обстоятельства сделали их неразлучными. Практически продолжением одна другой. При этом общий для Эндеров ген их не оставил. Обе не расставались с красками и кистями. Дарили свои работы врачам и родственникам. Те, кто рисунки не выбрасывал, скопили их целые чемоданы.

Наташа и Галя вспоминали встречу с Матюшиным. Им было не больше четырех лет, но художник разговаривал с ними на равных. К ним и потом редко кто так относился, так что забыть это было невозможно.

Память избирательна. Можно не вспомнить имя соседки, а об учителе своих родственников говорить так, словно это было вчера. Так же естественно всегда обращаться к любимому автору. Когда-то близняшки пристрастились к Чехову и с тех пор с ним не расставались.

Однажды Галя заболела, температура зашкаливала, к ней приехала «скорая помощь». У врача были усы и борода. Она сразу поняла, что он ей поможет, и сказала:

— Как вы похожи на Чехова.

Зря прохожие показывают на них пальцем. Это только кажется, что можно подуть, и они исчезнут в небесах. На самом деле тут был прочный фундамент. О Чехове и Эндерах-художниках уже было сказано. К ним надо присоединить деда, до революции руководившего работой по уходу за императорскими садами.

Итак, Чехов все время под рукой, а родственники находятся в непосредственной близости. В детстве Наташи и Гали семья занимала одну квартиру. Сперва это был целый этаж, но с каждым годом пространство сжималось.

После войны у близняшек осталась одна комната. Правда, это была комната с историей. Огромные потолки и окна говорили о том, что когда-то тут проводили званные приемы.

В семидесятые дом пошел на капитальный ремонт, и Гале с Наташей дали квартирку в районе проспекта Просвещения. Выбраться в центр стало почти невозможно. Оставалось рисовать навсегда любимые места. Это было все равно что о них вспоминать.

Завершая рассказ о Галине и Наталье, поблагодарим Ольгу Константиновну. Обычно она не позволяла детям вольничать, но тут ее что-то остановило. Благодаря этому девочки смогли выговориться. Потом их судьба складывалась сложно, но сначала была удача.

Кое-что мы знаем о судьбе Кирилла Городкова. Из Ленинграда его семью вывезли на Волгу. Жизнь здесь другая, чем в блокадном городе. Пусть не сытно, но хотя бы тепло. Целыми днями юноша ловил бабочек. Именно тогда ему стало ясно, чем он займется после войны.

Все так и произошло. Институт, аспирантура, защита диссертации... Кончик носа остался на месте, но на лице появилось уверенное выражение. Таков Кирилл на одном фото: сразу видно, что это кандидат, а в будущем, возможно, и доктор.

Умер Городков в 2001 году шестидесяти восьми лет. С тех пор о нем немало написано. Даже Википедия разразилась большой статьей. Впрочем, существует главная о нем память — в названиях многих из открытых им двукрылых спрятана его фамилия.

Можно ничего не знать о том, кто живет рядом. Так до Громозовой вряд ли дошла весть о смерти в блокаду второй дочери Матюшина, Лидии. Зато Борис Эндер, хотя и находился на Алтае, постоянно чувствовал связь с сестрой. После того как Мария умерла, его разговор с ней не прервался.

Борис и тут был учеником Михаила Васильевича. Учитель не только пристрастил его к светлым краскам и чистым формам, но подсказал, как смотреть на мир. Матюшинцы верили, что человек — природное явление. Подобно дню и ночи, снегу и дождю, он не умирает, а переходит в новые состояния.

О смерти сестры Эндер узнал в эвакуации. Родственники ее не провожали, и Борис решил это исправить. На то он и художник, чтобы подчинять пространство, превращать далекое в близкое. Если это удастся на холсте, почему так не сделать в реальности?

Сестра совершила свой путь, а брат с женой свой. В память о ней они «шли с пяти до девяти вечера». Все это время говорили. Обсудили буквально все, и в конце пути он сформулировал вывод: «Я сам скоро отправляюсь, а в оставшиеся годы я должен работать за двоих».

Дальше в дневнике следуют мысли «за двоих»: «Дорогая, я знаю, что ты меня очень любила. Я не знаю, как ты умерла, могла ли ты вспомнить обо мне в последний раз... Я сделаю все, чтобы тебе было хорошо, чтоб ничем не была нарушена твоя красота».

Запись Эндера напоминает матюшинскую, сделанную больше двадцати лет назад. «Лена сказала, — это написано через четыре месяца после ухода Гуро, — что мы с ней неразлучимы уже потому, что жизнь наша... низалась лучами нашей встречи и радостью, найдя общее для нее выражение. Вот почему мы с ней будем все больше и больше работать вместе (соединение в едином). Какая радость».

Вряд ли Борис был допущен к архиву учителя, но, как уже сказано, это школа. Здесь учили не только мастерству, но способности сперва ощутить связь и лишь потом братья за кисть.

Завершим главку работой матери Натальи и Галины Ксении Эндер. Она называется «Печаль желтой девушки». Желтый есть в изображении модели, но больше всего его в фоне. Кажется, вместе с девушкой огорчена сама живопись.

Одного художника спросили, верит ли он в Бога, а он ответил, что верит в искусство. Не только в своих мастеров Филонова и Матюшина, но в возможность говорить с помощью красок. Вот об этом «Печаль желтой девушки». Если художник что-то чувствует, свои эмоции он выражает через цвет.

Это сближало Матюшина и Эндеров. Как и он, они тяготели к абстракции. Когда живопись окончательно освобождается от реальности, она в полной мере становится собой.

К тому же Михаилу Васильевичу было важно, что Эндеры — одна семья. Разве это не природное: каждый сам по себе, но в то же время часть общности. Примерно так деревья растут по отдельности, а вместе образуют лес.

Да и все прочее имеет отношение к органике. Сперва Эндеров было четверо, а потом стало шестеро. Вот уже самые юные, Наташа и Галя, рисуют. Вряд ли им известны теории Матюшина, но они видят картины родственников — и пытаются им следовать.

Как сказано, яблоко от яблони недалеко падает. Мастерства девочкам не хватало, лица и фигуры удавались неважно, но краски были на удивление свежие. Они ложились легко, как дыхание на стекло.

Видение в трамвае

Теперь упомянем параллельную историю. Годы примерно те же, да и жили дочери Матюшина рядом с Громозовой. Наверное, встречались на улице, но вряд ли разговаривали. Отличие жен отца для них заключалось в том, что третья еще хуже второй.

Пусть дочери отделились сами, но без них нельзя представить судьбу Матюшина. Вместе с этим разрывом, в нее входят события конца тридцатых годов. К этому време-

ни художник уже умер, но его биография не завершилась. Она включает в себя то, что произошло после ухода.

Больше всего мы знаем о Марии Михайловне. В тридцать седьмом расстреляли ее мужа Константина. На следующий год в Темниковский лагерь в Мордовии отправилась жена. Дома оставалась дочь Елена пятнадцати лет. Ее избавили от опасного окружения, и ей предстояло жить одной.

Затем девочке выпали война и блокада. Было страшно, холодно и голодно, но она справилась.

Кстати, ее мать тоже все одолела. Обычно освобождали после смерти Сталина, а ее выпустили в сорок шестом. Вряд ли ей позволили жить в Ленинграде, но теперь дочь могла ее навещать.

Да и дальше все было неплохо. Немногие Матюшины прожили так долго. Умерла Мария Михайловна в восемьдесят восьмом. Следовательно, ее судьба началась при Николае Втором, а закончилась при Горбачеве.

Это уже не далекое, а наше с вами прошлое. Почему бы по этому поводу не пофантазировать? Не представить, как Мария Михайловна садится в трамвай. На фото начала века она похожа на всех звезд немого кино сразу, а сейчас ее не узнать. В ее возрасте все носили вязанные шапки и выдавшие виды пальто.

Поначалу колеблешься: она или не она? Затем Матюшина обращается к стоящему впереди пассажиру, и все сомнения отпадают.

Что может быть проще просьбы передать пять копеек, но поднятый вверх подбородок говорил о том, что в ее жизни были другие просьбы и иные времена.

Значит, лагерь не выбил уроков Серебряного века. Не хватает только того, чтобы она сделала книксен. Впрочем, в ее годы уже не кланяются, а улыбаются кончиками губ.

Опять Громозова

У всех свои несчастья. Громозовой тоже досталось по полной. Жизнь под бомбами в блокаду была не менее сложной, чем в Темниковском лагере.

Недавно все это казалось чем-то вроде картинок в учебнике. Как писал Городков в первом номере журнала: «Ребята, почему вы все интересуетесь войной, а химией совсем не интересуетесь? Ведь без химии воевать нельзя. Возьмите, например, бомбу, она начинена химическими веществами». Завершает этот текст предложение помочь разобраться: «Если кому-нибудь что-нибудь непонятно, звоните мне по телефону. Звоните вечером, а то я в школе. Звоните до 8 часов, потому что я ложусь спать... Иногда я не сплю и позднее, но мама заставляет меня ложиться в 8 часов».

Под этим обращением написано: «Февраль 1941 года». Телефон не указан, потому что читатели его знают. Это все его друзья, и он может им пожаловаться. Почему мама относится к нему как к маленькому? Он уже разбирается в оружии, а его укладывают в такую рань.

Теперь все это стало реальностью. Химические вещества явлены не в формулах, а во взрывах. В считанные недели дети повзрослели и почти сравнялись с родителями. По крайней мере, трудности у них одни на всех.

Однажды о бомбе, которая «начинена химическими веществами», Громозова подумала применительно к себе. Когда она вышла в сад, рядом раздался грохот. Снаряд мог разнести в щепки дом на Песочной, но упал невдалеке.

У нее потемнело в глазах. Она решила, что это от ужаса, но зрение не вернулось. Теперь мир был для нее не картиной маслом, а скорее рисунком карандашом.

Казалось бы, теперь у Громозовой не будет ни живописи, ни литературы. Для многих так бы и было, но не для нее. Если у нее возникали проблемы, она не скисала, не устраивала истерики, а начинала действовать.

Как назвать это качество? Наверное, живучесть. Чем сложнее была ситуация, тем Громозова становилась активней. К тому же ей очень помогли новые друзья. Когда она подумала, что литературная жизнь для нее закончилась, эта жизнь закипела рядом. Выйдешь из квартиры в общий коридор и непременно встретишь автора пьес и даже романов.

Однажды это был сам Александр Фадеев. Ольга Константиновна смутилась, но он отнесся к ней по-свойски. Извинился, что курит, и пообещал не затягивать с приемом в Союз писателей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Новые соседи

Как мы помним, отношения Гуро с предметами складывались непросто. Чашка или ключи так и норовили выскользнуть из рук. Сейчас Громозова не стала бы ее за это корить. Если рядом никого не было, любой ее шаг мог закончиться катастрофой.

У Ольги Константиновны и без того хватало проблем, а тут еще слепота. Другой бы впал в отчаяние, но она собралась и попыталась найти выход.

Рисовать уже вряд ли придется, но можно писать. Ведь слова рождаются без участия зрения. Их не видят, а представляют. Другое дело, как это зафиксировать. Если бы у нее была помощница, они бы справились вместе.

Громозова позвонила одному и другому, и райком прислал ей секретаря. Теперь ее работа за письменным столом напоминала производственное совещание. Сперва диктуешь, а затем на слух вносишь поправки.

По «Автобиографии» видно, как Ольга Константиновна об этом говорила. Не отрицала, но старалась не задерживаться. Упомянула о слепоте и сразу переходила к планам на будущее.

«В 1941 году, в дни блокады, я потеряла зрение. — писала она. — Слепая, написала книгу „Песнь о жизни“, вышедшую в издательстве „Молодая гвардия“ в 1946 году. Месяц назад закончила и передала издательству „Молодая гвардия“ новую книгу „В старом доме“».

Как видите, жизнь продолжалась. Обещала закончить одну книгу, а предложила издательству две. Не только справилась с трудностями, но перевыполнила намеченный план.

Очень помогли новые жильцы. Особенно Всеволод Вишневский. Разглядеть его сейчас она не могла, но хорошо помнила фото в газете: морская форма, взгляд прямой, подбородок вздернут... Такой управится с чем угодно — хоть с кораблем, хоть с пьесой, которую надо закончить в срок.

Общая картина и спектакль

Пришло время поговорить о ее соседях. В сорок первом году Вишневскому заказали пьесу для Театра музыкальной комедии, а он пригласил в соавторы поэта Всеволода Азарова и драматурга Александра Крона. Чтобы ничто их не отвлекало от главного, они поселились на Песочной.

Жили они тут без жен, почти как на корабле. Все трое служили на флоте, так что для них это было привычно. Когда их отправляли на задание, они месяцами не видели дома.

Дружат морские лучше сухопутных. Если хочешь поговорить о жизни, обратиться к товарищам по службе. Самые удачные тексты о море были результатом таких встреч.

Посидят за столом двое, много выпьют и так же закусят, и сюжет готов. Остается только его записать.

Вот и на Песочной велись такие разговоры, и из них постепенно рождалась пьеса. Очень хотелось, чтобы благодаря ей в зале стало тепло. Если батареи не греют, то вместо них будут шутки и песни.

Спешили успеть к празднику Октября. Для этого трех драматургов дополнили тремя композиторами. Так быстрее и вроде как с подстраховкой. Если кто-то неожиданно выбывает, его место занимает другой.

Работали едва ли не сутками. Перерывы делали для того, чтобы поспать и подышать папиросой. Еще, конечно, поговорить с соседкой. Пусть она видела море только с пляжа, но ее жизнь не уступает службе на флоте.

Литераторы поколения Вишневского знают только друг друга, а с Громозовой дружили Гуро и Бурлюк. Когда об этом думаешь, прошлое приближается, и ты ощущаешь себя звеном в цепи.

Пьесу быстро поставили и 7 ноября 1942 года сыграли в бывшей Александринке. Это был, как сказали бы в старину, «праздников праздник». Дело тут не только в спектакле, но в театре. Так уж он устроен, что к происходящему на сцене прибавляется краснотой зал.

Три драматурга все сделали правильно. Прежде всего, верно выбрали жанр. За стенами были темные холодные улицы, а герои наперебой веселились, словно все это происходило не в Питере, а в Одессе.

Одессой действительно вдохновлялись. Азаров сетовал на то, что его пригласили не как поэта, а как одессита. Вся дорогу он рассказывал соавторам разные байки.

Среди персонажей было много молодых женщин. Публика сидела в пальто, а на них были ситцевые платья. Пожалуй, эти платья «переигрывали» сюжет. Они вселяли уверенность, что зима не навсегда.

Еще в зале было много военных. Многим из них утром вручили ордена, а к награде прилагался билет в театр. Вечером происходила удивительная перемена. Столько месяцев они были участниками, а вдруг становились зрителями.

На сцене говорили о том, что пережил каждый, но из зала это выглядело иначе. Словно увиденным из другого времени. Когда-нибудь наступит такой день, когда блокада станет легендой. Окажется рядом со «Словом о полку» и «Севастопольскими рассказами».

В этой несложной пьесе была загадка, а также отгадка. Зрители ощущали дуновение еще не наступившей эпохи. Кому-то даже казалось, что война идет на сцене, а за стенами театра продолжается мирная жизнь.

Эта иллюзия — пусть кратковременная! — дорогого стоит. Поэтому банкет, как и спектакль, прошел на одном дыхании. Отсутствие еды и выпивки восполняло обилие тостов. Немного приободрились даже те, кто до этого месяцами не улыбался.

Больше всех радовались соавторы. Как-никак, дошли до финала, выполнили важное задание. К тому же, как сказано, приблизили будущее. Помогли зрителям увидеть себя и свою ситуацию со стороны.

Чуть ли не в эту ночь, поблагодарив Ленинград и Громозову, они вернулись на корабли. Как говорится, пост сдал — пост принял. Отчитайся за командировку и приступай к основным обязанностям.

Продолжение в письмах

Ольга Константиновна не исчезла из жизни Всеволода Витальевича. В Питере они часто разговаривали, а теперь писали друг другу письма.

Дом на Песочной Вишневский часто называет «домиком». В этом слове есть сердечность — и ощущение дистанции. Будто переворачиваешь бинокль, и большое становится маленьким.

Заканчиваются послания приветами — сперва соавторам, а затем Обертышевым. Все эти месяцы драматурги прожили через стенку с этим семейством.

Специально отметим, что Всеволод Витальевич не страдал забывчивостью. Помнил всех, с кем его свела судьба. Если Обертышевы вошли в его жизнь, то они в ней остались.

Глава семейства — участковый милиционер. По службе он контролирует дворников и ищет по чердакам шпионов, а дома стойко терпит вечно бурчащую жену. Впрочем, с соседями они не ссорятся: «Помогаем им чем и как можем, — записал в дневнике Вишневский, — а они в свою очередь помогают нам».

Сердечность Всеволода Витальевича точечная. Сказал что-то хорошее о соседях, признался в любви «домику». Затем тон меняется, и он заканчивает широковещательным: «Обнимаю весь Ленинград».

Разница тут такая, как если бы он сперва сидел за столом, а затем встал и вытянулся по струнке. Слышите, как щелкают каблуки? Кажется, это не частное письмо, в котором слов может быть сколько угодно, а телеграмма, где каждый знак имеет цену.

«Был в „Правде“, беседовал. В ближайшие дни буду на совещании писателей, ученых, академиков, созываемых „Правдой“».

Драматург должен слышать интонацию. У каждого героя она своя. Плохо, если голоса сливаются, но не лучше, когда герой говорит с одним, а имеет в виду другого или всех вместе.

Именно такой контраст в названии «Оптимистической трагедии». Начиная с названия, нам предлагают два варианта. Что-то похожее есть в диалогах ведущих. Через головы зрителей они разговаривают с потомками.

«Первый (рассматривая пришедших на трагедию). Кто это?

Второй. Публика. Наши потомки. Наше будущее, о котором, помнишь, мы то-сковали когда-то на кораблях.

Первый. Интересно посмотреть на осуществившееся будущее. Тут тысячи полторы, и наблюдают за нами... Не видели моряков!

Второй. Молчат. Пришли посмотреть на героические деяния, на героических людей».

Вот и Вишневский был как эти ведущие. Один абзац обращен к Громозовой, а другой куда-то вдаль. В одном случае интонация разговорная, а в другом — по-газетному прямолинейная. Тут уже диалога не может быть. Если что-то утверждается, то так оно и есть.

«Да, правильно еще в 15 году Владимир Ильич Ленин характеризует нашу эпоху: „Прерывистая, скачкообразная, катастрофичная, конфликтная“... все это естественный результат развития крупного производства, — эта тенденция ясно наблюдается веками. Можно добавить: и результат нервного обострения людской психики. Мир

неумолимо и быстро идет к универсализации. Пространства побеждаются. ...Демократическое движение разламывает старые устои, и отсюда бешеный вал реакции...»

Зачем Громозовой эти соображения о том, что пока не названо глобализацией? У нее плохое зрение, деревянный дом с печным отоплением и еще много разных проблем. Скорее всего, Вишневский задумал статью, а пока примеривается, оттачивает формулировки.

Конечно, вариантов не два, а больше. Среди фраз вроде тех, что мы привели, вдруг вырывается: «Я же не профессионал». Это признание говорит о том, что он бывает не только гордым и уверенным, но растерянным и слабым.

Обычно теплота у него отдельно от пафоса, но бывает, что вместе. Вы считаете, что на вершинах власти пустынно и холодно? Так вот там тоже живут люди. О Папанине Вишневский пишет, как об Обертышевых. Восхищается не его подвигом, а вполне мирскими качествами.

Представьте, вроде как объясняет он Громозовой, Папанин — это не только фотография на первой полосе, а веселый добрый человек. Готов во всем составить компанию — особенно если под крепкий чай и хорошую еду.

«Он поставил мне у себя на службе, — пишет Вишневский, — стол со сметаной, творогом, огурцами, яблоками, хлебом и чаем. Все „убрали“. Чудно побеседовали».

Слово «убрали» очень подходит. Особенно после того, как Иван Дмитриевич накрыл «поляну». Вечер получился отличный! Посидели, как где-нибудь в деревне, где огурцы с грядки ценятся больше московских вкусовностей.

О жизни и работе Вишневский пишет в самом письме, а о награждениях в постскриптуме: «Награжден вторым орденом Красного Знамени. Представлен к ордену Отечественной войны первой степени». Для него настали такие времена, когда его отмечают ко всем датам и даже без дат.

Лишь однажды об этом сообщается не за границами основного текста. Дело тут не в самом событии, а в том, кто поставил галочку около фамилии драматурга.

«По линии „Правды“ отмечен орденом Трудового Красного Знамени... Я горд тем, что награждение утверждал сам т. Сталин».

Случается, Вишневского удостоят не орденом, а должностью. Так в сорок шестом году ему вышло назначение главным редактором журнала «Знамя».

В каком-то смысле он вернулся на корабль. В журнале сотрудников не больше, чем матросов на небольшом судне. Как сказано, «куда ж нам плыть?». У него были разные ответы на этот вопрос, и они плохо друг с другом связывались.

Сами посудите — следовало увеличить число читателей, но при этом не лишиться должности. Держать связь со старыми, проверенными авторами — и открывать новых. Все это походило на оксюморон, упомянутое название пьесы. Впрочем, он сам ее написал, а значит, это было ему по силам.

В сорок шестом году журнал был озабочен поисками молодых. Вообще-то, их всегда ищут и редко находят, но сейчас вопрос стоял ребром. Вряд ли Вишневский знал, что готовится постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», но, как видно, что-то предчувствовал. На случай исчезновения кого-то из прежних кумиров нужно было сделать так, чтобы это место не пустовало.

Одной из главных его забот стал поиск поэтессы, которая заменит Ахматову. Подходящий вариант нашелся на удивление быстро, о чем он с радостью сообщает Громозовой: «Раскопал замечательную поэтессу — Галину Николаеву. Она фронтовик... Пишет нам из Нальчика, где находится после фронта. Это божий дар!.. Читали на днях вслух цикл ее стихов: я, Тихонов, Симонов и др. Поздравили ее по телеграфу, напеча-

таем сразу 15—20 ее стихотворений... Это волевая, умная, совершенно самостоятельная, тонкая натура... Условно говоря, „молодая, красноармейская Ахматова“, а может быть, и покрунее».

Николаева была молода, имела фронтовой опыт, и ее ничто не связывало с прежней жизнью. Родилась в деревне, на войне была врачом, а в редкие передышки писала стихи. Творчество для нее началось не со знакомства с известными литераторами, а с контузии, полученной в Сталинграде.

Вроде не подкопаешься. Жизнь героическая, темы животрепещущие. Правда, надежды биографии этих женщины совпали. Обeim было около тридцати, когда расстреляли их мужей.

Так что все непросто. Казалось бы, и моложе, и идеологически выдержанней, но, присмотревшись, видишь изъян. Хорошо, Николаева об этом не распространялась. К тому же незадолго перед арестом они развелись, что отчасти снимает с нее ответственность.

Кстати, Ахматова тоже развелась с Гумилевым, но до конца дней называла его мужем, а себя считала вдовой.

Впрочем, мы сейчас о другом. В сорок пятом «Знамя» напечатало стихи и прозу Николаевой, а в августе сорок шестого вышло постановление. Так что все произошло вовремя. К тому моменту, когда началась травля поэтессы, ее конкурентка уже завила о себе.

Вот ведь какие перемены. В феврале просишь «многоуважаемую Анну Андреевну» дать подборку для журнала, а через полгода она становится «гражданкой Ахматовой». Он явно намекал на то, что так с ней будут разговаривать в тюрьме.

Наверное, что-то такое Всеволод Витальевич говорил на людях, но впервые это было сказано наедине с собой. Впрочем, как мы убедились, он путал личное и общественное. Вот и сейчас делал запись в дневнике, но обращался к «городу и миру».

Ахматову Вишневский упоминает заодно. В контексте бурно кипящей литературной жизни. Представьте рядовое писательское собрание. Что-то говорится с трибун, но больше в перерывах в курилке. Здесь он услышал новость и коротко ее записал:

«Очень много совещаний... Вчера общемосковское собрание писателей. Слух о том, что гр. Ахматова застрелилась».

Как видно, всех перебрали и наконец дошли до ленинградских коллег. Вы не слышали, что сделала Ахматова? Взяла пистолет, доставшийся ей от Гумилева, и выстрелила в висок.

Важнее всего в этой записи тон. Эта новость не заставила Вишневского вздрогнуть. Что и говорить, Обертышевым повезло больше. Шли годы, а его отношение к ним оставалось столь же сердечным.

Как писал пародист Архангельский: «Все изменилось под нашим зодиаком, но Пастернак остался Пастернаком». Ахматова тоже осталась Ахматовой, а Николаева Николаевой. Как-то забылось, что ее прочили на место первой поэтессы. Да и поводов для этого не было. Вместо того чтобы развить успех, она перешла на прозу.

Судя по письму Грозозовой, такой финал был предreshен. Редактор «Знамени» предрекает Николаевой победу, но картину рисует негармоничную.

Особенно удивляет это место. Написано, что у «красноармейской Ахматовой» есть «божий дар». Странная, согласитесь, арифметическая операция. «Красноармейская» плюс Ахматова плюс давно никем не вспоминаемый «божий дар».

Тарасенков

Матюшин не позволял ученикам ничего рисовать отдельно. Только вместе с фоном и другими фигурами. Это была забота не только о композиции, но о картине мира, в которой все связано со всем.

Вот и Вишневского лучше понимаешь, когда рядом с ним его заместитель по журналу Анатолий Тарасенков⁵. Больно многое их связывает и различает.

Служба во флоте и работа в литературе научили Вишневского многое пропускать. Иногда и надо поспорить, но лучше сделать вид, что не расслышал. Если Матюшина нельзя называть, то он даже в письмах не нарушал запрета.

Отдадим должное его выдержке. Это тоже капитанское. Он давно живет сухопутной жизнью, но не научился читать сигналы. Рука вверх значит одно, а вниз другое. Чтобы верно ориентироваться, надо внимательно следить за флажками.

Кстати, в книгах Громозовой мужа практически нет. Конечно, догадаться несложно. Если на обложке написано «Матюшина», остается единственный вариант.

Предположим, читатель разгадал эту загадку и хочет знать больше. Ольга Константиновна рассказывает, что ее муж преподавал в академии и у него было много учеников. Вот, пожалуй, и все. О том, что их связывало и как они жили, не сказано ничего.

Таковы требования, и Громозова им следует. В этом смысле ее положение такое же, как у редактора «Знамени».

Едва ситуация начинает меняться, появляется решительный тон. С той же непреклонностью, с которой он произносил «отдать швартовы», Всеволод Витальевич говорит о рукописи Матюшина: «Теперь время для нее. Ставьте вопрос перед издательствами».

Так Вишневский лавировал между категоричностью и уступчивостью. В этом смысле Тарасенков был другой человек. Хотя он тоже служил на флоте, но выполнял приказы без удовольствия. Даже изобразить, что ему это нетрудно, у него не всегда получалось.

Если нельзя жить по-своему, можно чередовать исполнение с нарушением. Бывало, Тарасенков выполнит задание и сразу сделает наоборот. Порой даже сидел он не как человек при должности, а так, как ему хотелось.

Когда к нему в кабинет заходили авторы или коллеги по журналу, он со стула пересаживался на стол. Расположится среди рукописей, да еще болтает ногами. Наверное, так он делал тогда, когда был маленьким, и эта привычка закрепилась.

Не представить в этой мизансцене Вишневского. Как редактор он отвечал за содержание, а как офицер — за форму. Спина должна быть прямой, рукопожатие твердым, речь лаконичной... Всеволод Витальевич и был таким. Когда после «Оптимистической» выходил на аплодисменты, его принимали за героя пьесы.

Может, дело в том, что гражданский дух из Тарасенкова не выветрился? Его другу и начальнику это создавало много проблем. Да и не только ему. От советского критика ожидаешь цельности, а тут сплошные метания. Сегодня он восхищается, а завтра ругает почем свет.

Сложно быть критиком — и искренним ценителем. Больно разные тут требования. Критику следует быть на страже, а ценитель должен просто любить. Заранее прощать все предмету своих чувств.

⁵ Первой о А. К. Тарасенкове написала Наталья Громова в кн.: Громова Н. Распад: Судьба советского критика, 40—50-е годы. М., 2009.

Как примирить эти противоречия? Тарасенков доводил рукописи до печати, но не обольщался. Если где-то существует идеальное «Знамя» — так, как видно, думал он про себя, — там все это отправляют в корзину.

Вишневскому на него жаловались. Да и он и сам был не слепой. Уж очень неостановчивое поведение. Так сказать, «разговорчики в строю». Постоянно хотелось спросить: почему тебе позволено то, что другим запрещено?

Взять, к примеру, его, Вишневского. Храбрец, пулеметчик, а в мирной жизни человек опасливый. Даже телефону не доверял. Видно, ему мерещилось присутствие кого-то третьего. Поэтому он подстраховывался дважды. Сам писал записку сотруднику и сам относил в соседний кабинет.

Были и другие столь же удивительные реакции. В одной рукописи Всеволод Витальевич подчеркнул выражение «картошка в мундире». Как оказалось, в нем заговорил морской офицер. Так он вступался за честь мундира, которому не место рядом с какой-то картошкой.

Если Вишневский терпел Тарасенкова, то только из-за их общего прошлого. Во время таллинского перехода его будущий заместитель едва не утонул. Когда пришел в себя, отказался от лазарета и вернулся к месту службы.

Как уволить такого человека? Всеволод Витальевич колебался, сто раз отмерял, но все же решил отрезать. Не очень понятно, что стало поводом. Возможно, тут не конкретная причина, а сумма ощущений.

Об этом Вишневский пишет Громозовой в той же хорошо нам знакомой манере. Вытянул спину, щелкнул каблуками и отпарентовал: «Расстался с Тарасенковым. Чем дальше, тем больше он вел куда-то в сторону, капризничал, упрямялся. Сполз в эстетизм. Писал хвалы Пастернаку и пр. Это все для „Знамени“ не годится. Я крепко с ним поругался и из редакции убрал».

Так и выглядят вердикты. Короткие фразы, формулировки соответствующие. Не «ушел», а «сполз», не «уволил», а «убрал». Кроме тона и некоторых слов, здесь все правильно. Невозможно делать то, что тебе полагается, и в то же время оставаться собой.

Оказавшись без должности, Анатолий Кузьмич попробовал преодолеть раздвоенность. Новое его занятие было поистине утешительным. Оно позволяло целые дни проводить дома за чтением хороших поэтов.

Выход назывался: «библиографический указатель». Дело в том, что Тарасенков собрал лучшую в Москве библиотеку поэзии начала века и решил ее описать.

В тридцатые—сороковые годы книги исчезали быстрее, чем люди. Их отправляли в особые хранилища, и это было безнадежней, чем ссылка. Указателю надлежало пусть не вернуть книгу читателю, но хотя бы сказать, что она была.

Теперь ни один автор не затеряется во времени. Вот они где, под одной обложкой. Тот, кто займется этой эпохой, непременно обратится к его труду.

Информации в указателе чуть больше, чем на надгробном памятнике. Кроме имени, фамилии и лет жизни, названы книги, которыми автор пополнил историю Серебряного века.

Вот она, «эврика»! Есть ли что-то важнее того, что мандельштамовский «Камень» вышел в тринадцатом году? Фамилия поэта и название сборника такая же непреложность, как имя города, где он увидел свет.

Следовало не только уточнить место, год и издательство, но создать лучшие условия для авторов книги. Весь ситец в доме уходил на переплеты. Жена рассчитывала сшить платье, а Анатолий Кузьмич одевал Волошина и Гумилева.

Всю жизнь Тарасенков оценивал, но, оказывается, это можно сделать без слов. Представьте, что замерзшему человеку предложили шарф и пальто. Это происходило с книгами, когда у них появлялись новые переплеты.

Остается сказать о финалах жизни главного редактора и его бывшего заместителя.

Если бы Вишневский был не так осторожен, мы бы знали о нем больше. Хорошо, в письмах промелькнуло одно-два правдивых слова. Пусть это немного, но все же больше, чем ничего.

«Приятно, когда видишь перед собой тридцатилетнего б. офицера, сталинградца, б. киевского архитектора Виктора Некрасова... — писал Всеволод Витальевич Громозовой. — Он принес роман о Сталинграде... Это вещь ясная, крепкая, сильная, очень честная... Вероятно, роман пройдет боевиком».

Раз Некрасов честен, значит, остальные выдают желаемое за действительное. Это написал человек, регулирующий поток рукописей! Он вроде как согласился с тем, что неправильно жил.

Видно, сомнения одолевало и начальство. Посмотришь в оглавление, а там все то же. Есть Казакевич и Виктор Некрасов, а о Ленине почти ничего. Кстати, это говорили не чужие редактору люди. Сейчас они его обвиняли, а раньше не раз бывали у него в гостях.

Не удалось Всеволоду Витальевичу решить упомянутую «квадратуру круга». Читатели у «Знамени» появились, а должности он лишился. С этих пор судьбы двух однополчан уравнились. Больше не существовало ни «главного», ни «второстепенного». Даже умерли они в близкие сроки — оба ушли непозволительно рано.

Утешаешься тем, что время было сложное. Поэтому сердце болело у всех. Вишневский пережил подряд два инсульта. Несколько десятилетий он недоговаривал, а сейчас совсем замолчал. На его потерявшем подвижность лице застыло мрачное выражение.

Тарасенков тоже болел, но надеялся выкарабкаться. Приходил в себя в санатории. Он бы вышел из него заметно окрепшим, если бы не двадцатый съезд. Никто не знал, какие на нем будут сделаны выводы, но что-то тревожное витало в воздухе. Было ясно, что это коснется не кого-то в отдельности, но буквально всех.

В ночь перед открытием Анатолию Кузьмичу не спалось, в голову лезли мрачные мысли, и сердце не выдержало.

Говорят, у организма есть защитная функция. Может, Анатолий Кузьмич так себя уберег? Куда хуже было тем, кто пережил следующий день, а потом долго жил с этим знанием.

Последнюю работу Тарасенков не опубликовал. Больно непривычным в те времена было отсутствие выводов. Умер он автором, чья книга залегла в письменный стол. Так вечный критик, то умный и справедливый, то злой и пристрастный, оказался рядом с Цветаевой и Мандельштамом.

Через десять лет указатель вышел. Те, кто знал составителя, удивлялись перемене. Много лет он раздавал оценки, одобрял и клеймил, а тут позиция отсутствовала. Если, конечно, не считать констатации, что это было — и есть.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЗА ПИСАТЕЛЬ БЫЛА ГРОМОЗОВА

Блокадный дневник

Количеством Ольга Константиновна превзошла Елену Гуро. Если все произведение Елены Генриховны составят одну, не самую толстую, книгу, то она выпустила их с десяток.

Начнем с ее первого большого текста, написанного в блокаду. В это время многие горожане писали дневники. Ими руководило ощущение важности исторического момента и желание не исчезнуть совсем, оставить после себя след.

Этот дневник не сравнить ни с каким другим. Казалось бы, война отменила прежние формы жизни, но для Громозовой ничего не изменилось. Как всегда, задач у нее было две. Следовало заинтересовать читателя и при этом не расстроить редактора.

Какой в умирающем городе читатель, а тем более редактор? Хотя ответ очевиден, Громозова все делала так, словно готовила публикацию. Даже предупреждала возможное недовольство. Писала от лица некоей Евгении Михайловны. Если понадобится, свои ошибки можно будет списать на нее.

Присутствие двойника похоже на признание. Всю жизнь Ольга Константиновна раздваивалась. Вот и в ее книге есть эта сложность. Трудно понять, это ее героиня или она сама.

Все выглядело бы привлекательней, если бы она озаботилась температурой слова. При тридцати четырех и двух человека посещает сонливость, а фраза становится негибкой, как солдатский ремень. Постоянно встречаются обороты, которые более уместны были бы в официальной бумаге.

Вот ее запись, сделанная в начале блокады. Пока не очень голодно и холодно, но уже понятно, что дальше будет только хуже. Количество смертей пойдет не на сотни, а на тысячи.

«Декрет правительства о всеобщей трудовой повинности мобилизовал большинство женщин на окопную работу. Дети остались одни. Они важно ходили, позвякивая ключом от комнаты, повешенным им матерями на шею. Скоро они поняли, что надзора за ними нет, и они могут делать все, что хотят.

— Аля, пойдем купаться, — обратилась к бледной белокурой девочке черненькая Регина.

— А где мы будем купаться?

— Как где? В квартире нет никого. Мы напустим в ванну воды и выкупаемся.

Живая Регина подговорила еще рыженькую Лиду, и они втроем направились домой.

В коммунальной квартире днем никого не оставалось. Все были заняты на работе. Девочки, напустив воды, залезали в ванную. Прыгали, плавали, ныряли в холодной воде. Больше часа ребята сидели в ванне. Болезненная Аля посинела от холода и, стуча зубами, попросилась домой.

Регина и Лида отделались насморками. Аля схватила воспаление легких и через несколько дней умерла в больнице».

Громозова считает, что все беды от излишней самостоятельности. Если бы Аля слушалась взрослых, она бы и сейчас сидела за партой и пять раз за урок тянула руку. Особенно удивляет спокойный тон. Такой холодок чувствовался в записи Вишневского об Ахматовой.

Только два слова выдают ее страх. Вместо «Регина была живчиком» Ольга Константиновна написала: «живая Регина». Так она проговорила, что все могло закончиться хуже, но, к счастью, обошлось.

Прозу, как и живопись, определяют пропорции. Запись говорит о непослушании, а тому, чем все закончилось, посвящено одно предложение. В текстах о жизни «в революционном развитии» такие моменты принято пропускать. Когда это не удается, ограничиваются констатацией.

Кроме закона социалистического реализма, Громозова руководствовалась уставом партии. Он столь многое определяет в жизни, а потому не мог не отразиться в искус-

стве. Возьмем принцип демократического централизма. Кто-то считает, что это союз острого и холодного, но вот вам пример его способности организовывать, пронизывать и влиять.

Партийная организация и партийная литература

Как все изменилось со времен Гуро! Громозова по-прежнему считает ее подругой, близким человеком, но думает совсем иначе.

Из любого текста Елены Генриховны следует, что в мире не существует неравенства. Дерево не важнее травы, человек не главнее сородича. Все, что есть на свете, являет собой части целого.

Если для Гуро иерархия отменяется, а большое равно малому, то у Громозовой все наоборот. Окружающая жизнь напоминает хорошо отлаженный механизм.

Вот Ленин куда-то спешит, но на полминуты остановился. На ходу что-то сказал, и от этих слов, как от приводного ремня, началось движение. Бумага появилась, извозчики предлагали помощь, а книги распространялись по всей стране.

«Вижу, как дверь, у которой толпились, распахнулась, и оттуда в пальто, в кепке быстро вышел Ленин... Товарищи плотно его окружили. Каждый спрашивает что-то. Конечно, им же трудно ориентироваться сразу на такой сложной работе!.. Бонч тоже продвинулся вперед, слушает.

Ленин сначала отвечал, а потом протиснулся к выходу и громко так сказал:

— Работать надо, товарищи, работать!

Все постепенно разошлись. Бонч-Бруевич подошел к столу, где лежал его портфель, увидел меня. Вижу, что Владимир Дмитриевич спешит, волнуется. Он торопливо написал денежные документы.

— Что у вас? Как идет работа?

Я ему сейчас же свои жалобы: бумаги нет, ломовых извозчиков нанять невозможно, на почте не принимают посылки, и вообще кругом саботаж.

А он посмотрел на меня и вдруг не своим, а ленинским голосом сказал:

— Впервые строим социалистическое государство. Готовых рецептов у нас нет. Инициативы надо побольше, изобретательности. Работать надо, Ольга Константиновна, работать!

Он схватил свой портфель и исчез».

Для пущей убедительности Бонч заручается поддержкой начальства и говорит «ленинским голосом». Затем опять повторяет вождя, но в обратном направлении. Выходит столь же быстро, как тот появился.

Интересно, воспроизвел ли Владимир Дмитриевич картавость? Еще сложнее оказалось Громозовой. Если она соединила голоса ленинский, Бонча и собственный, то имело ли тут место грассирование? Если нет, то что тут было ленинского?

Дело не в узнаваемых интонациях, а в напоре и значительности. Для примера вспомним памятники Ленину. Когда мы протягиваем руку, это означает: «вам туда», — и совсем иначе это выглядит у человека на постаменте.

Бонч и Громозова почувствовали себя в роли. Неизвестно, куда в этом состоянии двинулся Владимир Дмитриевич, а Ольга Константиновна пришла в издательство.

«Сотрудники окружили меня:

— Что сказал Бонч?..

— Как надо поступить?..

— Что сделать?..

А я смотрю на них строго и кричу:

— Мы же первые строим социалистическое государство! Готовых рецептов нет. Работать надо, товарищи, работать! Побольше инициативы, изобретательности».

Это и есть «ручное управление». Чтобы работа сдвинулась с места, один должен накричать на другого, а другой на третьего. Когда они по очереди выпучат глаза и замашут руками, все сразу получится.

Ольга сама удивляется, как несложно это устроено. «И что вы думаете? — пишет она. — Работа пошла куда лучше».

Принцип демократического централизма имеет отношение и к частной жизни. Если существует вертикаль, которая все связывает, то есть и вершина. Тут для Громозовой все однозначно.

Ее знакомство с Лениным было шапочным, но более частых встреч она бы не выдержала. Иногда на лестнице или в коридоре Смольного они обменивались парой фраз. Казалось бы, ничего не случилось, но у нее уже горели щеки и туманился взгляд.

Когда по своим делам вождь стал заходить в издательство, они стали видеться чаще. Впрочем, последовательность не менялась. Он что-то говорил, а у нее перехватывало горло. С Хлебниковым или Маяковским она спорила, а тут превращалась в соляной столб.

Владимир Ильич писал «необыкновенно быстро и очень сосредоточенно. Иногда принесешь ему стакан чая, поставишь на стол, а он даже головы не поднимет, все пишет. И если заговоришь с ним, в такие минуты он даже не услышит».

Что тут скажешь? Великий человек! Остается смотреть и восхищаться. «Бывало, связываешь готовую библиотечку для какого-нибудь рабочего кружка, — продолжает Громозова, — подойдет Владимир Ильич, брошюрку за брошюрой переберет. Если все правильно подобрано, — похвалит, улыбнется. Какая хорошая у него улыбка!»

Библиотечки собирались в соответствии с рекомендациями, но вождь не ленится перепроверить. Хоть и не царское это дело, он должен убедиться, что у авторов одна позиция. Примерно такая, как у него.

Есть еще примеры, но, пожалуй, достаточно. Столько лет прожить с Матюшиным — и все же согласиться на все серое! Серый, невыразительный стиль. Серые, неинтересные мысли. Впрочем, прежде всего, изменилось время. Теперь ценилась не эффективность, а блеклость, не отличие, а сходство.

Товарищи ее юности еще сопротивлялись или пытались совмещать одно с другим, а она сразу сдалась врагу. Каждым текстом подтверждала то, что написано на первой странице «Смерти Вазир-Мухтара»: «На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой». Переправим один век на другой, прибавим лет пять и увидим ситуацию ее поколения.

Действительно, вместе с сутью изменилась внешность жизни. К походке, о которой сказал Тынянов, можно прибавить одежду. Вспомнить, как Мандельштам предупреждал своего приятеля: «Не носите эту шляпу, нельзя выделяться, это плохо кончится».

В этой ситуации вариантов немного. Впрочем, для тех, кто ушел в тень, и для тех, кто вписался в поворот, правила одни. Никто не подпрыгивал при ходьбе, а тот, кто прежде носил желтую кофту, сменил ее на френч. Покрой вроде похож, но смысл другой.

Как сказано, кто-то сопротивлялся, но для Громозовой не было выбора. Об этом говорят приведенные цитаты. Ее фраза — а что это такое, как не внешность текста? — исключала оригинальность. Не улыбалась, не печалилась, не говорила ничего неожиданного. Короче, не имела лица.

После войны Ольга Константиновна смогла убедиться в правильности своей позиции. В сорок шестом году то, что писалось как дневник, без особых проблем увидело свет. Теперь это была повесть «Песнь о жизни».

Если сравнить дневник с публикацией, то сразу видно, что редактуры почти не было. Прибавились запятые и тире, но текст остался без изменений. Так что зря Ольга Константиновна нервничала. Все, о чем ее могли попросить, она сделала заранее.

Если бы все авторы были такие, как бы это радовало издательства! Напишешь что-то лишнее и сам это вычеркиваешь. Не ждешь, когда редактор скажет как-нибудь так: «Что ж, вы, мил человек! Это вам не „Жизнь и знание“, сейчас все стало намного строже».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Странные сближенья»

Нам придется вернуться далеко назад. Ведь это знакомство связывает много десятилетий и образует своего рода сюжет.

Впрочем, все это вы уже знаете. Когда Громозова служила в книжной лавке, с ней познакомился один покупатель. Нет, ничего личного. Интерес был скорее научный. Посетителя интересовали человеческие типы — как сами по себе, так и в разных сочетаниях.

Лет им было одинаково, но они называли друг друга по имени-отчеству. Держали дистанцию. Если Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (а это был он) покидал Питер, дистанция увеличивалась и исследование продолжалось в форме переписки.

Вот какие последствия имела его фраза: «У вас есть последняя книга Горького?» — и ее ответ: «Книги нет, но он сам только что заходил».

Сложно сказать, что к его опытам прибавила Громозова, но ее в нем привлекало любопытство. Не зря Бонч любил путешествовать. Однажды его занесло на другую сторону земного шара — когда духоборы переезжали в Америку, он к ним присоединился.

В его проектах была не только практическая задача, но высший смысл. Ему хотелось понять, что происходит при умножении одного на множество. Вариантов тут сколько угодно — от муравья в муравейнике до нас с вами в разного рода коллективах.

Института Бонч не окончил. Ему хотелось не только учиться, но самому делать выводы. Ведь студенчество — это тоже сообщество. Жаль, заняться этой темой не удалось. Постоянно что-то отвлекало: сперва он распространял нелегальщину, а потом за это сидел в тюрьме.

От духоборов и студентов Владимир Дмитриевич перешел к истории партии. Все это были варианты секты. Да и методы изучения были схожи. Он начинал с «полевого исследования» — искал единомышленников, принимал решения. Когда видел, что материала хватает, писал статью или книгу.

На главные роли не претендовал. Это значило бы сузить кругозор. Ученый должен видеть ситуацию не в какой-то ее части, а целиком. Все же главным для себя он считал не карьеру, а погружение вглубь.

Так возникла своего рода коллекция. Кто-то собирает марки и прочую мелочовку, а Бонч разного рода сведения. Кроме итогов научных штудий, он записывал фамилии и адреса. Первое имело отношение к текущим задачам, а второе хранилось впрок. Кто знает, что и когда пригодится.

Мы уже говорили, как очередь дошла до Громозовой. Возглавив «Жизнь и знание», Бонч поставил ее на «хозяйство». Через пару месяцев ей поручали не только продажи, но подготовку книг.

Самым насыщенным оказалось время после революции. В общем-то, для того она и делалась. Он стал управляющим делами Совета Народных Комиссаров, а ей доверили что-то похожее в масштабах Питера. Теперь она ведала книжными складами и библиотеками домов отдыха.

Вскоре мы продолжим с этого места, а пока немного уйдем в сторону. Нельзя же все время говорить об одном. Иногда автору и читателю следует переключаться: посмотреть в окно или выпить чайку.

Много лет подруги не пересекались, а вдруг встретились. Произошло это лет через десять после смерти Елены Генриховны. О Гуро мы не можем ничего знать, а Громова подумала о бумеранге. Вот он растворяется вдали, а затем летит обратно.

Если к домам отдыха сейчас имела отношение Ольга Константиновна, то в те времена, когда они назывались санаториями, тут отметилась Гуро. В том и другом случае участие жен Матюшина связано с распространением книг.

«Шарманка» вышла в шестом году. Автору она принесла одни слезы. Не купили ни одного экземпляра. Тогда Гуро по-своему распорядилась тиражом. Как сказано: «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе».

Всякий текст — своего рода письмо. Главное — отправить его по верному адресу. Ей представилось, как отдыхающие смотрят на залив, слушают, как «тихо гнутся оголенные березы», и об этом читают в книге.

Елена Генриховна разослала «Шарманку» по санаториям. Мол, если вам не помогли процедуры, попробуйте эти рассказы. Ощутите их ритм и постарайтесь ему следовать. Может, научитесь жить подробнее? Быть внимательней к переменам внутри и вокруг.

К середине двадцатых годов количество этих книг в библиотеках уменьшилось. Кое-что умыкнули, что-то развеяло революционными ветрами. Впрочем, того, что осталось, оказалось достаточно для встречи.

Представляешь, как на правах начальницы Громова спрашивает: «А что у нас с дореволюционными изданиями?», а ей отвечают, что все изъяли и оставили только Гуро. Все же на всех экземплярах она расписалась. Да и написано хорошо. Весной нам всегда вспоминается, как «расцвели под окошком пушистые одуванчики».

Бонч-Бруевич до и после войны

После этой истории, которая должна вам заменить глоток чая, вернемся к нашему рассказу. Казалось бы, Бонч достиг всего. Осталось дожидаться старости и уйти на покой. В другую эпоху так бы и было, но сейчас все постоянно менялось. Вчера он заседал в Кремле, а сегодня месил грязь в резиновых сапогах.

Арест был бы куда понятнее, но случилось нечто куда более нетривиальное. В конце двадцатых его назначили директором подмосковного колхоза «Лесная поляна».

Такова участь солдата партии. Куда тебя посылают, туда ты и направляешься. Единственное, что может быть полезно тебе лично, это то, что ты утверждаешься в своих теориях. Воочию видишь, что компактные поселения существуют так же, как секта и партия.

На глобальные темы Бонч размышлял в свободное время, а в основном работа была практическая. Возглавляемый им колхоз поставлял продукты членам правительства.

Понятно, когда отвечать «за кухню» поручают чревоугоднику, но новый директор был безразличен к еде. Что-то перехватит по дороге и целый день сыт. Правда, при чем тут он? Его исследования подтверждали, что победа обычно достается коллективу. Отдельный человек, не исключая его самого, вряд ли чего-то добьется.

Эта деятельность сильно его изменила. Внешне Бонч не отличался от местных жителей: лицо загорело, борода выросла еще больше. Так что в эту роль он вжился до конца.

Вряд ли ему досаждала эта чересполосица. Как говорилось, его отличала склонность к переменам. В любом повороте он находил что-то для себя привлекательное.

Всякое полученное им задание Бонч считал очередным «делом» Совета Народных Комиссаров. Недавно он ведал всеми «делами», а сейчас ему предлагали работу на конкретных участках.

То, как Владимир Дмитриевич справился со своей задачей, не прошло мимо тех, от кого зависели его перемещения по карьерной лестнице. Было решено, что достаточно ему ходить в резиновых сапогах. После этого испытания у него есть право на кабинет в Москве и письменный стол, заваленный книгами и бумагами.

В тридцать третьем году Бонч вернулся в Москву. Здесь ему поручили создать первый в стране Литературный музей.

О том, что такое музей, он понял не сразу. Когда разобрался, буквально воспарил. Помимо текущих дел, тут были такие проблемы, которые напрямую связаны с будущим.

Известно, что будущее — понятие растяжимое. Чеховский герой говорил про «сто-двести лет». Впрочем, дело не в том, когда это может случиться. Главное — знать, что про тебя скажут: «Владимир Дмитриевич из тех немногих, кто не разбрасывает, а собирает».

Бонч и литература будущего

Как выяснилось, музей тоже может стать площадкой опытов. Правда, музейщики больше похожи не на партийцев, а на сектантов. Обычно это тихие малоразговорчивые женщины. Жизнь среди экспонатов им привычней пребывания в людных местах.

В колхозе Бонча окружали немеренные просторы, а здесь были теснота и притушенный свет.

Рукописи хранились в тяжелых многоэтажных шкафах. Чтобы какую-то из них получить, надо заполнить специальную бумагу. Порой вместо оригинала предлагают микрофильм.

Среди героев архива есть избранные и парии. Вот Лев Толстой написал на листочке: «Буду в шесть». Этот миг его жизни помещен в папку и будет тут храниться всегда. К париям пиетета нет. Особое недоверие вызывают те, кто, по словам Горького, принадлежал к «самому позорному десятилетию русской интеллигенции».

Казалось бы, так и надо продолжать. Классиков вроде Толстого привечаешь, а к авторам Серебряного века относишься избирательно. Когда видишь, что их тексты не опубликованы, разводишь руками. Мол, музей — учреждение государственное, и мы не можем покупать черновики.

Надо сказать, Бонч всегда делал то, что предписано его должностями. В этом смысле его деятельность в Кремле не очень отличалась от работы в коровниках.

За это Владимир Дмитриевич был на хорошем счету. Ни разу не подвел. Уж как далека от него была жизнь в колхозе, он и тут справился, не ударил лицом в грязь.

Тем удивительней, что сейчас он поступил не как положено, а так, как считал нужным. Если бы его планы раскрылись, не быть бы ему больше начальником. Уберегло его только то, что замысел был далеко идущий. Что все это значило, стало ясно только после его ухода.

Рукописи рубежа веков считались недостойными фондов, а он начал их собирать. Прежде всего его интересовало то, что не издано и было отвергнуто цензурой.

Так возникал контур еще одной литературы. Чем виднее становилась подводная часть айсберга, тем больше было понятно о той, что вышла на поверхность.

Не вспоминалась ли Бончу знакомая ему жизнь сектантов? Чем отдел рукописей уступает схрону в лесу? Известность среди единоверцев знанию двух-трех сотрудников?

Конечно, у Владимира Дмитриевича была ясная цель. Он руководствовался уверенностью, что пройдет время, и последние станут первыми.

Как видно, он представлял себе это так, как это случилось уже на нашей памяти. Однажды дверцы шкафов радостно распахнулись, и в золотые кладовые музея пришли издатели. Того, что они тут нашли, хватило сперва лет на тридцать, а затем навсегда.

Скрытое и явное

Одной из тех, кого Бонч взял под защиту, была Елена Гуро. О ней давно не вспоминали, и он обязан был проявить внимание. Через много лет начнут искать ее тексты и с удивлением обнаружат, что ничего не пропало. Могло оказаться в печке или на помойке, но он вовремя вмешался.

Сперва надо было текстами обзавестись. Для этого следовало возобновить переписку со старой знакомой. Когда между ними опять завяжется разговор, он поинтересуется: не хотела бы она расстаться с рукописями?

Вскоре общение возобновилось. Как и прежде, обсуждали не только здоровье и погоду, но нечто большее. Пару раз едва не поссорились. Уж очень по-разному они думали. Громозова в своих взглядах была категорична, а Бонч настаивал на золотой середине.

Как мы помним, Гуро не интересовал читатель, а Ольга Константиновна считала законченным только опубликованное. Признавая правоту обеих позиций, Владимир Дмитриевич предлагал их объединить. Писать то, что хочется, а печатать то, что возможно.

«Вам надо писать и писать, — обращался к ней Бонч-Бруевич, — писать всю, дав полную волю и сознательному, и подсознательному, писать так, как хочется, писать всю правду жизни, которую вы пережили во время блокады». Затем следует объяснение, как лучше соединить необходимость зарабатывать и стремление к правде. «Имейте хоть один экземпляр рукописи (а лучше два) совершенно полный, Ваш экземпляр, без всякого вмешательства редакторов, горлитов и прочих современных цензоров».

Словом, Бонч советовал иметь в виду два адреса. Пусть вашу рукопись искорежит редактор, вам не следует расстраиваться. Ведь полный вариант сохранится в архиве и когда-нибудь будет опубликован.

Теперь Бонч и жил так. Соединял несоединимое. Был директором музея и имел отдельную точку зрения. Даже способствовал тому, что начальство никак не могло поддержать.

Пока власти не очень вникали, его план осуществлялся. Помешали личные обстоятельства. Правда, что значит личные? Если расстреляли зятя, а дочке дали семь лет тюрьмы, то это факт не только твоей биографии.

Ко всему прочему прибавились проблемы здоровья. Коллегам на это не пожалуешься, но от Громозовой у него нет секретов. Все же сорок лет знакомства. К тому же они дожили до такого возраста, когда не стыдно говорить о болезнях.

Почти в каждом письме Бонч сообщает, что лучше ему не становится. Воспаления легких одно за другим. Тут поневоле разуверишься в материализме. Даже утверждение, что «дважды два — четыре», уже не кажется таким убедительным.

Ольга Константиновна помнила о своем участии в спиритических сеансах. Поэтому не удивилась, что он обращается к своим легким. Вернее, через них просит высший разум: повремените! У меня есть еще много дел!

В войну о Бонче то ли забыли, то ли решили не трогать, и он продолжал работать в Москве. Зато в сорок пятом, победном, о нем вспомнили. Так он оказался в Ленинграде.

Как мы уже поняли, места работы Бонч не выбирал. Впрочем, дело не в должностях, а в идеях. Сперва он отстаивал правоту коллектива, а потом личные усилия. Эта, вторая, мысль подвигла его спасать рукописи Серебряного века.

Теперь его назначили директором Музея истории религии и атеизма. Конечно, иконы прочнее бумаги, но горят не хуже. Так что помощь Бонча оказалась своевременной. Много из того, что могло пропасть, ему удалось сохранить.

Здоровья хватило ненадолго. Впрочем, Сталина он пережил. Поначалу было неясно, чья возьмет. В последние годы он ощущал некоторую растерянность. Главный человек страны умер, но его возвращение было возможно.

Что касается его плана, то мы все уже знаем. Владимир Дмитриевич умер в июле пятьдесят пятого года, а лет через пять в фондах стало тесно от посетителей. Сюда пришли публикаторы за прозой и стихами.

Это и была отложенная победа Бонча. Начавшееся таяние происходило неравномерно. Тут снега не было, а здесь оставались проплешины... Все говорило о том, что весна приблизилась, но еще не победила зиму.

Кажется, не в эту, а в следующую оттепель заговорили об «уровне правды». Каждое новое имя повышало его уровень, но картина все равно оставалась неполной. Если это так, то правы все. Бонч, который готовил перемены, и Громозова, которая в них не верила.

Как мы знаем, у Ольги Константиновны тоже был план, похожий на бончевский. О правде она думала меньше всего, но музей ей хотелось создать. В конце концов ничего не вышло. Она опять убедилась, что надежды питают юношей, а стариков только разочаровывают.

К тем, кто по-своему прав, следует добавить Матюшина. Его выводы были не практическими, как у Бонча и Громозовой, а имели глобальный смысл.

Как говорилось, Михаил Васильевич верил в естественный ход вещей. В этом смысле история не отличается от природы. Если природа вечно возрождается, то осуществится и задуманное людьми. Вряд ли мы сможем дожить, но это безусловно будет так.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Громозова говорит правду

Громозова — и вдова Матюшина, и подруга футуристов, и не последний человек следующей эпохи. Можно было выбрать что-то одно, но она не спешила. Старалась использовать все возможности.

У нее на стенах по-прежнему работы Матюшина. Рядом с его пейзажем с двумя одинокими деревьями — копия «Ленина за работой» Исаака Бродского. Непонятно, как эти вещи могут ужиться, но она не видела тут противоречия.

Миновала эпоха, когда творчество было центром всего. Сейчас оно ни на что такое не претендует. Обычно его используют в прикладных целях, применительно к текущему дню.

Вот о чем эта картина Бродского. Когда происходит что-то неприятное, она ее успокаивает. Становится ясно, что есть вопросы поважнее искусства. Это о них за небольшим столиком вождь пишет статью.

Вдохновляющий пример имеет значение, но что он без помощи разных людей? После того как она осознала себя автором, у нее стали бывать писатели. Для них она была не вдова Матюшина, а такой же литератор, как они сами.

Среди тех, кто ей симпатизировал, выделялись Александр Прокофьев и Всеволод Кочетов. Бывали фигуры помельче. Впрочем, Ольга Константиновна привечала всех. Бывает, человек вроде ненужный, а глядишь, и к нему нашлось дело.

Вот хотя бы такой пример. Для чего среди ее «контактов» оказался литературовед Александр Дымшиц? Впрочем, а почему нет? Лучше дружить с такими рьяными критиками. Вряд ли он будет ее хвалить, но точно не станет ругать.

Всякий раз новую книгу Громозова отправляла Кочетову, Прокофьеву, Дымшицу. После двух-трех недель ожидания приходили благодарственные письма.

Дымшиц был слишком занят, чтобы углубляться в ее тексты, но писал неизменно радушно: «Хочу от всей души поздравить Вас, пожелать Вам и впредь той душевной силы и бодрости, которая вот уже много лет радует Ваших читателей и Ваших друзей». Заканчивалось письмо пожеланием «всего-всего». Пожалуй, только в этом удвоении можно слышать живую интонацию.

Однажды Громозова объяснила свое поведение. Свои чувства она привыкла скрывать, а тут разоткровенничалась. Так в разговоре со случайным попутчиком выговариваешь все, о чем никогда не говорил вслух.

Может, потому Ольга Константиновна изменила своим правилам, что гость напомнил ей прежних приятелей? С ее зрением разглядеть его было трудно, но она догадалась. Ясно представились длинные волосы и художническая кофта.

Как выяснилось, путь Сергея Шеффа (так звали гостя) был такой же путанный, как у знакомых ее юности. Учился в Академии художеств, работал дизайнером в порту, печатался в самиздатских журналах под псевдонимом «У. Истоков». Писал об иконе и сам пытался что-то вроде иконы создать. Тут и начинается его расхождение с футуристами. Если те богоборствовали и даже богохульничали, то он был человеком верующим.

Свое представление о Боге Шефф воплощал в абстракции. Ведь если Бога мы не видим, а ощущаем, то какая может быть конкретика?

Обсуждали людей матюшинского круга. «Какое-то проклятие на них, — сказала Громозова. — Откуда оно взялось? Только потому, что левые!» Собеседник решил, что его причислили к проклинающим, и буквально вскричал: «Мы тоже левые».

Ольга Константиновна взглянула на него сочувственно. Мол, откуда тебе это знать, дурачок? Чтобы тебя забыли, надо сначала стать знаменитостью.

Все это посетитель потом записал. Если бы она знала, что обращается к будущему, то была бы осторожней. Впрочем, как тут остановишься? Когда заходит речь об обидах, трудно переключиться на другую тему.

Кажется, она сама заговорила о наследстве. Даже не представить, что такое возможно. Случилось это не в запретительные тридцатые, а в обнадеживающие пятидесятые. Обиднее всего, что в этой истории участвовал Русский музей. Хоженный-перехоженный, выученный наизусть, родной дом всех питерских живописцев.

Громозова передала музею картины Матюшина, Гуро и Малевича. Дар приняли с благодарностью. О том, что работы выставят, не было речи, но изменение статуса обещали. Все же одно дело внимание одинокой женщины, а другое забота государства.

Какое-то время ее подарки существовали на равных с холстами Репина и Левитана. С них стирали пыль, беспокоились о состоянии красочных поверхностей. Все бы так и продолжалось, если бы не жалоба. Незнакомый автор интересовался: зачем хранить то, что давно отвергнуто публикой и критикой?

Обычно такие обращения предшествуют появлению комиссии. Так было и на этот раз. Ждали, что последуют суровые выводы, но почему-то обошлось. Было решено картины вернуть дарительнице.

Не верите? Тогда предоставим слово Громозовой. Интересно, дрогнул ли в эти минуты ее голос? Возможно, что нет. Когда столько лет живешь на свете, уже ничему не удивляешься.

«В 52-м году приезжает грузовик, — рассказывала Ольга Константиновна, — и все выгрузили и свалили здесь. Я старая, потеряла зрение, дом ветхий. Как-то расставила картины, где смогла».

Громозова хотела жаловаться на шофера, но потом передумала. Для слабовидящей он — фигура несуществующая. Шум она услышала, а его не разглядела. Поэтому вполне могла обвинять не человека, а машину.

На этом успокоилась. Если в этой истории нет конкретных людей, надо искать естественные причины. Так ей некого было обвинить за жучков в деревянных скульптурах мужа. Уж как ей нравились эти вещи, пришлось отправить их в печьку.

Разве в этом нет символизма? Кажется, искусство авангарда проходило полный цикл. Оно начинало с восхищения и признания, а заканчивало если не в огне, то сваленным на земле.

Что-то такое происходило и в литературе. На место одних приходили другие. Самые благополучные из них носили костюмы с галстуками, а кое-кто обзавелся животами. Некоторые выпустили по собранию сочинений, что еще больше подчеркивало их вес.

Разговоры писателей отличались от того, о чем беседовали матюшинцы. Обсуждали, что одного издали, а книга другого на подходе. Конечно, не забывали о себе. Если кто закончил роман или поэму, непременно читали отрывки.

Если пишущих и рисующих позвать вместе, то это будет похоже на встречу дальтоников. Одни на красное скажут зеленое, а другие зеленое назовут синим.

К тем, кто не понимал живописи, Матюшин был очень строг. В этом смысле Громозова была снисходительней. Она сама видела плохо и позволяла это другим. К тому же теперь выраженное словами было ей важнее того, что говорят краски и цвет.

Прокофьев

Любимый гость Громозовой — Александр Прокофьев. С утра он решал разные вопросы, а вечером имел право отдохнуть. За день ему так надоедала современность, что он был рад переключиться на прошлое.

Если в настоящем он знал если не все, то очень многое, то в прошлом у него были пробелы. Как бы ему хотелось поговорить с Маяковским, но эта честь досталась не ему, а Громозовой. В те годы, когда она приобщалась к футуризму, он был еще далек от литературы.

Для Александра Андреевича все начиналось с революции. В этом смысле он был идеальным советским автором.

Сперва Прокофьев служил оперуполномоченным НКВД, и если что-то писал, то протоколы допросов. Да и другие его обязанности были не более возвышенными. Впрочем, именно тогда он заинтересовался книгами. Бывало, разглядывает библиотеку арестованного, а про себя думает: вот бы это почитать!

Так он познакомился с современной поэзией. Сам удивился, когда попробовал себя на этой стезе, и понял, что получается.

К новым целям Прокофьев отнесся по-военному четко. Обычно начинающие мечутся между разными объединениями, а он определился сразу. Стал членом группы «Резец» и продержался в ней вплоть до образования Союза писателей.

В символисты и футуристы брали по таланту, а участников этого объединения отличали возраст и происхождение. Всем было чуть за двадцать, многие жили в деревне, а потом работали на фабрике. Ну и манеры были соответствующие. В этом кругу не миндальничали, а сразу давали отпор.

Когда Ольга Константиновна познакомилась с Прокофьевым, о белобрысом пареньке из деревни Кобона уже ничто не напоминало. Зачем это первому секретарю? Да и в жизни есть своя логика: в юности куролесишь и выпускаешь пар, а в зрелости обретаешь степенность.

Правда, взгляд был тот же, из его прошлого. Иногда так посмотрит на коллегу, что самый непричастный из них почувствует себя виновато.

Тогда же Александр Андреевич научился различать своих и чужих. Поэтому всю жизнь вроде как раздваивался. Мог быть грозным — и компанейским. В первом случае он принимал посетителей, а во втором проводил время с друзьями.

Все-таки белобрысый пацан был жив. Не случайно в его стихах слышались любимые с детства песни. Он и сам иногда пел. Чаще всего под рюмочку в компании с земляками. Так что они не просто пели, а вспоминали свою юность.

Редактор его последней книги тоже был с Ладоги. Когда им надоедало обсуждать пропущенные запятые, они переходили к более важным темам. Например, Прокофьев говорил, что он отчитал в газете Виктора Соснору, а сам от его влияния не избавился.

— Тебе не кажется, что у меня вышло слишком соснористо? — спрашивал Прокофьев.

Зачем Александр Андреевич это писал? Потому что начальник должен вразумлять и указывать? Так он обращался не только к читателям и коллегам, но и к себе: мол, не видишь разве, что молодой человек думает «только об эффектной фразе и бьющем в нос образе»?

Прежде примерно так говорили о футуристах. Может, не доходило до таких выражений, но носы, выкрашенные серебрянкой, скорее всего, упоминались.

Как видно, тут своего рода цепочка. Непонятно, кто был первым — Громозова или Соснора? Ведь они оба связаны с новой поэзией. Только ее футуризм стал прошлым, а его рождался сейчас.

Из людей двадцатых годов Соснора лично знал Асеева и Лилию Брик, но это время воспринимал как родное. Не случайно он очень ценил прозу Гуро. Говорил, что это немного скучно, но к прочтению обязательно.

Одно дело к людям прошлой эпохи относиться как к современникам, а другое прожить с ними половину жизни. Громозова не относилась, а прожила. Тем оправданней ее скепсис. Она видела, что теперь футуристы стали кем-то вроде Тредиаковского с Сумароковым. Что-то было когда-то, а что именно, знают специалисты.

Зато Прокофьев был и есть. Он весело смеялся, нелепо взмахивал руками, легко и с удовольствием выпивал. Бурлюк и Крученых выпали из современной литературы, а он занимал в ней одно из главных мест. Как по должности, так и по своему значению.

Громозовой захотелось обозначить перемену. Показать, что она не отрекается от того, что было, но понимает, что двадцатые годы закончились. Уход Матюшина и Малевича подвел под ними черту.

Прежде она приходила к Прокофьеву с тортом, а сейчас принесла нечто более долговечное. Положишь на ладонь и сразу чувствуешь тяжесть. Дело не только в весе, но в том, что называют грузом десятилетий.

Это была железная пепельница в виде галоши. Представьте, собрались участники «Садка судей». Обсуждают, что хорошо бы опубликовать в сборнике. Поговорили о тех, кого нет, и перешли к присутствующим. Чтобы никого не обидеть, решили обойтись без лишних слов.

Происходило это так. Один из гостей читает стихи, и пепельница направляется в его сторону. В своих темных глубинах несет грустную весть. «Извини, друг, — вот что это обозначало, — но твой текст не пойдет».

Так утилитарная железяка стала вестником. С характером совсем не нордическим, а вполне боевым. Было видно, что «гроза поэтов», как назвала ее Гуро, не остановится ни перед чем.

Прокофьева не представить в желтой кофте. Только в пиджаке и, конечно, при должности. При этом пепельница досталась ему, а не Асееву, дорожившему своим прошлым футуриста, или тому же Сосноре, футуристом себя ощущавшим.

Выбор Громозовой был связан именно с непохожестью. У кого больше прав на пепельницу, как не у того, кто воплощает новое время? Так что это не просто подарок, а подношение. «Ваша взяла, уважаемый хан, — примерно так говорила она. — Хочу присовокупить к вашей победе сто ковров и десяток слитков золота».

Вот они с Прокофьевым на фото, сделанном на его даче. Обычно поэт суров и значителен, а тут улыбается во весь рот. Она тоже смотрит по-доброму. У каждого в глазах читается что-то вроде: «Мы одной крови — ты и я».

Так завершалась судьба пепельницы. Для нее началось время дожития. Теперь это был не гордый корабль, рассекающий волны, а лишь предмет антиквариата.

Иногда ей удавалось отличиться. Права решающего голоса она лишилась, но на внимание могла рассчитывать. Когда к Прокофьеву приходили гости, это был главный аттракцион. Хозяин дома рассказывал ее историю, а потом все прямо рвались ощутить себя Хлебниковым или Гуро.

В эти минуты в железной галоше просыпалась заснувшая было энергия. Как лихо, виляя боками, она двигалась по столу! Правда, сейчас ей было не на кого указывать. Выбор был давно сделан и от присутствующих не зависел.

Кочетов

Кроме Прокофьева, Ольге Константиновне симпатизировал Кочетов. Отношения у них были не такие близкие, но надежные и длительные.

Как и Александр Андреевич, Всеволод Анисимович был мэтр. С пятьдесят пятого года он уже не питерское, а московское начальство. Хотя теперь забот у него стало больше, они постоянно переписывались.

Бывает, человек достиг всего, а прошлое из него не выветрилось. По давней привычке он пишет на обрывках бумаги. Тем самым признает, что согласен на малое и ни на что значительное не претендует.

У Кочетова, как у гоголевского Собакевича, все было большое. Даже величина листа и почерк говорили: «Я — Кочетов. Известный писатель и лауреат».

Вот Всеволод Анисимович поздравляет ее с книгой. Начинает, впрочем, с себя. Считает нужным рассказать о том, что он делал в промежутке между этим и предыдущим письмом.

Каково Громозовой сидеть почти взаперти и при этом читать: «Возвратился после долгих странствий по Донбассу и Кавказу...» Видно, он писал это не просто так. Тот, кому позволены такие поездки, разрешено все. Даже писать огромными буквами на больших листах.

После этого пассажа Всеволод Анисимович вернулся к Громозовой, а потом опять написал о себе. Поэтому фраза получилась крученая. Уж очень многое ему хотелось в нее вместить.

Как связать ощущение своей миссии с положенной нашему человеку скромностью? Напиши Кочетов так от себя, это было бы странно. Поэтому к своему мнению он присоединил всех коллег по цеху.

«Более или менее талантливого писателя, — пишет Всеволод Анисимович, — радуется не только выход в свет его собственной книги, но и выход в свет книги его товарища по труду, по служению».

Трудно далась эта фраза. Сперва написал: «талантливого», но подумал, что это выглядит как похвальба. Решил, что лучше не настаивать. Зато в противовес началу усилил финал. К обыденному «по труду» прибавил: «служению».

Тут нет обычной для Кочетова нетерпимости. Напротив, чувствуется симпатия. Правда, тон взят такой, словно это не она, а он старше ее на двадцать пять лет.

Видно, Всеволод Анисимович считал, что на сей раз разница в возрасте отменяется. Ведь Громозова только вступает в литературу, а он своими изданиями уже заполнил не одну полку.

Есть еще одно подтверждение его отношения к себе. Такие люди не любят слушать, а предпочитают говорить сами. Вот бы ему спросить о своих романах, но, кажется, он знает, каким будет ответ.

К самоуважению прибавим понимание своих обстоятельств. Сложно почти классичку ожидать правды. Может, он и рад был услышать честное мнение, но критики куда-то испарились. Тут как в картах: если ты туз, то конкурентов у тебя нет.

Стейнбек

В пятидесятые такого еще не было, а в шестидесятые — пожалуйста. Из Союза писателей звонят не только из-за собраний и взносов, а потому, что приехал иностранный гость. Все, что можно, он уже видел, и теперь нужно что-то эдакое. Почему бы за чаем с тортом не приобщить его к истории футуризма?

Громозова для этого подходила идеально. Она ведь тоже достопримечательность. С Медным всадником не смог поговорить даже бедный Евгений, а она рассказывала с удовольствием. Больше всего было историй о работе в подполье и друзьях мужа.

Итак, сперва солирует Ольга Константиновна, затем все переключаются на папки с рисунками. Эти моменты самые насыщенные. Все молчат, и только иногда у кого-то вырывается: «Их время придет!»

Похожие чувства посещают в музее. Только что жизнь кипела, а вдруг останавливается, и ты ее видишь, словно через стекло.

Самый большой успех Ольги Константиновны в новом для нее жанре был связан с приездом Джона Стейнбека в октябре шестьдесят третьего года.

За год до этого Стейнбек получил Нобелевскую премию. Так что волнения были нешуточные. Очень хотелось его порадовать, и было неясно, чего от него ждать.

В сорок седьмом году писатель впервые побывал в СССР, а потом выпустил ехидный «Русский дневник». Книгу не осудили, но издавать не стали. Чтобы сейчас он не написал что-то подобное, было решено больше водить его по музеям и меньше знакомить с людьми.

Стейнбек восхищался и терпел. Наконец не выдержал и потребовал живого общения. Все же романист любит ушами. Кто может знать, какие встречи и разговоры будут ему полезны.

Повар знает поваров, а сантехник сантехников. Если писателю нужны контакты, скорее всего, это будут писатели. Стейнбека возили к Симонову и Эренбургу. Не по-

лучилось только однажды. Сперва ему объяснили, что Ахматова болеет, а потом, что у нее много работы.

Перед всеми, с кем он встречался, у Громозовой было преимущество. Не все, кто связан с историей, живут там, где эта история совершалась.

Когда нобелиат оказался на Песочной, его обычной отстраненности как не бывало. Он сразу почувствовал себя тут не экскурсантом, а своим человеком.

Представьте, что Хлебников взял сушку и покрутил на пальце. Вот и Стейнбек сделал так. Правда, его спутники вспомнили не знакомых Матюшина, а более близкий им хулахуп. В это время круг из пластмассы только входил в моду.

Американца интересовало все. Особенно долго обсуждали стулья. Не потому, что они особенные, а из-за того, кто на них сидел. Когда Громозова называла фамилии, Стейнбек поживался. Словно чувствовал ветерок из минувших эпох.

С автором «Гроздьев гнева» пришли Прокофьев и переводчик. Первый как коллега с коллегой и даже как равный с равным, а второй еще и по обязанности. Каждый день он сообщал куда надо, где побывали и о чем говорили.

В будущем переводчик станет человеком из телевизора. Сейчас не представить, что когда-то он ездил в автобусах и стоял в очередях. Пожалуй, я не назову его имени. Ведь это сильно уведет нас в сторону.

Итак, все сидят за столом и оживленно беседуют. Показывают, что для них нет запрещенных тем.

Наверное, Прокофьеву это давалось непросто. Для таких разговоров он был слишком тучен. С его комплекцией лучше сидеть в президиуме, а не пересказывать с темы на тему.

Зато Громозовой это давалось легко. Выбор был велик — от друзей дома до Бонча и Марии Ульяновой. В конце концов остановились на футуристах. Все прочее Стейнбека не очень интересовало.

О том, какую лучше занять позицию, с Ольгой Константиновной обсуждали. Решили перевести тему в философский план. Мол, когда-то левые были настоящим, а сейчас стали прошлым. Зачем противиться переменам? Даже она, вдова Матюшина, признает их правоту.

Странное поведение для непосредственной участницы! На все это Стейнбек смотрел иронически, словно говорил: у вас своя игра, а у меня своя. Лучше крутить сушку, чем пытаться обвести гостя вокруг пальца.

У всякой игры свои правила, но американцу не всегда удавалось сориентироваться. Это в шахматах условия известны, а тут все зависит от интуиции. Вот почему он часто попадал в просак.

Однажды у него поинтересовались — какая философия ему ближе. Он подумал, что «идеалистическая» говорить нельзя, «материалистическая» странно, и ответил: «Никакая».

Спрашивающий опешил. На его лице читалось: что за люди живут на другой половине земного шара! Нет чтобы занять правильную сторону, так они наблюдают со стороны.

Зато после возвращения Стейнбек проявил смекалку. Очевидно, разговоры во время поездки для него не прошли даром. Много раз он наблюдал за тем, как разные люди уходили от ответа и запутывали следы.

Нобелиат играл в чужую игру. Да, ту самую: ««черного» и «белого» не называйте, «да» и «нет» не говорите». Он бы предпочел говорить правду, но сейчас это было невозможно.

Лучше всего это получается вроде как с сушкой на пальце. Веселье вообще привлекательно. Читатель дочитает статью и только тогда поймет, что автор не сказал почти ничего.

Так что задач было две. Надо избрать шуточный тон. Затем показать, что ты знаешь, какие произошли перемены. Превенная власть была мрачно-насуспенна, а новая оптимистична. Так и сыплет народными изречениями.

Выбор газеты так же не случаен, как и упоминание зятя редактора. Об этом говорит фото с Алексеем Аджубеем на балконе «Известий». Возможно, именно сейчас они договариваются о том, что ему следует написать.

«Дорогой редактор! Мы знаем из выступлений премьера Н. Хрущева, насколько богат русский язык идиомами и народными поговорками. Английский язык так же хорошо орнаментирован, и, я полагаю, нет ничего удивительного, что каждый язык содержит в своем арсенале формы выражения одной и той же мысли. Одна из самых правильных поговорок гласит: „Дорога в ад вымощена добрыми намерениями“... Пишу Вам потому, что я, имея самые добрые намерения, совершил ужасную ошибку, которая свидетельствует о том, что я не являюсь и не должен быть дипломатом. Она доказывает так же, что добрые намерения могут быть очень опасными...

Как вам известно во время нашего недавнего визита в СССР, мы много путешествовали, встречались с сотнями людей, и, в дополнение к хлебосольному гостеприимству многие из них открыли нам свои сердца... По возвращении я попытался отблагодарить своих хозяев и ответить на все их письма. И тут я обнаружил к своему отчаянию, что девяносто процентов моего времени стало поглощаться перепиской. Моя собственная работа, давно заброшенная, обвиняла меня».

Дальше о том, как он нашел выход: «Поскольку мне предстояло отправить много таких писем, а моя память отнюдь не энциклопедическая, я взял фамилии из списка Союза писателей, потому что, как вы помните, мы были гостями этой организации. Даже этот метод выражения моей благодарности потребовал от меня около месяца напряженных усилий. И представьте себе, я даже почувствовал себя в связи с этим добродетельным!»

Можно было попросить тех, кто сопровождал его в поездке, напомнить фамилии новых знакомых, но Стейнбек решил сократить путь и обратился в газету: «Я очень дорожу дружбой многих русских людей, с которыми я познакомился в вашей стране. Было бы очень печально, если бы некоторая бестактность с моей стороны изменила или поколебала это чувство. Мне кажется, если бы мои друзья знали о том, что случилось, они бы поняли меня, и, проявив чувство юмора, рассмеялись... Если Вы опубликуете это письмо в вашей газете, мои друзья прочтут его, поймут и простят».

Может, кому-то хватило автографа, но Громозова ждала, что нобелиат обратится к ней лично. Это значило бы, что он увез с собой образ ее дома и тех людей, с которыми тут познакомился.

На персональный привет мог рассчитывать и Прокофьев, но Стейнбек ко всем обращался одинаково. После слов «Дорогой друг» следовал текст, в котором говорилось, что мы не так уж различны. Другие важные для него мысли содержались в нобелевской речи, которая прилагалась к письму.

Следуя упомянутым правилам, писатель избегал «да» и «нет», «черного» и «белого». Вышло что-то вроде акробатического упражнения — так ловко он обходил острые углы. Даже о том, что ему особенно понравилось, он не сказал ничего.

Текст получился настолько уклончивый, что буквально нечего вычеркивать. Только одна фраза вызвала вопросы. В ней говорилось, что «дорога в ад выложена благими намерениями».

После обсуждений решили оставить. Ведь в том же абзаце автор сообщает, что больше всего ада в нем самом: «Я, имея лучшие намерения, совершил ужасную ошибку».

Затем следовал новый кульбит. Оказывается, ошибка поправима, а значит, ад он вспомнил ради красного словца. Ну и финал был соответствующий. Сама Громозова могла написать так: «Итак, я доверяю свое решение в руки газеты „Известия“».

И еще два ее гостя

Многие гости дома на Песочной известны по фамилии и в лицо, а о бабушке моего приятеля вы вряд ли слышали. Как вы помните, Ольга Константиновна немного преподавала, а у бабушки вся жизнь была в детях. Как в своих, так и в чужих. Собственных у нее было трое, а чужих не сосчитать.

Каждый год в школу на улице Маяковского принимают новых учеников. Таков круговорот ее жизни. Научит одних писать палочки, и за парты садятся другие.

Вот еще одно ее пересечение с Громозовой — Маяковский. Человек, ставший улицей в центре города, часто бывал на Песочной.

Порой не сразу понимаешь, для чего ты предназначен. В Институте иностранных языков бабушка доучилась до третьего курса. С языками у нее контакт был, а с преподавателями не очень. Если у тебя проблемы со взрослыми, то не лучше ли заняться детьми?

Так бабушка стала учительницей. Причем сразу пошла в младшие классы. Больно славный тут народ. Становясь старше, дети заимствуют у взрослых их недостатки, а пока радуются жизни и хотят все знать.

Кроме пересечений с Громозовой, есть то, что их разделяет. Откуда бабушке знать, какие страсти кипят в мире литературы? Если бы об этом писали книги, их бы читали как романы Дюма.

Можно не писать, а разыграть. Так Ольга Константиновна исполняет эти истории перед своей знакомой. При этом она помнит об известном правиле. Оно заключается в том, что округлять глаза должна не актриса, а зрительница.

Итак, одна спокойна, а другая взволнованна. Всякий раз Громозова приходит к тому, что все будет хорошо. Может, для того ей были посланы испытания, чтобы она убедилась в своих возможностях?

— Что же делать? — удивлялась бабушка.

— Ничего, справимся. — твердо отвечала Ольга Константиновна. — У меня большие связи.

Что такое «большие связи», бабушке непонятно, но ее успокаивает уверенность приятельницы. Сколько раз она убеждалась: если та за что-то берется, все получается, как надо.

К удаче надо прибавить характер. Казалось бы, с ее зрением надо больше доверять другим, но Громозова ничего не пропускает.

Вот она поучаствовала в выборе куска торта. Бабушка уже собралась положить его на тарелку, но ее знакомая воспротивилась. «Мне бы вот этот», — сказала она и показала на другой кусок.

Вряд ли это прозрение. Скорее, чутье. Способность к изменениям не противоречила ясному осознанию цели. Даже кусок торта ей нужен был не любой, а тот, что приглянулся.

Как видите, ее окружали самые разные люди. О том, что она обсуждала с Прокофьевым или бабушкой, уже говорилось. Свои разговоры были у нее и с Борисом Эндером.

В десятые годы Ольга Константиновна дружила с Гуро и Матюшиным, но все же Эндер был с ними ближе. Вы помните, что сына Елена Генриховна придумала? На ее рисунке он вышел чуть ли не копией Бориса.

Затем прошло еще несколько эпох. Труднее всего дались тридцатые годы. В это время художники образовали что-то вроде тайного общества. Рисовали в основном друг для друга. Обсудят картину с товарищем и спрячут подальше от посторонних.

Особая опасность заключалась в том, что Эндер писал абстракции. С этим всегда было непросто, а сейчас воспринималось как диверсия. Вот почему он должен был зарабатывать одним, а для души делать другое.

Начальство Эндер не рисовал. Компромисс оказался не такой обидный. Можно было не только заработать, но и кое-что посмотреть. В тридцать седьмом он оформил выставку в Париже, а в сорок девятом в Будапеште.

Казалось бы, выход найден. Для себя пиши, что хочешь, а зарабатывай эксподизайном. Это, как мы знаем, «многих славных путь». Вариант вроде не худший, но все же правильней не раздваиваться. Для этого следовало дожидаться пенсии.

Хорошо быть пенсионером. На службу ходить не надо, а деньги приходят каждый месяц. Этой суммы хватает на то, чтобы содержать семью — и делать что-то свое.

К зарабатывающим Эндер испытывал сложные чувства. Да, он тоже берет заказы, но совмещает это с тем, за что денег не платят. А если гонорары — это единственная цель? В этом он подозревает искусствоведа, задумавшего о нем статью:

«Ты знаешь, что я своего искусства не продаю, — сообщает художник Громозовой, — а он хочет писать о нас, и, конечно, продавать эти писания. Он не бескорыстен».

Вот в чем дело. Искусством можно назвать только то, что нельзя продать. Значит, его работа для выставок к творчеству отношения не имеет. Он пошел на это только для того, чтобы писать картины не на голодный желудок.

Странно объяснять это Громозовой, ведь для нее литература — это то, что публикуется. Может, потому ей надо это сказать? Пусть знает, что матюшинцы видят в картине не ее цену, а нечто посущественней.

Вспоминался такой случай. Однажды Борис с Колей Костровым гуляли в Летнем саду и вдруг видят Михаила Васильевича. Все при нем: отличный пиджак, шляпа с полями, трость с серебряным набалдашником. Если бы в сад пускали по степени соответствия месту, он был бы лучшей кандидатурой.

«Работаете?» — интересуется учитель, а ученики отвечают: «Зарабатываем». Мол, одно дело то, чем приходится заниматься, а другое то, к чему призывали вы.

Наконец Эндер — пенсионер! Теперь он будет рисовать вволю. Вот как немного для этого надо — тысяча двести рублей старыми, и можно не думать о материальном.

«Оля, я перешел с октября на пенсию... — пишет он Громозовой. — Стал свободным художником. Ничем не связан и могу приехать раньше, но хочу весной».

Гордо звучит — свободный художник! Да и возможности впечатляют. Могу, но не хочу. Сам определяю сроки и время. Следую своим желаниям, так как ничем больше не обременен.

В этом ощущении Борис прожил недолго. Уже в следующем письме сказано, что надежды не оправдались. Сумма не так велика, чтобы пренебречь заказами. Радоваться пока нечему, надо впрягаться опять. «В марте меня втянули в промышленную выставку. Хотя я и имею пенсии 1200 руб., заработать на лето не мешает».

Кстати, зачем Борис едет в Ленинград? На этот счет у него есть план. Надо показать любимые картины в Эрмитаже и показать друзьям сделанное за последнее время.

Прежде бывшие авангардисты существовали врозь, старались не пересекаться, а теперь устраивают совместные обсуждения. Анна Лепорская хочет обсудить с Борисом Эндером его работы. Ясно, что она будет ссылаться на Малевича, а он вспоминать Матюшина.

Пятьдесят пятый год — это пока не сама «оттепель», но ее первые подступы. Можно сказать, «грачи прилетели». Опять, как в эпоху авангарда, возникает среда. Связи выходят за пределы своего круга и распространяются дальше.

«Попутной задачей у меня было, — пишет он, — ответить на просьбу Лепорской привести свои вещи для демонстрации ленинградским художникам. Ты не представляешь себе, как я был бы счастлив, если бы среди художников, которые собрались у Лепорской, была бы ты».

Не всякую вещь Пикассо Эндер признает шедевром, а Громозову называет художницей. Этот ненавистник всякой корысти сейчас настроен по-деловому. Один из показов он надеется устроить у нее дома.

«Я не знаю, как ты на это посмотришь, — пишет он, — но я посчитал бы за честь для себя, если бы второй просмотр для ленинградских художников прошел у тебя».

Ну а как иначе? Песочная — это его юность. Тут даже стены помогают. На них висят картины Гуро и Матюшина, а это почти то же, что присутствие их самих. Начинаешь сравнивать и постепенно понимаешь, что и как можно было сделать лучше.

В музее живопись и люди разделены, а тут все со всем связано. То, что смотрели, и то, о чем разговаривали. То, что ели и чем запивали. Из всего этого возникает неповторимая аура дома.

Эндеру есть что вспомнить по этому поводу. Не забыть, как во время обсуждения «Садка судей» пепельница возникала в разных концах стола. От чего-то воротила железный нос, а что-то радостно принимала.

Скорее всего, показа у Громозовой не случилось. Эту идею не осуществить без взаимности. Несколько раз Борис напоминал, но она не спешила: «Ты пишешь, что откладываешь мою выставку до осени. Буду ждать».

Как было бы хорошо, если бы это состоялось. Да еще в том пространстве, с которым столько связано. Возможно, помешала одна строчка в давнем письме Бориса. Выражая соболезнования в связи со смертью Матюшина, Эндер писал, что главной для учителя женщиной была Гуро.

«Дорогая Оля, тебе тяжело, хотя ты знаешь, что Миша уходит к Лене, и ему будет хорошо.

Мы должны друг другу помочь принять Мишино наследство и пустить его в массы. Крепись и береги свое здоровье.

Твой Борис

9 октября 10 ч. утра Москва».

Этот текст много говорит о людях, которым выпало жить в разных эпохах. От Серебряного века у Бориса вера в то, что смерти нет, а от советского времени канцелярское «пустить в массы...». От тех десятилетий, когда Громозова была женой Матюшина, — доверительная интонация и дружеское «ты».

Конечно, эту фразу Ольга Константиновна запомнила навсегда. Она стояла как кость в горле. Из нее следовало, что ей удалось скрасить жизнь мужу после ухода Гуро, и прежде, чем они встретились вновь.

Галина Гампер

Мы рассказали о людях, постоянно бывавших на Песочной, а теперь надо вспомнить об одной невстрече.

Девушка (ее звали Галя) не ходила, да и сесть могла только с чужой помощью. Когда ее мама шла в магазин, из того, что движется, в доме оставалась кошка, а из того,

что говорит, радио. Приемник не замолкал, но однажды она прислушалась. Так ей понравился голос женщины, о которой рассказывала передача.

Есть такое выражение: «идти на голос». Гале захотелось связаться с той, кому он принадлежал. Как-то сразу поверилось, что у нее получится разрешить ее проблемы.

Действительно, удивительный случай! Почти потерять зрение, но при этом не впасть в отчаяние, а каждый день садиться за письменный стол. Писать не что-то мрачно-тяжелое, а книгу об «окрыленных людях».

Галя восприняла ее рассказ как обращенный к себе. Оставалось понять: как это возможно? Целыми днями находиться дома, но при этом жить так, как не всякому зрячему удастся.

«Здоровье так ухудшилось, что уже год я не могу заниматься, читать, большую часть дня приходится ничего не делать... Я с большим, большим интересом и волнением слушала рассказ о Вашей жизни, борьбе, работе... У меня как будто силы прибавились и даже настроение стало лучше».

Жизнь, борьба, работа — это вроде как разные степени. Бывает, человек живет, но не борется или борется, но не претворяет это во что-то важное. Лишь немногим дано соединить одно с другим.

Тут нужно отступление. До этого момента автор не высывался из-за спин героев, но сейчас придется это сделать. Странно было бы делать вид, что я тут ни при чем.

С Галей я познакомился тогда, когда мне было лет двенадцать. В это время ее уже звали Галиной Сергеевной, и она была известным поэтом. Случилось это в день ее рождения, 6 ноября.

Как я, такой маленький, попал на взрослый праздник? То ли родителям было не на кого меня оставить, то ли пришло время мне узнать, что тупиковых ситуаций не бывает.

Представьте не такую большую комнату. Если бы я знал, что Мандельштам выделял «читателя, советчика, врача», я бы об этом вспомнил. Среди гостей преобладали поэты, но были и читатели. Из них двое или трое оказались врачами. В их советах именинница нуждалась не меньше, чем в мнениях о своих стихах.

Галя, Галина Сергеевна, или Галина Гампер, занимала место во главе стола. При этом так прямо вытягивала спину, словно сидела не в инвалидном кресле, а на троне.

Иные королевы изредка кивают в знак одобрения, но моя новая знакомая что-то весело говорила. Ее подданные улавливали настроение и старались не отставать.

Едва ли не все были таланты, а потому шум стоял страшный. Нонна Слепакова пела, Александр Кушнер и Виктор Соснора читали стихи... Остальные тоже не молчали и чуть что вступали с комментариями.

Все это для меня, совсем юного, стало событием. Впрочем, и через многие годы я удивлялся: откуда столько энергии? Неужели неподвижность не мешает почувствовать себя свободной?

Теперь вернемся в то время, когда она написала письмо Громозовой. Галя часами смотрела в окно, и то, что в нем «показывали», ей совсем не нравилось. Ведь в тысячный раз снег или дождь выглядят так же, как в пятисотый.

Что надо сделать для того, чтобы увидеть нечто большее? Что-то поменялось, когда она начала писать стихи. Теперь перед ней были не только крыши и серое небо, а весь божий мир.

Говорить о себе она не решалась, а потому ей потребовалась героиня. Зоя Космодемьянская в ее поэме выбрала смерть, но была полна жизни. Даже по пути к виселице видела себя бегущей, плавающей, греющейся у костра.

Мне душно, мне тесно, мне хочется жить,
Мне хочется быть молодой.
Учиться, работать, дружить и любить,
Ходить на свиданья весной.
Хочу, чтобы нас закружила с тобой
В ликующем вихре весна...

Эти неумелые строчки оправдывает одно обстоятельство. Обычно начинающие пишут о том, что не пережили, а Галя писала о себе. Вернее, о себе и о Зое. Они обе были лишены того, что для других само собой разумеется.

Галино письмо Громозова приложила к пачке с посланиями от Кочетова и Стейнбека, но в переписку не вступила. Как видно, так подумала: что лучше — начать повесть или заняться этой девушкой? — и решила, что книга важнее.

Так что ни письма, ни привета. Галя, наверное, обиделась, но не остановилась. Многие ее стихи были о том же, о чем поэма. Теперь она не писала, что ей тесно и душно, но это чувствовалось.

В шестьдесят пятом году у Гампер вышла книга «Крыши». Пусть и маленькая, размером с ладонь, но зато своя. Картинка на обложке подтверждала, что тот, кто смотрит на крыши, непременно видит небо.

Если Громозова узнала о книге, то вряд ли позвонила или написала автору. Да и что бы она сказала? Вы ко мне обращались пять лет назад. Наконец письмо дошло, и я хотела бы вам ответить.

Даже для Ольги Константиновны это было бы слишком. К тому же у юной поэтессы и без того все неплохо. Все же одно дело, когда первая книга выходит в пятьдесят, а другое в двадцать шесть.

Когда-то у Громозовой было много юных друзей. На примере школьного журнала она объясняла, что лучше не лезть на рожон. Те, кто ее послушал, не пропали, но победил те, кто решил по-своему. Не захотели писать два, а в уме держать три.

Помните Кирилла, Наташу и Галю? Они делали то, что им нравится. Кирилл не представлял себя без двукрылых, а Галя и Наташа без кисти и карандашей. Прибавьте ее знакомых десятых годов. Их будущее было туманно, но они пробивались что есть сил.

Кстати, и Матюшин начинал так. Сто раз его ждало фиаско, но потом как-то обрзовывалось. Взять хотя бы солдатчину. Каким-то чудом построения на плацу заменили на филармонический зал. Поднимаешь голову, а огромные люстры сверкают и переливаются, как краски на холсте.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ЗАБОТАХ МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

Письмо наверх

Нужно понять, почему Громозовой удавалось публиковаться. Как говорилось, многим она была обязана знакомым по цеху. Бывало, издательство планирует одну книгу, но тут звонит телефон. Сразу узнаваемый голос настаивает на замене, и отказать ему нельзя.

Прежде чем призвать тяжелую артиллерию, Ольга Константиновна действовала самостоятельно. Целыми днями крутила телефонный диск. Обычно помощи не предлагал никто, но советы давали с удовольствием.

Особенно ей приглянулось предложение написать в обком партии товарищу Казмину. Говорили, что положение у него почти как у бога. Сам не пишет, наблюдает издалека и вмешивается по мере надобности.

Вот еще один жанр советской литературы: литераторы просят начальство. Громозова жаловалась, что ее повесть рекомендовал Союз писателей, а издание даже не планируется. Можно было добавить, что книг о революции мало, но она решила, что Казьмин разберется сам.

Зато о личном Ольга Константиновна написала без обиняков. У слабовидящей много разных расходов. Зрячий отдаст рубль, а она заплатит три. Так что потеря, как минимум, две. Читатель остался без нужной книги, а автор без гонорара.

«Ждать два года я не имею возможности, так как за время работы над рукописью истратила все деньги: слепому автору надо содержать не только себя, но и секретаря. Без секретаря слепой писатель работать не может».

Свою просьбу Громозова подкрепила мнением Бонч-Бруевича. Вообще-то, на переписку ссылаться не принято, но тут не было ничего личного. Только несколько слов говорили о том, что повесть не оставила его равнодушным.

«...Бонч-Бруевич, узнав, что повести... откладываются на 2 года, посоветовал мне обратиться к Вам... В своем дружеском письме от 24 апреля 1954 года В. Д. Бонч-Бруевич говорит: «Вы пишете воистину кровью сердца своего... о тех героических временах, свидетельницей и участницей которых Вы были. Изумлен, что Ваша рукопись, так хорошо написанная, имевшая хорошие рецензии, отклонена издательством. Советую Вам обратиться в обком партии к тов. Казьмину, весьма хорошему человеку. Н. Д. Казьмину скажите, что я Вас направил к нему, и передайте от меня привет».

Вот как мало тут «от себя»: «кровью сердца», «изумлен», «хорошо». Есть оценка и в наречии «весьма». Все же «весьма хороший» — это не просто «хороший». Так Бонч устанавливал дистанцию. Предупреждал, что не до конца уверен в знакомом.

Помимо Казьмина, Громозова обратилась к Кочетову. Заканчивала она прямым обращением. Вроде как брала его за пуговицу, приближалась близко и говорила: «Всеволод Анисимович, помогите найти правильный выход».

Скорее всего, Ольга Константиновна хотела сказать что-то другое, но проговорила. «Весьма» — не то чтобы хороший, а «правильный» — не самый справедливый. Она обращалась к более опытному коллеге: подскажите, как лучше прийти к цели, а конкурентов оставить позади?

Вишенка на торте

В обращении к Казьмину Громозова ставит число: «10 июня 1954 года», а затем, словно что-то вспомнив, добавляет: «Кроме того, у меня написана маленькая детская повесть „Тайна“. Заявку на нее я подала в Лениздат 24 мая 1954 года. Ответа на нее пока нет».

Так мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку... Громозова за Бонч-Бруевича, а Бонч-Бруевич за товарища Казьмина... Из Москвы за ситуацией следит Кочетов. Он прямо не участвует, но, если что, готов вмешаться.

В Смольный Громозова писала примерно то же, что Всеволоду Анисимовичу. Долго держала себя в руках, а в конце срывалась. «Положение мое, — тут она едва не перешла на крик, — становится невыносимым».

Этот выплеск говорил о том, что не меньше книжки ее беспокоят одиночество, слепота, невозможность сделать шага без чужой помощи.

Может, товарищ Казьмин ей и в этом поможет? Возьмет над ней шефство, будет называть «дорогой Ольгой Константиновной», иногда звонить по телефону? Она ему расскажет, как сложно ей жить, а в ответ услышит что-то вроде: «Не волнуйтесь. Все будет так, как вам хочется».

Эти мечты очень похожи на ее повести. Ситуации в них повторяются. Когда не справляется пожилая героиня, ей на помощь приходят комсомольцы. Бывает и наоборот. Старший товарищ дает совет, и обстоятельства меняются к лучшему.

Жаль, что жизнь сложнее литературы. Хорошо, если вышло по писаному, но это случается редко. К тому же у Казьмина есть должностные обязанности. Они четко определяют меру его участия в судьбе просителей.

Николай Дмитриевич всегда делал то, что положено. Не больше и не меньше. Поэтому он позвонил сразу в издательство. Через пару дней курьер доставил на Песочную заключение редактора. Это обозначало, что рукопись в работе и остается кое-что уточнить.

Мы еще обсудим эти претензии, а пока вернемся в Смольный. Товарищ Казьмин отвечал за весь процесс — не только за книги, но и за тех, кто их пишет. Больше всего он благоволил к тем, кто придерживается готовых схем.

Разве не ясно, что если девять раз удавалось, то получится и в десятый? Именно этим простым правилом руководствовалось большинство литераторов.

Казьмин и в жизни предпочитал простые решения и кое в чем преуспел. Его дни проходили между кабинетом и домом. Иногда, правда, случались вылазки на футбол. Это все, что он позволял по части нарушения правил.

Прямо из Смольного Николай Дмитриевич собрался выйти на пенсию. Он уже представлял себя на дачной грядке, как вдруг его судьба изменилась. Кто-то замолвил за него словечко, и он оказался в Москве.

Такие перемещения просто так не случаются. Для него были уже готовы два пропуски на Старую площадь и в Кремль: он стал заведующим отделом школ ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета.

На новых позициях Казьмин успел отличиться. Если книги Громозовой вышли в свет, то публикацию «Жизни Арсеньева» он запретил. Досталось и пьесе Шатрова «Чистые руки». Даже скрытая цитата Дзержинского о «холодной голове, горячем сердце» его с ней не примирила.

С таким рвением можно стать министром или кем повыше, но однажды везение его оставило. Неизвестно, что было сначала — директорство в музее Ленина или неожиданно открывшаяся онкология. Как бы то ни было, на новом месте его плохо запомнили. Все это время он промаялся по больницам.

Разве это не повод задуматься над тем, насколько схемы обманчивы? Много лет его жизнь была предсказуема, а вдруг такое! В считанные недели он оказался унижен, буквально распростерт. Теперь, чтобы сделать укол, у него даже не спрашивали разрешения.

Недавно Казьмин был всемогущ, а что сейчас? Чтобы сократить объяснения, вспомним «Смерть Ивана Ильича» Толстого. В этой повести говорится о том, как, приближаясь к последнему часу, герой освобождается от своих должностей.

Одно время Громозова рассчитывала на Казьмина, но он удалялся все дальше. Сперва перебрался в Москву, затем и просто исчез с радаров. Как стало ясно из некролога в «Правде», это была не отставка, а продолжительная болезнь.

Редактор читает Громозову

Как мы знаем, Гуро не стремилась публиковаться. Она считала, что читателями, как и писателями, должны быть избранные. Опасно довериться любому, кто купит журнал. Лучше он не узнает об этом тексте, чем поймет его неправильно.

Другие футуристы тоже не верили в сегодняшний успех и надеялись, что их время придет. Когда будущее наступило, выяснилось, что их не особенно ждали. Обидно, что говорить! Ты готов дальше писать «лесенкой» и без знаков препинания, а тебе укажут на дверь.

Уезжать за границу было поздно, так что вариантов было немного. Кто-то замолчал, а самые стойкие вроде Асеева и Каменского слились с фоном: стали рядовыми советскими авторами.

В пятидесятые годы ситуация изменилась. Не то чтобы поводок был больше не нужен, но строгость поумерили. Громова это почувствовала и немного осмелела.

Редактор Гроденский тоже обновил свою палитру. Проявлялось это в разговорной интонации. Теперь замечания высказывались не директивно, а вроде как в диалоге с автором.

Отсюда прямые вопросы и обращения. Ему явно хотелось выглядеть не буквой и чербером, а литератором, дающим советы коллеге.

Кстати, Гроденский не только редактировал, но издавался сам. К двум этим работам подготовился еще в юности. Начинал воспитателем и методистом, а потом стал учителем биологии. Чтобы написать книгу «1300 ударников урожая», надо было попробовать себя на всех трех поприщах.

Единственное, что вызывает симпатию в его биографии, это то, что он дружил с Бианки и написал о нем книгу. Вряд ли любимый нами с детства автор приблизил бы к себе человека, который не чувствует природу.

Итак, редактор берет неформальный тон. Все остальное в его замечаниях как обычно. Прежде всего отмечено отсутствие горизонта: если речь о трудной дороге, как можно не сказать о том, что велит идти вперед?

«Особенно важно показать, как выросли за это время герои, — писал редактор, — и для этого в завершающей части повести надо дать какой-то итог пройденного пути (то ли в размышлениях героев, то ли в авторской реплике). Ведь они будто на гору поднялись за этот период, горизонт расширился, они многое узнали, увидели, поняли. Пока в повести показано это несколько скупо — и завершено несколько блекло — без намека на продолжение».

Так редактор — с помощью вопросительных знаков и простодушных сетований — движется по тексту. Всякий раз подчеркивает, что руководствуется не мнением начальства, а знанием ситуации.

Например, по поводу фразы «Несколько дней ходила девушка по „тетям“ и „дедушкам“, но везде ей отказывали» написано: «В этом помощь комсомола? И комсомольцев?». Гроденский опять не хочет выглядеть сухарем и чуть ли не возмущается: как вы не видите, что на смену «тетям» и «дедушкам» пришла равнодушная молодежь!

Может, это тоже «расширенное смотрение»? Как матюшинцы видели то, что справа, слева, впереди и за спиной, так редактору было открыто все. Даже о том, где ждут молодых специалистов, у него было свое мнение. «Кстати, не верю, — писал он, — что нельзя найти работу в общежитии».

Конечно, он немного наигрывает. Слишком много ему приходилось читать рукописей, сидеть на собраниях, разговаривать с авторами, чтобы входить во все тонкости. Для таких случаев у него был тон. Если говорить без ноты сомнения, ты будешь выглядеть знатоком.

В этом отличие редактора от автора. Он точно знает, что квадрат квадратный, а круг круглый. Уже не говоря о том, что все пути открыты для тех, кто хочет по ним идти. В том числе и те, что ведут в общежитие.

Так что конкретика тут ни при чем. Не проверяем же мы утверждение о том, что жизнь прекрасна, а со временем станет еще лучше. Как в приведенной фразе об общечитии, это вопрос веры.

Со всем этим Громозова согласна, но она живой человек. Поэтому ей не всегда удается соответствовать. Нет-нет, а напишет что-то не то и не так.

Все бы закончилось катастрофой, если бы редактор не вмешался. Он поднимает палец или опускает очки с переносицы, и в пошатнувшийся мир возвращается порядок.

Союзы, наречия и оговорки

Ольга Константиновна рассказывает, как в конце двадцатых ей предложили повышение. Причем не в пределах досягаемости, а в Москве. Если бы она согласилась, варианты у нее были бы не менее привлекательные, чем у товарища Казьмина.

«Я не повидалась с Надеждой Константиновной перед ее отъездом, — написала Громозова, — но в Москве она вспомнила обо мне. Года через полтора пришло официальное постановление Наркомпроса о том, что я назначаюсь заведующей Библиотечным коллектором Советского Союза. Однако, мне пришлось отказаться от приглашения Крупской».

Почему Громозова так сделала? Ответов не один, а два. Говорить прямо она не хочет, но для того и существуют союзы и наречия. Эти самые мелкие части речи редактор пропустит, а фрейдист получит пищу для размышлений.

Хотя Матюшин тут не назван, это о нем. Громозова понимала, что он не захочет жить нигде, кроме Ленинграда. Она решила, что от добра добра не ищут. Главное, что муж при ней, а в Питере у нее есть много дел.

«Я уже заведовала Петроградским отделением издательства „Коммунист“, — писала она, — и не могла уехать из Петрограда». Словом, перемены исключаются. Все «уже» у нее случилось, и это определило дальнейшую жизнь.

Если в первом ответе важно «уже», то во втором «к тому же» и «тоже»: «...вы знаете, как я люблю свое дело! — объясняет она. — Разве можно сравнить библиотечную работу с распространением книг? Ведь сейчас я могу одарить хорошей книгой человека, живущего в самом далеком, глухом, как говорил Горький, углу нашей страны... К тому же мой муж художник... Михаил Васильевич тоже увлекается своей работой».

«К тому же» и «тоже» (да еще в сочетании с «увлекается») ставят Матюшина в подчиненное положение. С этого момента начинаются сомнения. Может, зря она отказалась? Кстати, и ему Москва пошла бы на пользу. Где еще ждать внимания начальства, как не в непосредственной близости от него?

К этой теме она больше не возвращается, но волнение ее не оставляет. В одном месте она написала, что муж и жена не должны жить врозь, а в другом рассказала, как Крупская погостила у Ленина в ссылке и уехала обратно.

Другие оговорки тоже подтверждают, как все непросто. Тут даже не союзы, а нечто совсем неразличимое. Как-то Громозова сделала паузу, и помощница зафиксировала сбой ритма. Короткая фраза вошла в конфликт с длинной, но вскоре равновесие восстановилось.

Мало ли почему Ольга Константиновна задумалась? Длилось это мгновение, но стенографистка этого не пропустила.

В первом примере два ответа, а тут два вопроса. Первый связан с сестрой, руководителем психоневрологического диспансера под Вяткой: «А рассказать о ней, рассказать о человеке, который мало жил и так много сделал, — надо. Кто же напишет о ней?» А вот второй: «В 1934 году умер муж. О нем тоже необходимо написать. Но разве я,

простой книжник, могла решиться на эту работу?.. У меня даже мысли не было, что это должна сделать я».

Здесь главное — остановки. Вот она погрузилась в свои мысли, а потом двинулась дальше. Под конец отвлеклась еще раз. Оглядела свою жизнь и тяжело вздохнула.

Действительно, ох. Когда-то ее прибило к футуристам. Сперва она мало что понимала, но потом все прояснилось. Кем бы она была без Гуро и Матюшина? Как это он сказал: «Я бы ни за что на свете не поменялся ни с кем жизнью». Писать об этом она не станет, но так думать ей никто не запретит.

Киров на озере и Сталин среди ржи

Кажется, мы разобрались с текстами, а теперь надо сказать о другой ее ипостаси. Слепота не позволяла ей рисовать, но она мысленно возвращалась к живописи. В одной из своих книг даже описала идеальную картину.

Вот оно, искусство настоящего и будущего. Ни косоногого и кривого, ни квадратов и треугольников. В центре — сразу узнаваемый человек. Говоря словами песни, он «проходит как хозяин необъятной родины своей».

«Задумала картину о Кирове. Все последнее время она стоит передо мной. Чувствую, внутренне вижу каждую деталь, мечтаю на полотне запечатлеть мысль Сергея Мироновича: как хочется жить на старой земле, переделанной нами!

Вижу мыс, далеко выдающийся в большое озеро. Кончается он каменной скалой. Окруженная с трех сторон водою скала стоит, как маяк, на сине-зеленой глади озера. Каменистая подпочва, казалось, ничего не родит, кроме мелкого кустарника. Это так и было прежде. Теперь, глазам поверить трудно, — золотое поле ржи спускается с подножья скалы и уходит далеко. Это — „переделанная нами земля“. Вот здесь, на вершине, нарисовать Кирова с его солнечной улыбкой».

Такой парадный портрет. Все служит Его возвеличиванию. Даже природа существует не сама по себе, а для того, чтобы обрамить главную фигуру.

Помните, как она описывала распространение ленинских идей? Сперва подхватил один, потом другой... Так произошло и с вымечтанной ею картиной.

Это могло случиться и без ее книги. Скорее все же Федор Шурпин прочел «Песню о жизни» и вдохновился приведенным описанием.

Художник заменил озеро полем ржи, а в центр поставил другого героя. «Утро нашей родины» теперь начиналось со Сталина. На лице вождя была не «солнечная улыбка», а легкая усталость. Все говорило о том, что сделано много, но еще больше предстоит.

Можно было бы не вспоминать эту подсказку, если бы не «тайна происхождения». Шурпин совпал с Громозовой не только в середине, но и в начале пути. Футуризма в его жизни не случилось, но зато была учеба во ВХУТЕМАСе у Фалька и Штеренберга.

Когда Федор понял, что учителя его только спутают, он свернул в сторону. Его сокурсники принаравливались к новым задачам, а он уже действовал. Если хочешь отличаться, надо написать что-то вроде этого «Утра».

Существует байка о режиссере, который распределение ролей начинал так: «Наш грузовичок движется в сторону Государственной премии. Кто сядет в грузовичок?» Ошибся он только раз. Сказал о Ленинской, а ему опять дали Государственную.

Шурпину тоже досталась Государственная, а это, как говорил его коллега-лауреат, уже миллион. Правда, успех был коротким. Через пять лет умер его герой, и ему пришлось снова меняться. Он уже не ставил ни на кого конкретно, а сосредоточился на неизвестных людях. Написал «Трудовые ночи», «В гостях у колхозника» и другие холсты.

Штеренберг не дожил до завершения «Сталина во ржи», но Фальк безусловно видел картину. Если не на выставках, то на открытках. Оценил ли он как-то работу ученика — или только пожал плечами? Больно типичная вышла история. Многие тогда превращали реальность в миф.

Впрочем, что нам Шурпин, когда у нас есть Громозова. Представьте ствол, по которому прошелся рубанок, и это будет ее проза. Да и фрукты на ее акварелях кажутся крашеными. Ощущение такое, что если их надкусить, во рту останется деревянный вкус.

Интересно, что бы сказали на это Гуро и Матюшин? Вопрос совсем не фантастический. Если можно разговаривать с мертвыми, почему бы умершим не поинтересоваться, что без них делают живые.

Вот бывшие обитатели Песочной из своего времени заглядывают в чужое. Удивляются, как поздно начала Ольга. Неужто это ты, «пушковатый скромный луч мой — Олли»? В тяжеловесных фразах нет и следа прежней легкости.

Да и откуда это в ней? Прежде Громозова хорошо готовила, а сложные смеси вроде живописи ей были неинтересны. Теперь она насочиняла такого, что ее фото можно помещать на обложку «Огонька».

Кажется, к такому будущему Ольга Константиновна примеривалась. Существует с десяток снимков вполне представительных. Где бы они ни были сделаны — на даче, в парке или на улице, — у нее на груди орден Трудового Красного Знамени.

Человек с орденом отличается от того, у кого ордена нет. Спина вытягивается, а взгляд устремляется вдаль... Мы-то знаем, что у Громозовой плохое зрение, но читатель журнала может подумать, что она видит дальше всех.

Громозова и непроливайки

Помните, мы говорили о «к тому же» и «тоже»? В разных контекстах эти частности приобретают новый смысл. Так было и сейчас. Случай с заводом непроливаек оказался историей о ее мечтах.

Казалось бы, у нее хватает собеседников. Есть Прокофьев и Кочетов, да мало ли кто еще! Правда, с ними Громозова не чувствует себя на равных. Вряд ли она указывала им на ошибки и объясняла, как их исправить.

Ольга Константиновна перебрала много вариантов, прежде чем перед ней встал вопрос: может, тогда завод непроливаек? Она станет для него своего рода мерой. Будет определять, что получилось, а над чем надо поработать еще.

Теперь понимаете, что такое литературоцентризм? Сперва представляешь сюжет, а потом становишься его героем. Вроде как попадаешь в собственный текст.

Итак, коллектив хороший, но не очень опытный. Слабовидящая писательница жалуется на чернилницы. Как бы добиться соответствия названию? Как-то неправильно выходит: она, нездоровая и немолодая, пишет книги, а непроливайки со своими обязанностями не справляются.

Даже на нашей памяти Громозова так делала во второй раз. Сперва пыталась вызвать на разговор Казьмина. Сейчас тоже могло возникнуть нечто неформальное. Сперва они обсудят недоработки, а потом перейдут на более общие темы.

Как тут опять не вспомнить «читателя, советчика, врача»? Кто как не она должна разобраться в их проблемах? Впрочем, сперва они должны увидеть, что за волнением за их продукцию встает вся ее жизнь.

«Я потеряла зрение в блокаду, — пишет она коллективу завода. — Быть неработоспособной в такое время, когда каждый на учете, для советского человека невозмож-

но. Я научилась писать не видя. Сначала работала простой вставочкой. Но попадать в чернильницу на ощупь — это очень сложно. Но когда мне дали вечное перо и научили накачивать чернила, я сразу почувствовала огромное облегчение в работе...»

Уже сказано, что Громозова чувствовала себя героиней повести. В ней она опишет то, что случилось, и то, что вскоре произойдет. Ей представлялось, как незнакомый голос в трубке сбивчиво объясняет, что ее письмо прочли и хотели бы обсудить.

Так Громозова станет другом завода. Если происходят какие-то перемены, непременно обращаются к ней. Она не только одобряет или не одобряет, но делится своими мыслями. Предлагает синее сделать зеленым, а гладкое ребристым.

С началом повести все понятно, а теперь надо придумать хеппи-энд. Ну конечно! Как мы помним, на стене у Громозовой — копия работы Бродского. Ленин, склонившись над рукописью, пишет что-то перьевой ручкой.

Художник — ученик Репина, представитель реалистической школы, а непроливайку забыл. Может, она под газетой на столе? Где-то посредине лист немного приподнялся.

Если эта картина войдет в текст, надо будет ее описать. Хотя ничего не происходит, ощущается важность момента. Даже два кресла в белых чехлах исполнены небывотой значительности.

Теперь можно возвращаться на землю. Пора понять, что воображение ее обманывало. Где вы видели, чтобы рабочие внимали писателям? Не потому ли так получается, что никаких надежд они не связывают с литературой?

Вывод из этого не оптимистический. Возможно, директор позвонит. Вряд ли это будет предложением дружбы. Он убедится, что она не станет жаловаться дальше, и исчезнет навсегда.

Так что ничего не изменится. Тысячам владельцам непроливаек придется мириться с тем, что руки у них постоянно в чернилах.

Да и в прочей ее жизни все будет по-прежнему. Как тут не усомниться в том, что литература отражает реальность? Если писать все как есть, то читателя это вряд ли заинтересует.

Все это слышится в конце письма. Громозова начала бодро, а закончила сухо, словно сжав губы. Подписалась не «Ваша» и не «с искренним уважением», а «член Союза писателей СССР».

Таково расстояние между верой и разочарованием. Между воодушевленным «Почему нет?» и скептическим «Все хорошее, включая непроливайки, осталось в прошлом и уже не повторится».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Екатерина Гуро и магнитофон

Вы помните, что это повествование мы начали в Усукиркко. Здесь проводили время две сестры Гуро и Громозова. Больше чем через пятьдесят лет из тех, кто собирался у Матюшиных, не осталось почти никого. Только Екатерина Генриховна и Ольга Константиновна.

Прожить такое столетие — сомнительная радость. Старшая Гуро знает Хрущева и Брежнева, но куда лучше Хлебникова и Крученых. Власти для нее на одно лицо, но людей своего прошлого она не спутает ни с кем.

Зато Екатерине Генриховне известно главное правило нашего века. Пусть время тебя ломает, а ты делаешь то, что следует. Возможно, в этом упрямстве — секрет ее долголетия.

Итоги ее жизни складываются из многочисленных испытаний и смертей. Уже нет на свете сестры и многих друзей. Умерли мужья — первый, архитектор и инженер Александр Эрлих и второй, литератор Натан Венгров.

Последний муж был на двадцать лет ее младше, но скончался в шестьдесят втором году, в шестьдесят восемь лет.

Поначалу Венгров тяготел к имажинистам. «Повианьи глаза голодные / запутались в твоём чулке» — так начинается его книга восемнадцатого года. Время менялось, и задачи становились скромнее. По крайней мере, о том, чтобы выделиться, речь не шла. Он «делал как все»: писал для детей, выпустил монографию о Николае Островском. Отличился как организатор: создал Детгиз.

Это известный нам путь отступления. Сперва громогласно о себе заявляешь, много на себя берешь, а потом ни на что не претендуешь. Если не считать значительных гонимых и ощущения временной неуязвимости.

Старшая Гуро тоже не задержалась среди футуристов. После того как это течение перестало быть их семейным делом, проза ее не интересовала. Она ушла не в литературоведение или поэзию для детей, а переключилась на переводы.

Почему ее выбор пал на Джека Лондона? Может, причина в брутальности его героев? Только в товарищах сестры она находила что-то такое. Все прочие были хрупкие барышни и погруженные в свои мысли мужчины.

Одно дело говорить словами американского автора, а другое от себя. Писать прозу уже не имело смысла, и она выражала себя в письмах. Оказалось, на двух страницах крупным почерком можно сказать не меньше, чем в рассказе.

О том, что написать письмо не проще, чем что-то художественное, говорят переносы и стрелочки. Можно было перебеливать исправленное, но она хотела показать работу над текстом.

Сперва старшая Гуро сделала так, а потом так. Затем еще раз перечитала и абзацы переставила... Даже в этом не претендующем на известность жанре она оставалась автором. Человеком, который, прежде чем поставить точку, переписывает несколько раз.

В журналах ты обращаешься к неизвестному адресату. Может, тебя прочтут, а может, нет. Зато переписка — всегда диалог. Сразу чувствуешь, как ниточка натягивается и подрагивает в руке.

Да и путь это прямой, а не окольный. В печать попадаешь через редактора, а здесь посредников нет. Как в разговоре с глазу на глаз, многое определяют междометия и паузы.

Когда Екатерина Генриховна пишет подруге юности, она общается со своим прошлым. Не менее важно поговорить с будущим, и однажды это произошло. Адресат был неизвестен, но она не устала и вступила с ним в контакт.

Чем-то это напоминало спиритические сеансы, но было и отличие. Сейчас передача мыслей на расстоянии совершалась при помощи магнитофона «Яуза-5».

Не будем спешить и сперва скажем о госте. В Московском университете преподавал Виктор Дмитриевич Дувакин. Так бы продолжалось еще долго, если бы на суде Синявского и Даниэля он не выступил как свидетель защиты.

Лучше бы ему не высываться. Читаешь литературу начала века — оставайся в этих рамках! Дувакин покинул времена Блока и стал участником самого последнего этапа русской словесности.

Вот почему контакты с молодежью ему заменили общением со стариками. Этот возраст не так подвержен влиянию. Если тебе девяносто, то, по крайней мере, лет семьдесят твои взгляды не меняются.

Теперь он назывался «старшим научным сотрудником». Ему поручалось фиксировать «устную историю», записывать на пленку свидетельства «последних из могикан».

Почему он предпочел магнитофон бумаге? Вряд ли по стенограмме можно увидеть вспоминающего, а вместе с ним того, с кем он когда-то разговаривал.

Вот история человека, который беседовал с Блоком. По его голосу представляешь взволнованного гимназиста и ощущаешь высоту его собеседника. Состояния этих двоих противоположны, и потому диалога не выходит.

За такими людьми охотился Дувакин. Как узнает, что есть кто-то пожилой и многознающий, и сразу тащит к нему магнитофон.

Как он мог пропустить Екатерину Генриховну? Это был его контингент. Возраст за девяносто, интонации нетвердые, события и эпохи путаются. Спрашиваешь: «Это произошло до революции или после?», а она отвечает дипломатическим: «Как сказать? Непонятно, когда революция началась, а когда закончилась».

Правда, существовали темы настолько принципиальные, что Екатерина Генриховна переставала шарить во тьме. Она могла ошибиться в месяце и годе, но ее позиция не вызывала сомнений.

Например, она рассказывает о знакомстве с Лениным. После тюрьмы он отогрелся в семье Мартова. Много спал, хорошо ел. Готовился с новыми силами вступить в борьбу за дело рабочего класса.

Так вот Дувакин спрашивает: «Ну и как вам Владимир Ильич?», а она, не раздумывая, отвечает, что он ей не понравился: «Сразу было видно, что человек делает карьеру».

Даже защитник Синявского и Даниэля смутился. Двадцатый съезд поколебал Сталина, но Ленин сохранил свое положение. Казалось, он вечно будет стоять, вытянув руку вперед.

Екатерина Генриховна смутилась своих слов и переменила тему. Впрочем, это лишь на первый взгляд. Логика была не причинно-следственная, а более высокого порядка.

В общем-то, все тюрьмы одинаковые. Сразу после истории о Ленине и Мартове ей вспомнилось, как закончился ее собственный срок.

— Мне сказали: «Свободна, уходите», — что я сделала? Я свернула в пакетик то, что на мне было, там какую-то рубаху, панталоны, и с этим вышла на улицу.

Какой год ни возьми, по сути, все то же. Поэтому в одной фразе Ленин заключенный, а в другой она. Вот уж действительно: «Непонятно, когда революция началась, а когда закончилась».

Вот что Екатерина Генриховна рассказала Дувакину, а заодно потомкам. Эта пленка и есть ее «заветная лира». Если даже ее не станет, бобины все равно будут крутиться, а голос звучать.

Рядом с ней сын Генрих, или, как его называют дома, Готик. Ему больше пятидесяти, в войну он смело сражался в дивизионной разведке, освобождал европейские страны.

В мирной жизни Генрих — старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников и главный куратор своей матери. Когда она начинает путаться, он направляет ее в нужную сторону.

Во Второй мировой Готик победил, а тут постоянно проигрывает. Мать противится его власти над собой. Сложно быть твердой в таком возрасте, но она держится. Слова о Ленине мы приводили, а теперь вспомним ее борьбу за право жить одной.

Пусть ее дедушка Степан Андреевич бежал от революции, но независимость у французов в крови. Остаться в России значило сохранить позиции. Иностранец в русской столице на все смотрит немного со стороны.

Вот и внучка добивалась самостоятельности. В юности она этим чуть ли не бравировала. Работала в подполье и держала нелегальщину дома. Все закончилось плохо.

Отец нашел листовки и буквально затосковал. Заперся в кабинете и весь день из него не выходил.

Требовать объяснений в их семье было не принято. Если дочка ввязалась во что-то нехорошее, то самое лучшее подождать. Пусть пройдет этот путь до конца и сама сделает выводы.

Стремление к самостоятельности не прошло с годами. Об этом она рассказала не на магнитофон, а в письме Громозовой. Будущему это неважно, а старая знакомая сможет ее поддержать.

Екатерина Генриховна постоянно спорит с Готиком. Сын напоминает, сколько ей лет, а она называет свой возраст «так называемой старостью». Стоит ей уступить, и он заставит ее съехаться. Тогда о свободе придется мечтать.

Сложно это все. Как видно, независимость в ней одной. Вряд ли в ее скромной однушке. Тут она чувствует себя как в «одиночном заключении», но ни за что не согласится жить у родственников.

Главное условие самодостаточности — дистанция. То самое, что ее дед обрел в России. Некоторая отстраненность позволила ему понимать ситуацию, но не входить в нее до конца.

Екатерина Генриховна явно чувствует свое право. Находишься она ближе к детям, она была бы дипломатичней, но сейчас не хочет ничего приукрашивать.

Хорошо, Готик и его сестра этого не прочли. Так бы они узнали, что «дети — это жестокая и, может быть, ненужная вещь» и ей «приходится расплачиваться за свое неистовое материнство». Затем говорится о том, что дочка «кончила Акад. Худ., архитектор, много работала, получает хорошую пенсию, ну а жизнь — сплошная маета». Сын тоже ее не радует: «Готик неудачно женился и не захочет кончить, уйти не сможет. Это вроде гипноза».

У каждого должна быть жилетка, в которую он может поплакать. Так продолжается много месяцев. Пожилые дамы выговорятся и успокоятся. Все же ситуация небезнадежна, если есть с кем ее обсудить.

После высказанных ею неприятных слов Екатерина Генриховна переходит к мысли о гармонии. Для этого есть слова и интонации, позаимствованные у автора «Шарманки».

«Будь здорова, бодра, как можно больше думай о солнечных проталинках, сизых облаках и маленьких комочках — воробьях, которые без меня соскучились и голодны».

Словом, не сосредотачивайся на быте. Будь как Елена Гуро. Успокаивай себя тем, что одно течет, другое растет, а третье чирикает.

Немного отлегло? Если нет, воспользуйся другим способом. Купи магнитофон «Яуза-5». Он поможет отвлечься от настоящего и унести в эмпирей.

Екатерина Генриховна уверена, что эмпиреи существуют. В десятилетия обходились без доказательств, а в век технического прогресса нужна экспертиза. Она обратилась к Готику, благо он физик, а его наука теперь признает то, чего, казалось бы, нет.

«Хотелось послать тебе хоть кусочек того настоящего, большого, что пронесло меня через последние трудные годы моих 92-х.

Я, конечно, много писала, но — дикое. Про основную мысль моего так называемого Credo Готик — физик говорит, что сейчас многие физики ходят вокруг мысли о реальной, существенной связи людей, то есть человеческого сознания. Это Credo пошлю тебе, хотя сейчас оно мне кажется совсем детским. Вероятно, надо было подойти через беллетристику, через образы. Но ведь если такая связь все-таки существует, то ведь смерти нет и не может быть. Вот мое главное: в смерть как в уничтожение я абсолютно не верю, и чем ближе она подходит, тем нелепее кажется уничтожение сознания».

Не пропустите того, что это достигается «через беллетристику, через образы». Это то, чем занималась Елена. Впрочем, писать, как сестра, у нее не вышло, и она выбрала другой путь.

Интонация — это что-то вроде пылицы. Даже отпечатки пальцев могут сказать меньше. Как в примере с собеседником Блока, по понижениям и повышением голоса мы представляем участников разговора.

Потом так будут делать разные люди. Пока она, подобно изобретателям вакцин, экспериментирует на себе. Хорошо, если получится, а если нет, она предостережет других от ошибок.

«В твоём окружении, — пишет Екатерина Генриховна, — вероятно, найдется „Яуза-5“. Меня увлекает сейчас „язык интонаций“ (единственный, между прочим, возможный сейчас общий язык)».

Казалось бы, она должна взять для записи кого-то из своего прошлого. Может, даже сестру. Тем удивительней ее выбор. Автор был младше ее сына и только недавно получил известность.

«Мама „шлифует“ стихи Р. Рождественского, — пишет Генрих Гуро, — скоро буду записывать пленку в ее исполнении».

Не лучше ли обратиться к чему-то классическому, легко ложающемуся на язык, а эти тексты напоминают бег с препятствиями. Каково пожилой женщине взбираться по «лесенкам»? Да и пафоса тут слишком много. Только придешь в себя и опять напрягаешь голос.

Видно, Екатерина Генриховна считала, что Рождественский — это Маяковский сегодня. Конечно, энергия не та, да и лишних слов хватает. Знакомый ее юности обращался к «городу и миру», а его последователь — к трибунам «Лужников».

Если бы у старшей Гуро был такой же редакторский опыт, как у Громозовой, она бы многое вычеркнула. Впрочем, актер (а сейчас она актриса) должен так прожить текст, чтобы необходимым казалось все.

Кстати, об актерской задаче и «общем языке». К интонациям поэта прибавляются ее собственные, к молодости — старость, к настоящему — прошлое. Два человека, проживших непохожие жизни, объединяются для того, чтобы сказать что-то одно.

Даже имя и фамилия этого автора соединяют несоединимое. Они читаются как монострока — строчка из одного предложения. В «Роберте» слышно новомодное, а в «Рождественском» — уходящее в глубь веков.

Такие «гремучие смеси» тогда были в моде. Физиков сравнивали с лириками и находили, что они тоже поэты. Так что старшая Гуро со своими текстами, идеями и «Яузой-5» все поняла правильно.

Так уже было в нашей истории. В начале века тоже уповали на технику. Да и как могло быть иначе? То говоришь по телефону, то наблюдаешь полеты бипланов, то едешь на мотоцикле. Все эти изобретения до неузнаваемости изменили жизнь.

При этом от веры в необычайное, присущей Серебряному веку, никто не отказывался. Так Матюшин увлекался научными открытиями — и спиритизмом. Находил общее между беседами с мертвыми — и существованием беспроводных приемников. Когда видишь возможности радио, начинаешь верить, что жизнь не кончается со смертью.

Ученики правильно понимали Михаила Васильевича. Когда Валида Делаacroa решила его порадовать, то подарила ему не книгу (все книги у него есть), не картину (он рисует лучше всех), а собственноручно собранный детекторный приемник.

Сколько раз Матюшин говорил о «четвертом измерении»! О том, что три доступны всем, а четвертое только художникам. Валида исповедовала эту веру, и приемник был ее подтверждением. Поворачиваешь ручку и убеждаешься, что для «расширенного слушания», как для «расширенного смотрения», расстояний нет.

Из учеников Михаила Васильевича не было никого, кто был бы так близок к разному рода механизмам. Делаacroа не только первая в мире женщина-радистка, но и первая радистка-художница. Ее картины говорили о ее пристрастиях. От моря тут смазанные краски, а от техники устремленность за границы реальности.

Можно вообразить, как Валида смотрит работу Матюшина, которую надвое разделил пучок линий, и представляет радиоволны. То и другое есть излучение. В одном случае мы ничего не чувствуем, а в другом чуть ли не обжигаемся красным, синим и зеленым.

Рисовать, как учитель, она не умеет, а приемники у нее выходят отличные. Берешь необходимые детали, соединяешь в нужном порядке, и откуда-то из глубины через помехи пробиваются голоса.

«Детектор, — пишет Валида Громозовой, — состоял из кристалла Вуда и стальной пружинки — очень неустойчивое соединение. Пружинка часто соскакивала — звук терялся. Слышимость была плохая, усилителей тогда не знали... Радиотелеграф выполнял служебные функции — по азбуке Морзе велись передачи междугородней связи, а также передачи сообщений РОСТА (ныне ТАСС). РОСТА передавались главным образом по ночам, когда слышимость лучше, чем днем».

После того как мы представили ученицу Михаила Васильевича, вообразим его самого. Время, как она нам подсказала, ночь. Он существует в мире четко прочерченных границ, но одним движением их преодолевает.

Может, радио подражает художникам? По крайней мере, всенаходимость — это про них и про приемник. Да и «четвертое измерение» про искусство и технику. В одном случае вера подтверждена уверенностью, а в другом наличием «магнитных манжет».

На эту историю можно посмотреть с другой стороны. С той, на которой находятся не Матюшин и его ученица, а Громозова... На одном фото она смотрит на «Язу-5», и на ее лице написано изумление. Возможно, сейчас ей стало понятно — немного изменим формулу «оттепели», — что магнитофон больше, чем магнитофон.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Харджиев и осада вдовы

Как уже сказано, деятелей авангарда стали упоминать. В основном в разговорах, но порой и в печати. Пока было неясно, к чему это приведет. Кто-то ждал теплой погоды, но чаще предрекали заморозки.

Как бы то ни было, оттепель продолжалась. Из тени выходили не только поэты и художники, но, к примеру, коллекционеры левой живописи. Этих людей было немного, но особенно выделялся Николай Харджиев. В это время его имя звучало так же гордо, как «Дудинцев» или «Шаламов».

Нового автора надо читать, а с коллекционером лучше разговаривать. Понятно, это удавалось не всем. Приходилось использовать испорченный телефон. Тогда его мысли доходили до публики не в самой первой редакции.

Вскоре вся Москва знала, чем Харджиев потчует гостей. Стихи Хлебникова собиратель называл «божественными», а его самого «Гомером». Затем разговор перешел к Малевичу и Матюшину. Когда он рассказывал об их женах и детях, ему вспоминалась Громозова.

Под финал хозяин доставал кое-какие раритеты. Так сказать, выкладывал карты на стол. Этих сокровищ хватило бы на европейский музей. Впрочем, дома эти вещи выглядели не так, как в экспозиции. Они говорили не только о себе и своем авторе, но и о том, кто их сохранил.

Кто такой был Харджиев? Не великий ученый, не большой писатель, но точно провидец. Его жизнь только начиналась, а он уже знал, что эпоха заканчивается. Надо торопиться сберечь то, что нам от нее осталось.

Понятно, когда так чувствуют пожилые, но в конце двадцатых это ощущали тридцатилетние. Многих из них потянуло на мемуары. Мариенгоф написал о Есенине, а Бенедикт Лифшиц о своей жизни рядом с футуристами.

Харджиеву тоже было что вспомнить, но он занялся собирательством. Это занятие имело в виду далекую перспективу. Забвение кончится, и новая жизнь авангарда начнется с его квартиры. Чтобы иметь на это право, его коллекция должна быть как можно более представительной.

Прежде чем перейти к картинам, следовало накопить знакомства. Действовал Николай Иванович всегда одинаково. Левых в это время перестали хвалить и потому его слушали с благодарностью. После таких визитов работа за мольбертом шла веселей.

Платить ему было нечем, но его расположенность была дороже денег. Особенно ценилось обещание, что мрачные времена скоро закончатся и это искусство попадет в музей.

Еще Харджиев писал статьи и книги, и тут тоже не обходилось без лукавства. Все это, конечно, ради главного. Обычно его спасал Маяковский. Его большая фигура защищала Гончарову, Родченко и Гуро.

Все удавалось до того момента, пока художники были живы. Вскоре они стали уходить, и их живопись переходила к вдовам. Договориться с ними было сложнее. Мужья соглашались на оплату комплиментами, а наследникам требовалось нечто повесомей.

Это осложняло осуществление плана, но у него была великая идея, и это многое оправдывало. Порой «цель» и «средства» настолько противоречили, что даже не хочется вспоминать. Он просил документы, чтобы сделать копии, и не возвращал их владельцам. То же происходило с картинами. Он их брал на хранение, а потом не отдавал назад.

Кое-кто смотрел на него косо, но он старался не для них, а для будущего. Впрочем, даже для такого поведения есть лимит. Обманул раз, а потом действуй по правилам. Тем более что для этого вскоре появились возможности.

После того как музей Маяковского привлек его к сотрудничеству, он стал расплачиваться выставками.

Это было единственное место в Москве, где можно было показывать авангардистов. Благо они приятельствовали с бывшим жильцом дома, а сейчас главным героем музея. Плохо, что очередь продвигалась медленно. Слишком много забытых талантов, а месяцев только двенадцать.

Разумеется, Харджиев не мыслил свою коллекцию без Гуро и Матюшина. Кое-что ему подарил Михаил Васильевич, чьи мемуары он редактировал, но теперь он должен был иметь дело с вдовой.

Прежде Николай Иванович не воспринимал Громозову отдельно от мужа. Как говорит герой Чехова: «Жена есть жена». Он вроде как прощал ему эти отношения. Исходил при этом из той простой мысли, что вдвоем лучше, чем одному.

Конечно, Харджиев видел ее рисунки и читал ее книжки. Впрочем, это не повод отказываться от цели. Впереди выставки Гуро и Матюшина, да и в коллекции есть проблемы. Так что он без нее не обойдется.

Прежде чем вы узнаете, как это ему удалось, сразу скажем, что осада привела к победе. В конце шестидесят первого года Громозова получила два пригласительных билета. В них сообщалось, что 28–30 декабря состоится выставка Матюшина и Филонова, а 20 января вечер памяти Матюшина.

Вроде бы и вспомнили художников, но озаботились тем, чтобы обойтись без шума. Поэтому экспозиции отвели три дня. Вечер памяти назначили на другой месяц, чтобы одно не усиливало реакцию на другое.

На билетах стояла цифра четыре, но это был номер выставки, а не отсылка к четвертому измерению. Самое обидное, как называли художников. В билетах значилось: «Художники — оформители произведений Маяковского. Михаил Васильевич Матюшин. Павел Николаевич Филонов».

Это тоже из разряда лавирования. Что взять с оформителей? Их роль не самостоятельная, а разъясняющая и растолковывающая.

Вот это Ольга Константиновна понимала. Она сама прибегала к этой тактике. Если нельзя так, можно попробовать сяк... Дело ведь не в том, как это называется, а в том, что собой представляет.

Обычно тот, кто сам легко обманывает, такую возможность для себя исключает. Наверное, поэтому Громозова не увидела подвоха. В иронии Николая Ивановича было что-то вроде подмигивания. Он словно говорил: надеюсь, вы поняли, что это несерьезно?

Переписка

В письмах Николай Иванович шутит напропалую. Называет себя Чертило и пишет от его имени. Маска освобождает его от ответственности. Если это игра, то ему позволено все.

Кстати, этот прием Харджиев подглядел у Громозовой. Как мы помним, дневник она передала некой Евгении Михайловне. Так она подстраховывалась. Если у кого-то возникнет недовольство, она переадресует его героине.

«Дорогая Ольга Константиновна, — писал Харджиев-Чертило, — посылаю вам эту бумажную птичку с наилучшими пожеланиями и с вестью о том, что в будущем году мне, быть может, удастся отметить годовщину нашего дорогого и замечательного Михаила Васильевича. Как будто мне придется (в сентябре) приехать в Ленинград на несколько дней... буду рад наговориться с Вами». Ну и в конце: «Ваш собственный Чертило». Размашистый автограф сопровождается комментарием: «Подпись лихая и с хвостиком».

Конечно, хвостик — не закорючка или волнистая линия, а то, что сразу выдает черта. Так что Чертило с полным на то правом прибавляет жара. Чертовски радуется полученному письму.

«Ваше письмо так меня обрадовало, что из угрюмого, пожилого, „утомленного высшим образованием“ Чертилы я превратился в веселенького чертика, родственного хлебниковскому».

Пароли, как видите, прежние. Кроме Хлебникова, назван Лисицкий, «лучший наш полиграфист, друг и ученик пана Казимира». Заканчивается письмо благодарностью «за... прекрасную способность насыщать добрые волны даже издалека».

Сразу возникает нехорошая мысль. Что если эти волны принесли Харджиеву работу Гуро? Как тут не ощутишь себя чертом, который, как писал его любимый поэт, «намного добрее самого лучшего человека».

Только два или три раза мы увидели Николая Ивановича серьезным. Существуют темы и ситуации, о которых не скажешь от чужого имени. Больно это для него важно.

Лет Николаю Ивановичу около шестидесяти, но в последнее время он зачастил на кладбище. Уходят, уходят друзья. Каждая утрата говорит о том, что он тоже стоит в очереди, и она когда-нибудь подойдет.

Вот он сообщает Громозовой, что умирает «мой старый друг Гриц. Нашей дружбе — больше 30 лет. Он мой соавтор по первой статье о Гуро». А это узнает о смерти Бори-

са Эндера: «Не перестаю грустить о Борисе — его последние работы самые лучшие. Как художник он был в полной силе. И, знаете, он был самым юным в своей семье — без него она оказалась такой же благоразумной как другие семьи. Бедный Бися, большой художник! Я счастлив, что сказал это ему живому».

Настоящее лицо Харджиева промелькнуло, и он опять развлекает Громозову. От имени Чертило едва не показывает фокусы и запускает фейерверки... Казалось бы, это представление надолго, но в семидесятом году переписка оборвалась. Как видно, у него появились другие, более важные, дела.

Наверное, Громозова посетовала на неблагоприятность, но ее больше волновали собственные недуги. Вечно веселый Харджиев ее изрядно развлекал, но сейчас ей было не до того.

Под рукой у нее была тетрадка, которую прежде она читала как чужую историю, а теперь как свою. Это был дневник последних месяцев Гуро. Что значат пустые страницы в конце, она знала и мысленно к этому готовилась.

Можно обвинить Харджиева в чрезмерной практичности. Это так и не так. Для Громозовой подведение итогов началось с ощущения близкого конца, а для него с «оттепели». В это время многие иначе посмотрели на свою жизнь.

Вот о чем бессонными ночами Николай Иванович вел разговоры с собой. Он ничего не забыл, но во многом стал сомневаться. Все же одно дело, когда смотришь вблизи, а другое — со стороны.

Столько раз он лукавил, но сейчас ему хотелось точности. Следовательно, надо ехать в Питер в архив. Семь раз отмеряешь, один отрезаешь. Подтверждаешь свои мысли или отказываешься от них.

За годы литературной работы Харджиев не нашел более точного способа установления истины. Если прежде он уточнял чужие обстоятельства, то теперь эту меру применял к себе.

Уже много лет Николай Иванович — герой многих архивов, а значит, историческое лицо. Подходишь к каталогу и быстро находишь свою фамилию. Как сказал его хороший знакомый: «Вы на Пе, а я на Эм». Или в данном случае «на Ха».

В этом и есть суть таких хранилищ. Они подтверждают, что твоя жизнь не развеялась по ветру, а отложилась в разных бумагах, прочертила ясный след.

Как уже сказано, внутренние требования связаны с внешними обстоятельствами. Государство разбиралось в своем прошлом, а отдельный человек — в своем. Ему, человеку, было проще, чем всем вместе. Если он и должен был перед кем отчитываться, то только перед собой.

Задача самообследования едва ли не тайная. Кто, кроме нас самих, знает о наших угрызениях? Да и о том, что мы считаем миссией, как-то странно говорить вслух.

Если и признаешься, то по неосторожности. Проговоришься. Причем по постороннему поводу. Так Харджиев обсуждал свою работу со знакомой, а вдруг сказал: «Это нужно не мне и не вам, а русской культуре».

Харджиев наедине с собой

Театр начинается с вешалки, а архив с анкеты, в которой ты обозначаешь цель посещения. Харджиев написал, что документы ему нужны «для работы». Это следовало понимать не буквально. Речь шла не о сроках сдачи статьи, а о скрытой от посторонних работе над собой.

Требования в таких заведениях одинаковые для всех. Громко не разговаривай, лишний раз не касайся документов. Уткнулся в бумаги и, пока все не помотришь, поставь не вставать.

Не такой у Харджиева характер, чтобы подчиняться. Тем более что эти документы говорили о нем. Странно, погружаясь в свое прошлое, вести себя тихо, как первокурсник на уроке.

Все это придавало решительности. Обнаружив что-то важное, Харджиев писал на полях: «Согласен» или «Все было иначе». Замечание удостоверялось подписью. Иногда с тем самым хвостиком, о котором он сообщал Громозовой.

После его комментариев рукопись из монолога превращалась в диалог. Следовательно, двадцатые продолжались. Так будет до тех пор, пока есть люди, для которых эти годы не история, а собственная жизнь.

Как видите, Николай Иванович верен себе. Прошлое оставалось для него настоящим. Да и как относиться к нему иначе, если многие из давних событий он осознал только сейчас?

Харджиева можно понять, а значит, оправдать, но в архиве на это смотрят иначе. Столь активных посетителей карают лишением билета и права работы.

Сейчас за залом тоже приглядывали, но почему-то обошлось. Возможно, решили, что пусть себе пишет. Если такой человек что-то добавит к документу, его ценность только возрастет.

Перечитывал Николай Иванович и свои письма Громозовой, но не оставил комментариев. Ведь и без того все ясно. Он постоянно дает понять, для чего затеял игру.

О некоторых выводах, сделанных по результатам поездок в Питер, он рассказал югославскому изданию. В восемьдесят пятом году такие сюжеты могли заинтересовать «Огонек», но он не изменил привычке. Как всегда, действовал не прямо, а в обход.

Журналист попался любопытный, но не очень знакомый с темой. Последнее Николая Ивановича не волновало. Если понадобится, он сам себе задаст вопрос и сам на него ответит.

Помните, как он писал на полях документов: «Все было иначе»? Настал момент, когда он может говорить все. Прямо называть белое белым, а черное черным.

Впрочем, тон был узнаваемый. Один разговор с ним его знакомая записала на пленку. Из него следовало, что Харджиев разделял мир на гениев — и всех остальных. Среди последних преобладали «аферисты». Они так и норовили совершить «идиотство» и навредить кому-то из его подопечных.

В «проходимцы» попадали разные люди. Например, Надежде Мандельштам Харджиев отказывал во всем. Когда говорили, что она пронесла в памяти стихи мужа, он утверждал, что не надо было этого делать. Зачем умножать число ошибок и добавлять работы текстологам?

С Громозовой у него была своя история. Как видно, дело в переписке, о которой он не сказал югославу. Скорее всего, ему хотелось объяснить себе, почему действовал так, а потом наоборот.

Объяснение ясности не прибавляет. Сперва Николай Иванович сказал, что это понял после ее смерти («...когда она умерла, тогда это все стало для меня ясно...»). Затем добавил, что она была женой Матюшина и он не хотел его огорчать. Значит, и при ее жизни он что-то понимал, но до поры до времени скрывал.

Конечно, кое-что есть верное, но есть и несправедливое. Зачем говорить, что она «Гуро не любила очень»? Вряд ли он не знал, что Елена перед смертью захотела увидеться с Ольгой. Да и для Матюшина эта дружба значила многое, если не все. Так Елена вроде как одобряла их брак.

Скорее всего, Харджиев действовал обдуманно. В его кругу самым страшным обвинением считалась нелюбовь к Елене. Обман и бездарность еще можно было простить, а это никогда.

Как мы помним, Николай Иванович отмечал в Громозовой «прекрасную способность насыщать добрые волны», а сам гонит совсем другую волну: «Она... начала выдавать себя за знакомую Ленина. Черт знает, что такое. На самом деле она служила в магазине в Ленинграде, где продавали и политическую литературу, были такие и до революции... И там, бывало, покупал Воровский, русский дипломат, который был убит, вы знаете... А потом она выдумала себе политическую... ведь она никогда не была членом партии... когда я узнал всю ее фактическую биографию, я пришел в ужас. А потом она начала писать, это дикая графомания, ей писали редактора, кроме того, это чудовищная ложь была... Это ужасная женщина совершенно».

Почему он так набросился на Громозову? Все же она никому не навредила, кроме читателей. Да и те к таким сочинениям привыкли. Они относились к ним так же спокойно, как к плакатам на улице и речам в газетах.

Нельзя не увидеть, что Харджиев передергивает. Не замечает того, что «дьявол в деталях». Правда, в нашем случае это черт. Не зря он помянул его в интервью.

Громозова не утверждала, что хорошо знала Ленина. Да она бы и не выдержала близкого знакомства. Филонов не производил на нее впечатления, а от одного слова вождя у нее кружилась голова.

Про магазин, как мы знаем, правда, но почему он сказал о Воровском? Если даже Громозова его о чем-то просила, то не чаще, чем Бонч-Бруевича. Да и что плохого в том, что на всех этапах жизни у нее находились доброжелатели?

Вряд ли редакторы признавались в том, что за нее пишут. Это подозрение опровергает и заключение Гродненского. Оно подтверждает, что работа шла по всем линиям — она касалась как целого, так и деталей.

Особенно удивляет требование предъявить членский билет. Можно не иметь карточек, но все делать, как надо. Иногда у беспартийных рвения больше. То, что партиец уже показал, ему следует доказать.

Скорее всего, дело в том, о чем уже говорилось. К прошлому Харджиев относился так же, как к настоящему. Он вел себя так, словно Громозова по-прежнему жила на Песочной.

Отдадим должное этому горячему человеку. Тем более что он был требователен не только к другим, но и к себе. При этом признаем, что иногда правильней что-то не заметить. Пусть не согласится, но так близко к сердцу не принимать.

От акции Харджиева остались только пометки на полях. Все остальное он проговаривал про себя. Почему-то кажется, что во внутренних монологах он был не так строг. Возможно, многое прощал и думал: а ведь у нас много общего!

Вроде все разное — от идей до пристрастий. При этом оправдания схожи. Оба считали неизбежной жертву ради больших целей. Говорить правду, как и неправду, им было приятно и легко.

Громозова и осада издательства

Завершая жизнеописание Громозовой, опять вернемся к началу. В сороковом году наша героиня загорелась одной идеей. В это время она работала в школе, но был июль, время каникулярное, а для издательства «Искусство» самое что ни есть рабочее.

Конечно, шансов практически не было. Матюшина давно не упоминали, а авангард со всех трибун признали ошибкой. Как в такой ситуации издать мемуары мужа? Эту мысль можно было считать фантастической, если бы у нее не возник столь же фантастический план.

А что если она сама предложит поработать с его рукописью? Что-то сократить, а что-то переписать и даже дополнить?

Как тут опять не вспомнить о жертве? На сей раз большая цель заключалась в необходимости публикации. Михаила Васильевича при жизни эти проблемы не волновали, а потому их решать придется после его ухода.

Если кто-то упрекнет Громозову в своеволии, у нее есть документ с печатями и подписями. В нем подтверждалось ее право на все — как на жилплощадь, так на картины и рукописи.

Осаду Ольга Константиновна начала исподволь. По опыту работы в издательстве она знала, что редакторы — люди занятые и каждая толстая рукопись им как нож острый. Поэтому прежде, чем предложить книгу, она написала заявку.

«Настоящая книга является первым вариантом и далеко не охватывает имеющегося в архиве М. В. Матюшина материала на эту тему, — писала она. — Необходима и сюжетная переработка — расширить дневниковую часть за счет научной части, педагогическую часть возможно сократить».

Иногда решения принимаются скоропалительно, и кое-что Громозова сделала впрок. Пока издательство думает, ей следует показать, что она может и в чем видит свою цель.

Если это нарушение авторского права, почему ей постоянно виделось присутствие Матюшина? Что-то вычеркнет или впишет, а потом думает: как бы муж отнесся к ее правке? Если ей казалось, что он хмурится, переделывала еще раз.

Так теперь и существует этот текст. Определить границы чужого участия трудно, но можно прислушаться. Постоянно натыкаешься на то, что к чистому звуку примешивается посторонний.

Вмешательство Громозовой надо воспринимать на слух. Как сказано, фонит. К тому же есть этические вопросы. Если горькое представлено как необходимое, это ее рука.

К примеру, о том, как Матюшин поступил на службу в хозяйство Петрокоммуны, говорится так, словно работа на огороде заменила ему труд у мольберта.

Впрочем, читайте сами: «Если государственная служба в последние годы царской России мне настолько опостылела, что я бежал от нее в „свободное“ искусство, уйдя из оркестра на пенсию, то с началом революции во мне проснулась жажда общественной работы в коллективе. Мне за все хотелось взяться, своими руками участвовать в борьбе пролетариата за социализм. Недаром я взялся быть уполномоченным по снабжению от усадьбы литераторов в 1917 году. Весной 1918 года я поступил рабочим на показательный огород Петрокоммуны. Я знал, что, подымая целину под огороды, я боролся с голодом, и я не замечал усталости в свои шестьдесят лет».

Это обычный для Громозовой рецепт. Надо так смешать правду с неправдой, чтобы их было не различить. В конце десятых годов Матюшин действительно искал возможности подкормиться. За все остальное, что тут написано, отвечает его вдова.

Казалось бы, только этот отрывок увеличивает шансы рукописи, но редакторы не прониклись. Возможно, их смутили несоответствия. Все же странно, что на одной странице автор восхищен «чистотой отданности искусству», а на другой вдохновляется работой в огороде.

После всех усилий, потраченных зря, книгу следовало отправить на антресоли. Тем более что дальше началась война, а потом тоже было не до того. Только под конец жизни Ольга Константиновна опять вернулась к своему плану.

Так в ее книге впервые был упомянут напрочь забытый Филонов. В первом издании «Песни о жизни» он назывался Художник, а в том, что вышло в семидесятом году, полным именем и фамилией.

«В старенькой тужурке и кепке он, как Дон Кихот, шагает по траве, — писала Громозова. — Человек искусства! Он верит в свое дарование». И еще: «О нем много говорили. Называли его фанатиком, подвижником. Вспоминали последние часы

жизни. Товарищи и ученики принесли больному Филонову продукты. Принесенную провизию он отдал жене. Он был уверен, что поправится, говорил об искусстве, а не о болезни».

Читавшие оба издания удивлялись: вот, оказывается, это о ком! Прежде не возникало никаких ассоциаций, а теперь они жадно вглядывались в каждую строчку.

Как всегда, в ее текстах не все слова на месте, но некоторые правильные. Кто-то и прежде считал его Дон Кихотом, но сейчас это было напечатано. После ее книги двадцать лет не происходило ничего. Так продолжалось вплоть до каталога выставки в Русском музее, в которой художника называют «гениальным».

Удача подвигла завершить начатое. В семьдесят третьем году в «Звезде» вышло ее «Призвание». В этой повести Громозова вспоминала мужа, Гуро, да буквально всех. Эти вольности компенсировались тремя-четырьмя абзацами, в которых она писала, что не всегда с ними соглашалась.

«Еще недавно в тюрьме я мечтала стать пропагандистом. Участвую в революционной работе, распространяя большевистские книги, и вот — чем-то уже зачарована в этом новом для меня мире. Далекое раньше, непонятное, незнакомое искусство подошло совсем близко. Хорошо ли это?.. „Но ведь это только передышка после тюрьмы!“ — успокаиваю я себя...»

После Филонова, чье имя с ее легкой руки вернулось читателю, пришел черед Матюшина. В своей повести она не только представила его как «революционера искусства», но защищала от напраслины. Наконец, она могла сказать, что судьба страны интересовала его не меньше, чем «четвертое измерение».

Если бы она так прямо написала, то вряд ли бы ей поверили. Даже литератору понятно, что слова потеряли свой вес. Их и без того производится во множестве, и еще страничка-другая вряд ли что-то изменит.

Другое дело пример. Если ничего такого она не может вспомнить, то почему бы не придумать.

У Ольги Константиновны вышел забавный диалог, да еще с музыкальным финалом. Правдой было то, что муж действительно имел склонность к игре. Иногда выдумает что-то эдакое, и любая ситуация становится преодолимой.

«Совсем неожиданно меня премировали ордером на ботинки... Даю продавцу ордер, а он вместо хорошеньких ботинок — ведь это премия! — подает мне тяжеленные, грубые сапожищи из свиной кожи, да еще на три номера больше, чем нужно...»

«...Неожиданно он (М. В. — А. Л.) схватил мою обновку и поставил на пианино.

— Слушай, это гимн сапогам.

Он заиграл с такой силой и чувством, что мне стыдно стало горевать».

Первое впечатление: а почему нет? Правда, немного смущает местоположение. Надо же, куда они вознеслись! Лучше бы сапоги касались земли, а не нежной поверхностью пианино.

Тут начинаются вопросы. Все же музыканта в Матюшине было не меньше, чем художника. Вряд ли по отношению к инструменту он бы допустил подобную фамильярность.

Сперва отделим правду от неправды. Конечно, сапоги существовали. Грубые, неподъемные, размером на крупного мужчину. Увидев, чем с ней расплатились, муж должен был сказать, что будет трудиться сколько угодно, но заработает на новую обувь.

Как видите, вместо обещаний был предложен гимн. Весело посмеялись, но жизнь легче не стала. «Я натолкала ваты, — написала Громозова, — и, спотыкаясь, стала в них ходить».

Дело в том, что в начале двадцатых такие вещи не покупали, а получали или обменивали. Фабрики не справлялись, и приходилось заниматься конфискациями. За-

чем сапоги в могиле или тюрьме? Плохие люди их уже относили, а теперь пусть носят хорошие.

Так граждан приучали к тому, что им ничего не принадлежит. Будь ты хоть Шаляпин, помни, что ничто не вечно. Серебряные тарелки сегодня твои, а завтра их отобрали. «Конечно, товарищ Шаляпин, — объяснял правду революции Лев Каменев, — вы можете пользоваться серебром, но не забывайте ни на одну минуту, что в случае, если бы это серебро понадобилось бы народу, никто не будет стесняться с вами и заберет его у вас в любой момент».

Один из руководителей нового государства так и сказал: «...никто не будет стесняться с вами», продемонстрировав, что ему подчиняются не только вещи, но и язык.

Серебряная посуда пригодится любому, а сапоги подойдут не каждому. К примеру, буржуй был мелкий, а его обувь досталась крупному. Всем хороша обновка, а носить ее невозможно.

Вот мы и разобрались. Это был «гимн конфискованным сапогам». «Сила» и «чувство» здесь ни при чем. Куда больше тут подошла бы не громкая и патетическая, а тихая печальная музыка.

Как видите, Громозова верна себе. Писать и рисовать для нее значило, прежде всего, приукрасить. Если случалось говорить правду, она делала это так, чтобы никого не расстроить.

Этим Ольга Константиновна занималась не по красным дням календаря и не в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Такой была ее повседневность. Тем важнее вспомнить моменты, когда обыденность отступала и верилось в четвертое измерение.

Эти события Михаил Васильевич называл «шоками». Уж насколько все изменчиво, но есть что-то постоянное. Мы всегда будем благодарны тем, кто от нас ушел. Жизнь и так печальна, а с каждой утратой становится еще грустней.

Вот почему кладбища — пространства экстерриториальные. Конечно, у них есть адрес, но, по сути, они не принадлежат ни времени, ни пространству. Вот где применимо матюшинское «расширенное смотрение». Казалось бы, куда ни взглянешь, все разное и в то же время одно.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДО. 1913—1945

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Могила Гуро

Прежде чем рассказать, как прощались с нашими героями, вспомним о том, как «погребали эпоху». Трудятся могильщики — «дело не ждет», а потом их работу завершают крапива с чертополохом.

У Ахматовой хватало причин для таких выводов, но ведь бывает и по-другому. Вот уходит кто-то близкий, и в твоём мире возникает пустота. Что-то такое ощущает безрукый в том месте, где прежде была рука.

Таким для Громозовой был уход Гуро. Уж как они не похожи, но смерть сосредотачивает на главном. Думаешь не о том, что вас разделяло, а о том, без чего будет трудно жить дальше.

Это были «лучшие» похороны. Потом один из присутствовавших так и написал: «Лучших похорон, лучшего места успокоения нельзя было придумать для покойной».

Вспоминалось, как Елена входила в лес и в нем растворялась. Или, как она писала, становилась «леснее и леснее». Когда это ощущение переносилось на бумагу, могло показаться, что это цветок или дерево рассказывают о себе.

Вот за это Матюшин ее полюбил. За талант не подменять реальность, а становиться ею. Когда-то до полного самоотречения она вглядывалась в скульптуру, а сейчас перед ней открывался природный мир. Было что разглядывать и во что перевоплощаться.

Тот, кто способен дарить себя другому, без благодарности не останется. В последний путь ее провожали белочки, жуки и божьи коровки. Деревья шумели, птицы пели, насекомые летали. Природа разговаривала на все голоса, а люди молчали и жались поближе к гробу.

Затем для Матюшина настали сложные дни. Вдруг оказываешься один на один с проблемами, которые прежде они решали вместе. К ним надо прибавить совсем новый вопрос. Всякий вдовец думает о том, как должно выглядеть надгробие, но с художника спрос будет особый.

Михаил Васильевич решил все сделать сам. Уж очень это личное. Все равно как если бы она, больная, попросила его сменить на постели белье.

Обычно памятник сообщает о том, кто тут лежит. Матюшину показалось, что этого недостаточно. Ведь даже на обложках своих книг Гуро не ограничивалась именем и фамилией. Всегда рисовала что-то, что помогает войти в текст.

Можно было сделать что-то узнаваемое. Поместить профиль или поставить фигуру в полный рост. Эти варианты он отверг. Изобразить внешнее куда проще, чем показать суть.

Матюшин стал перечитывать ее рассказы и нашел решение. В них, как в хорошей живописи, одно заменяет другое. Ощущения имеют цвет, а герои вписаны в пространство и порой даже пространством являются.

«Броситься скорей одетой на кровать. Засыпая от усталости, чувствую: синеют окна. Сливается. Ноют приятно ноги. Где-то играет шарманка».

Словом, все существует во взаимодействии. Не разобрать, где человек — и окно, уставшие ноги — и шарманка. Даже, казалось бы, несопоставимые «чувствую» и «синеют» едва ли не отражены друг в друге.

Свою идею Михаил Васильевич нарисовал. Почти весь лист он отдал светлому и зеленому, а могиле левый нижний угол. В этой диспропорции есть правда. Раз Гуро осознавала себя через природу, то что как не лес и поле могут о ней рассказать.

Большой мир включает природу и небо, а мир малый соразмерен человеку. В сосну рядом с могилой Матюшин врубил перекладину. В поперечье вырезал «ЕГГ» и поставил икону Божьей Матери.

Вряд ли где-то еще есть живой крест, корнями уходящий в землю. Впрочем, на акварели есть только сосна. Пока она ничего не символизирует, а просто растет, как ей хочется.

Нет тут и человека, который придет сюда и сделает окончательно ясной его идею. Он должен будет стать не стаффажем, необходимым мазком в центре картины, а активным участником.

Посетитель сядет на скамейку, вытащит книгу из прикрепленного к ней ящика. «Тот, кто хочет познакомиться с произведениями Гуро, — было на нем написано, — может их взять. Уверен, что они будут положены обратно». Тон этого обращения говорит о том, что муж и сейчас находился рядом с женой — незримо руководил жизнью вокруг памятника.

Какое-то время так и происходило, как просил Михаил Васильевич. Местные жители и дачники подолгу проводили здесь время с книжкой в руках, а потом возвращали ее на место.

Матюшин наблюдал со стороны и радовался. В этом погружении в чтение было что-то от постоянной задумчивости Елены. Возможно, когда его жена писала эти строки, она так же морщила лоб, как сейчас это делал читатель.

Сколько времени может длиться взаимопонимание? Матюшину было дано около семи лет с Гуро, а скамейка простояла около двадцати. Затем все это куда-то исчезло. Тот, кто пришел на могилу, хотел бы присесть с книжкой, но на этом месте не было ничего.

Это было первое покушение на его замысел. Сочиненная им композиция устояла и все-таки выдержала.

Кроме надгробия — материального выражения памяти, — есть память нематериальная. Прежде чем сказать о поражении первого, вспомним о победе второго: в начале двадцатых на квартире Эндеров показали спектакли памяти Гуро.

По-разному прощаются. Коротко — во время похорон, долго — всю жизнь. Есть еще вариант этих представлений. Если театр начинался с церкви, почему бы ему опять церковью не стать? Сюда придут опечаленные утратой вроде как для коллективной молитвы.

Вечера памяти Гуро

Все Эндеры были матюшинцами. Это значит, что с учителем их не разделяло буквально ничто. Даже жили они на той же Песочной улице. Правда, не в начале, а в конце.

До революции Эндерам принадлежала вся квартира. Разумеется, потерпеть такое роскошество было невозможно. Впрочем, поначалу власти действовали щадяще. Даже оставили за ними самую большую, почти стометровую, комнату.

Вот в чем предназначение этого пространства. Нескольким семьям в нем расположиться сложно, а для спектаклей оно подходит сразу в нескольких смыслах.

Даже для открытых экспериментов двадцатых годов зрелище было радикальное. Сам Мейерхольд не решился обойтись без героев и сюжета. К тому же домашний статус освобождал от ответственности. Если спросят, что вы задумали, говоришь, что ничего такого. Встретились для того, чтобы помянуть жену общего друга.

Как бы то ни было, зрители вели себя так, словно пришли на собрание масонской ложи. В коридоре разговаривали тихо и старались не показывать, что знакомы много лет.

Как и масонов, здешнюю публику связывало общее знание. Чтобы прийти в театр, надо купить билет, а чтобы увидеть этот спектакль, разделять взгляды устроителей. Вместе с ними считать, что необязательно рассказывать историю. Достаточно игры цветовых пятен и геометрических фигур.

Словом, зрелище само выбирало зрителей. Право приобщиться доставалось тем, кто понимает этот язык. Среди них были замечены Пунин и Малевич, Андрей Белый и Юрий Тынянов.

Для выводов о жизни, смерти и искусстве обычно надо много слов, но, выходит, можно и так. Ведь не прилагаем мы к картине инструкций. Все понимаем по движению цвета и линии.

Вот, например, смерть. В нескольких метрах от публики Михаил Васильевич представлял загробный мир. Не загробный мир как таковой, а тот, куда ушла Елена Гуро.

Елена Генриховна не растворялась в бесконечности, а оказывалась среди своих образов. Правда, теперь за нее говорили не слова и краски, а свет, цвет и объем. Спектакль так и назывался: «Рождение света, цвета и объема».

Если на Песочной или в Уусикиркко было больше обыденного, то здесь преобладало такое, из чего возникает искусство.

Тому, что показали в квартире Эндеров, предшествовал холст «На смерть Гуро». Матюшин и тут избежал жизнеподобия. Пучок разноцветных линий устремлялся к верхнему краю холста. Это был след ее жизни, ярко вспыхнувшей и быстро пролетевшей.

Спектакль, зрители и коммунальная квартира

Итак, вы — Пунин или Андрей Белый. Вы позвонили в звонок и вошли. Как сказано, путь к спектаклю пролегал через коридор. Тут царилась самая что ни на есть коммунальная реальность.

Как известно, театр начинается с вешалки. Просто вешалки бывают разные. Эта не напоминала театральный гардероб. Да и с фойе театра, полнящегося ожиданием, здесь не было ничего общего. Если что и витало в воздухе, то только запахи кухни.

Коммунальный быт вездесущ. Только переступаешь порог, а он тут как тут. Это уже не об атмосфере, а о шкафах и сервантах. Чтобы освободить место для игры, мебель сдвинули в угол комнаты.

Дальнейшее мало связано с реальностью. Как уже сказано, торжествовала геометрия. Треугольники и квадраты не подчинялись земному тяготению, а скользили и летали.

Не спрашивайте — почему? Просто примите как данность. Вы же не требуете от художника изменить цвет или перенаправить линию. Понимаете, что это его мир, а не ваш.

Сезанн призывал «трактовать природу посредством цилиндра, шара, конуса». Кажется, внутри нарисованных им людей и предметов существовал каркас. Он «держал» форму этого мира, не давал ей расползтись.

А что если внутреннее сделать зримым? Именно так поступил Матюшин. Когда бумажные колонны в центре комнаты брались на просвет, проступали куб, эллипс и шар.

Когда куб и эллипс поднимались к потолку, шар оставался внизу. В эту минуту зрители видели, что шар населен — находившийся в нем человек был одет во все красное.

Вы опять интересуетесь: что это значит? Вряд ли тут было что-то, кроме красоты. Ведь не пытаемся мы объяснить появления кошки. Она проскочила в приоткрытую дверь, пересекла комнату и устроилась на коленях Тынянова.

Кошка все сделала правильно. Она двигалась так спокойно, словно ее окружали не квадраты и треугольники, а поле и лес. Это в ней проснулась звериная интуиция. Спектакль говорил о вещах изначальных и в каком-то смысле сам был природой.

Вместе со светом и всем прочим рождалось музыкальное сопровождение. Для этого Матюшин сконструировал инструмент «Свет-форма-звук-шум». Эффект был оглушительный. Дом сотрясаясь, а соседи мысленно желали участникам гореть в аду.

Что ж, реакция понятная. Спектакль обращался не только к зрителям, но к тем, с кем Эндеров вынужденно связала судьба. В эти минуты в воздухе повисал вопрос. Он требовал выбора между художественным — и нехудожественным, отвлеченным — и бытовым.

Если люди за стенкой предпочитали понятное, то в спектакле побеждало особенное. На этом настаивал и упомянутый инструмент. Он был столь же странен, как все, что тут происходило.

Представьте веревку, натянутую на четыре колка. На каждом из углов утвердилась геометрическая фигура: красный шар, зеленый куб, желтый ромб, синяя спираль.

Выходит, это не один инструмент, а четыре. Своего рода квартет. Каждый звучит по-своему: шар гремит подобно гонгу, куб издает треск, спираль посвистывает, а желтый ромб басит на низах.

Нужно ли объяснять — почему это мир Гуро. Ее проза свободна от второстепенного и представляет чистую эмоцию. Сюжет отсутствует, а единственным героем становится автор. Почти нет и событий. Если, конечно, не считать дождя или распускающегося цветка.

Отчего возникает напряжение? Наверное, оттого, что Елена Генриховна не просто описывала эти явления, а в них участвовала.

Ощущение связи всего со всем приходит по-разному. Гуро вступала в контакт с природой, а к Матюшину это чувство пришло в филармонии. Он слушал Шуберта и наблюдал за огнями люстры. Именно тогда, по его словам, «первый синтез звука и света залег в меня».

Вот это о чем. Механическому сложению противопоставлялось внутреннее единство, арифметике — высшая математика. Эта идея не декларировалась, а воплощалась. Линии, краски и звуки существовали не сами по себе, а в неразрывном единстве.

Кто-то разделяет содержание и форму, а тут форма и была содержанием. Даже общий коридор имел отношение к действию. Он не только вел в комнату, где играли спектакль, а подводил к общей идее.

Коммуналка свидетельствовала о тесноте, а спектакль о расширении. Наконец пространство увеличилось настолько, что открылось небо. Облака напоминали эскимо на палочке. Покачиваясь в руках исполнителей, они проплывали над головами зрителей.

Вот он, триумф русского авангарда. Публика оставалась на своих местах и в то же время пребывала на воздушных. Наконец окно, а за ним еще одно небо. Оно тоже было все в облаках, но уже не картонных, а перистых и кучевых.

Помимо основного, существовал параллельный сюжет. Посторонние о нем не догадывались. Казалось бы, абстрактное зрелище скрывало абрис истории, рассказанной на этих страницах.

Хотя Матюшин вдохновлялся Успенским, а не Фрейдом, не обошлось без погружения в душевные глубины.

В одном из кубов находилась Громозова и вместе с другими участниками запускала механизм спектакля. Впрочем, ее роль была не только технической.

Для Ольги Константиновны это была еще и встреча с Гуро. Вместе с Матюшиным, который на всех представлениях сидел в зале, их опять было трое.

Удивительно, как легко Громозова входила в чужой мир. Вспомним о «Победе над солнцем» и спиритических сеансах. Впрочем, до полного растворения не доходило. Она ощущала себя внутри истории — и видела ее со стороны.

Вряд ли ей нравилось то, что придумал Матюшин. Почему черти и ангелы заменены геометрическими фигурами? Словно не только на земле, но и на том свете все стали авангардистами.

Как всегда, ей было сложно выбирать из двух возможностей. Вот и сейчас она думала: конечно, Миша — моя вторая половинка, любимый человек, но уж больно накручено. Словно на вопрос, сколько будет дважды два, он отвечает: сто пять.

И еще похороны

Что еще сказать о том, как «погребают эпоху»? Прежде чем вспомнить о похоронах Матюшина, надо сказать о прощании с Малевичем.

Ничего такого не было ни до, ни после. Все же Невский предназначен для другого. Тут прогуливаются, спешат по делам, а не провожают в последний путь.

Так что публика была разная. Кто-то пришел ради «великого Казимира», другие по своей причине. Им все это казалось диким. Они возмущались и требовали позвать милиционера.

Последняя демонстрация троцкистов состоялась в двадцать седьмом году, а это была первая и последняя демонстрация художников. На это время проспект забывал о классических традициях и принимал сторону супрематизма.

Центральный образ был найден точно. Малевич всегда шел против течения. Вот и сейчас поток людей двигался в одну сторону, а грузовик с гробом в другую. Так ученики мастера сообщали «городу и миру» о том, кого мы потеряли.

Начиналось прощание дома. Казимир Северинович под белой простыней лежал на белом прямоугольнике. На фото видно, что простыня сбита. За этой подробностью возникает живой жест. Словно перед смертью художнику стало холодно, и он решил получше накрыться.

На стене висели «Черный квадрат» и другие полотна. Все это — холсты, прямоугольник, лицо человека, измученного болезнью, но уже свободного от нее — стало последней его картиной.

Дальше действие переносилось на улицу. Квадрат — вроде как фирменный знак покойного — укрепили на бампере. Любой прохожий должен был увидеть: да, это он. За государство говорят серп и молот, а за него самое известное его полотно.

Гроб тоже был особенный. Он напоминал супрематистский архитектон и египетский саркофаг. Не зря ученики называли покойного вождем, что почти то же, что фараон.

Фараон забирал с собой челядь и лошадей, а Малевич свои идеи. Хотя бы этот квадрат. После того как художник его придумал, он из области геометрии перешел в сферу прозрений.

Удивительно такое внимание к мастеру, не имевшему официального статуса. Не академик, не герой. Скорее, плотник, если иметь в виду кржистую фигуру и натруженные руки.

Как это возможно в обществе, где каждый сверчок знает свой шесток? Впрочем, речь шла не о положении в иерархии, а о месте в другой системе координат. Тут Малевич был едва ли не первым.

От Почтамтской, два, что рядом с Исаакиевской площадью, до Московского вокзала достаточно близко. Каких-то полчаса, и художник покидал столицу русского авангарда.

Как хоронили Матюшина

Похороны Матюшина были другими. Ученики любили Мих Васа, но вождем не называли. Да и вдова была бы против демонстративности. Поэтому его последний путь проходил не по главной улице Ленинграда, а через поселковое кладбище.

В городе тишины не бывает, а тут в избытке. Как сказал его ученик о любимой Чукотке: «Тут нет лишних людей». Вот и в Мартышкине было так же. При жизни ему здесь было спокойно, а теперь спокойно навсегда.

Похороны были «лучшие», как когда-то говорили о проводах Гуро. В присутствии леса и его обитателей, учеников и друзей. Были и жители поселка. Скольким из них он помог! Когда что-то требовалось по столярной части, сразу шли к нему.

В городе не обошлось бы без выступлений, а тут больше молчали. Если посмотреть со стороны, все было примерно так, как у местных. Пару дней назад хоронили одного старика, и теперь они оказались рядом.

Все же Матюшин вернул себе отдельное положение. Кто-то решил погадать на его записной книжке и сразу получил ответ. Перед открытым гробом эти слова прозвучали как утешение и как напутствие на будущее.

«Мы должны все изменять, — писал Михаил Васильевич, — организуя своим творчеством жизнь. А смерть — это закон природы. Но и здесь мы многое можем изменить в жизнь, а не в смерть».

К тридцать четвертому году уже не вспоминали о Серебряном веке. Если только наедине с собой. Эта запись подтверждала, что художник остался верен своему прошлому.

Мы не раз упоминали о двоемирии, или «жизнетворчестве». Это странное слово не предполагает финала. Кажется, его половинки всегда будут взаимодействовать и рождать что-то новое.

Может, и жить надо так, будто смерти нет? Организовать неорганизованное, вносить смысл в бессмысленное... Глядишь, тогда у нас появится шанс.

Существовали не только высокие аргументы. О том, что на кладбище жизнь не только заканчивается, но продолжается, говорил урожай опять. При виде повсюду рассеянных желтых шляпок думалось: «Не начать ли исполнять его заветы с похода в лес за грибами?»

Даже то, что оставляли посетители на матюшинском камне, отличалось от того, что они возлагали на другие могилы.

У надгробий Стравинского и Дягилева на кладбище Сан-Микеле часто лежат нотные листы, а Михаилу Васильевичу приносят яблоки. Купят по дороге, что-то съедят, а одним или двумя поделаются с ним.

Предположим, вы пришли сюда осенью. Много желтого и зеленого, а вдруг — красное яблоко. Так и ждет, что появится художник и его нарисует.

Как видно, дело в том, что Матюшин — основоположник органического направления в живописи. Все плоды и растения, животные и насекомые имеют к нему непосредственное отношение.

После того как тут похоронили Ольгу Константиновну, эти яблоки и по ее душу. Кто-то считает, что она их не заслужила, но я с этим не согласен. Все же несколько десятилетий они прожили вместе. Что касается ее жизни после ухода мужа, то это уже не про него.

Жизнь после похорон

Громозова всегда была в гуще событий, а вдруг осталась одна. Его ученики не в счет: зайдут, отдадут пакет с яблоками и уже собираются уходить... Когда-то их было не выкурить, а сейчас у них никогда нет времени. Даже долг перед мастером они выполняют вроде как на бегу.

Почему у них с Матюшиным все получалось? Да потому, что был четкий порядок: она занята бытовыми проблемами, а он художественными. Как они радовались, если что-то удавалось им двоим! Например, она испекла отличный пирог, а у него вышла картина.

Теперь все на ней. Надо сготовить, нарисовать, написать. Вот еще одна проблема. Только она может решить, какой памятник поставить на могиле мужа.

Самый простой вариант — крест или звезда. К такой могиле надо подходить с «лицевой» стороны. А как же его идея соединения разных точек зрения, из которых ни одна не является предпочтительной? Может, лучше установить большой камень? С какой стороны на него ни посмотришь, он будет представлять не часть, а целое.

Словом, Громозова вступила в союз с природой. Так Матюшин объединялся с лесом, когда делал фигурки из корней. Вмешивался он только тогда, когда основной автор не справлялся, и ему следовало помочь.

Когда камень привезли, Ольга Константиновна занялась ракурсом. Наконец валун лег так, что стал похож на метеорит. Выходило, что Михаил Васильевич был человеком не отсюда. По крайней мере, в нашей галактике редко встречаются подобные экземпляры.

Обычно могила — это узкий прямоугольник, но тут был солидный квадрат. Громозова думала не только о том, что когда-нибудь ее тут похоронят, но и о композиции. К пространству вокруг памятника она отнеслась как живописец к холсту.

Судя по фото, образ был найден не сразу. Сперва камень вольно существовал среди кустов и травы. Надпись «Художник Михаил Матюшин» нанесли масляной кра-

ской. Все это окружили чем-то вроде штaketника. Для надгробия убежденного дачника, любителя грибов и ягод это очень подходило.

Пока Ольга Константиновна собиралась заменить деревянное на железное, а написанное краской выбитым на табличке, началась война. Ездить на «свои» могилы стало невозможно. Фронт то приближался, то удалялся. Обязанности людей, чтущих память близких, откладывались до победы.

Особенно непонятно было с Гуро: после недолгого присоединения к СССР, Уусикиркко опять вернулось в Финляндию. Ольга Константиновна успокаивала себя тем, что кладбище финское, и это, возможно, защитит могилу подруги.

С Мартышкиным все тоже было неясно. Громозова пожаловалась Вишневскому, а тот предложил помочь. У него были машина с шофером и волшебные корочки корреспондента «Правды». С этим документом можно было преодолеть любые запреты.

Вишневский сделал все, что обещал. Где-то стреляли, а на кладбище было тихо, как прежде. Чтобы найти могилу, пришлось побродить. Это городские погосты разделены на улицы, а тут все лежат вместе, порой даже без оград.

Казалось бы, место ничем не примечательное, но ему что-то привиделось. Моряку фантазии не положены, а писателя без них не бывает. В пространстве с валуном в центре он увидел «могилу рыцаря».

Разумеется, Всеволод Витальевич этим поделился. Почему-то кажется, что Громозова его переспросила: «Бедного рыцаря?» Вроде как уточнила: речь о всяком рыцаре или о том, о котором писали Гуро и Матюшин?

Было ли это утверждать трудно, а следующую фразу Ольга Константиновна точно произнесла.

— Да, рыцаря. Там все вокруг — поэзия.

Кажется, слово «вокруг» проговаривается, и вперед выходит «круг». Вот что пытался создать ее муж. Тем важнее, что рядом с его памятником шла жизнь. Цвело, зеленело или утопало в снеге и слякоти.

Может, в кипении дело? Вроде здесь неприменимо слово «живучесть», но как еще это назвать? Рядом шли бои, но с могилой ничего не случилось. Вроде война коснулась всего, а тут не оставила даже царапины.

Казалось бы, после войны можно выдохнуть и сделать то, что планировали. Установили табличку и новую ограду, а кусты вырубili. Вокруг камня опустело, и он еще больше стал похож на метеорит.

Когда закончили работы в Мартышкине, стали обсуждать, что делать с могилой Гуро. Подумывали опять установить ящик с книгами. Пусть новое поколение знает, что, кроме «Тихого Дона» и «Молодой гвардии», есть и такая литература.

Победа всех делает оптимистами. Даже если твои мысли относятся к кладбищам. Тем обиднее, когда что-то не выходит. Когда Громозова собралась в Уусикиркко, ей сообщили, что уже поздно. Могила пережила немцев и финнов, но не устояла перед местной шпаной.

Хулиганы всегда приходят туда, откуда можно уйти безнаказанными. Так что кладбище для них — идеальное место. Мертвые не поднимутся, а живые находятся далеко.

Конечно, они не знали, кто такая Гуро. Просто ее могила находилась в центре, а у них в руках были железные палки. Наконец от замысла Матюшина не осталось ничего. Если не считать неподвластных человеческой воле неба и холма.

В последние годы только могила напоминала о Гуро. Впрочем, и без надгробия это пространство принадлежало ей. Когда кто-нибудь спрашивал, где она похоронена, отвечали без колебаний.

На сей раз крапива с чертополохом отступили. Значит, дело не в публикациях и выставках, а в том, что есть что-то неуничтожимое. Тут так же, как с упомянутыми небом и холмом. Ничто не помешает одному нависать, а другому выситься.

ЭПИЛОГ. ДО И ПОСЛЕ. 1945—2024

Все же жизнь продолжалась. В чем-то она не отличалась от той, что была до войны. Ольга Константиновна опять писала повести и вела переговоры с редакторами.

Об этом мы уже говорили, а об одной проблеме не упомянули. После войны многие вернулись в Питер и обнаружили, что квартир у них нет. Оставалось уплотнить тех, кто слишком широко жил. В двух из трех комнат, занимаемых Громозовой, можно было разместить пару семей.

Наверное, она бы не возражала, но куда девать архив и картины? Да и те люди, что у нее бывают, не должны чувствовать себя в тесноте.

Громозова вспомнила Кочетова, Прокофьева, Вишневого и остановилась на Вишневском. Столичные действуют на власти лучше местных. По старой, еще гоголевской, традиции они видят в них ревизора.

«О. К. Матюшина пишет о том, что в Ленинграде начинают уплотнять квартиры, — записывает в дневнике Вишневский, — и чтобы я принял меры относительно домика (!). Начинается быт, — героическая битва Ленинграда закончена!»

Она опять не ошиблась. Звонок произвел нужное впечатление. Уплотнение претовратили, но тут выяснилось, что есть проблема посложнее. Раздавались голоса, что деревянный дом в центре города выглядит странно и вместо нее надо построить кирпичный.

Все же не зря Песочная с сорокового года носит имя изобретателя радио. Попов — символ прогресса, движения вперед, а тут что-то из совсем другого времени.

Самые жалостливые предлагали создать музей. Это должно было подчеркнуть, что настоящее для дома закончилось и теперь он принадлежит прошлому.

Чему посвятить экспозицию? Гуро и Матюшина для начальства не существовало, так что оставались авторы пьесы. В пятьдесят первом году умер Вишневский, но его соавторы были живы. Крон приедет из Москвы, а Азаров зайдет по-соседски. По праву героев и едва ли не экспонатов они расскажут о жизни в блокаду.

Да и сама Громозова — чем не героиня и экспонат? Кстати, заодно можно помянуть предшественников. В самые не подходящие для искусства годы она не снимала их работы со стен. Когда ее просили это сделать, говорила: а вы бы смогли выбросить вещи умерших родственников?

Как добиться такого музея? Ее всегдашняя палочка-выручалочка — это Прокофьев. Он хорошо к ней относится и всегда помогает. К тому же музей расскажет о четырех членах Союза писателей, а он глава ленинградской организации.

В Смольном Прокофьев поделился этой идеей. Разговоры о страданиях в блокаду не одобрялись, а пропустить дату было нельзя. Так что предложение оказалось кстати. Авторы «Раскинулось море...» голодали и холодали, но задание выполнили. Хватили воли создать нечто легкомысленное.

Создание музея записали на неопределенный год. Несколько раз начальство этими планами отчитывались, но на всякий случай сроков не называли.

Как известно, что написано пером — не вырубить топором. Не сейчас, так потом музей бы открыли, но у Прокофьева изменилось настроение. Он охладел не столько к этой идее, сколько к писателям.

Можно порадоваться тому, что трое пишут пьесу, а если они что-то замышляют? Этому вопросу предшествовало собрание в Союзе писателей, состоявшееся в середи-

не января шестьдесят пятого года. На нем Александра Андреевича не переизбрали на следующий срок.

Всю жизнь Прокофьев командовал и распоряжался. Никогда не чувствовал себя частным лицом, а вдруг стал пенсионером. Конечно, его ордена и премии никуда не делись, но это все же не то, что было прежде.

Как тут не усомниться в том, что музей может рассказывать о современниках? Пока человек жив, он способен на любые неожиданности. Вот и его история это подтверждала: казалось, все будет нормально, а вот оно как повернулось!

Примерно такой путь проделала железная пепельница. Сперва она была нужна всем, а потом только курящим. Да и смысл ее деятельности изменился. Выделять лучшее, указывать путь — это совсем не то же, что быть хранилищем пепла.

Так что обида осталась. На всю организацию, но особенно на тех, кто на собрании промолчал. Азаров знал, что Прокофьев хлопочет о музее, но решил не вмешиваться. Уж очень памятна была отставка Хрущева несколько месяцев назад. Казалось, нет никого всесильней, а буквально за день он исчез с газетных страниц.

Кстати, Прокофьев был очень похож на Хрущева. Такой же круглый, невысокий, быстрый в движениях. Возможно, увольнение одного вдохновляло писателей на отставку его двойника.

Громова поняла, что Прокофьев охладел к этой затее, но продолжала крутить телефонный диск. Всякий раз ей отвечали, что ситуация сложная и надо немного подождать.

На самом деле начальству было все равно. На то оно и начальство. Ничего не будет — похвалят за экономию средств. Если же музей откроется, они тоже без благодарностей не останутся.

Несколько раз Ольга Константиновна звонила Прокофьеву, но близкие его к телефону не звали. К этому времени он действительно сдал. В бытность руководителем болезни его избегали, а почуввав частного, почти беззащитного человека, пошли косяком.

Сперва у него случился инсульт, а потом на дачном участке он сломал руку. С повязкой через шею вид у него был совсем грустный. Казалось, все против него — рука была правая, и теперь приходилось писать левой.

В семьдесят первом году Александр Андреевич ушел из жизни. Это был ясный сигнал для Грозовой. Пока он был жив, она верила, а теперь надежд почти не осталось.

Впрочем, сейчас было ясно, что если даже что-то получится с музеем, она вряд ли это увидит.

Уже не было речи о будущем, а только о том, чтобы ненадолго задержаться в настоящем. Скоро вышло и это время. В семьдесят пятом году она умерла. Похоронили ее в Мартышкине, под одним камнем с Матюшиным. Как мы помним, у нее были сложные отношения с прошлым, но этот камень ее с ним примирил.

При таком властном характере сложно исчезнуть совсем. Уже после смерти она не раз давала о себе знать. К примеру, на ее наследство претендовала дочь сестры Тамара, но по завещанию все перешло в Музей истории Ленинграда.

Так Ольга Константиновна из-за гроба натягивала ниточку. Попыталась активизировать музейщиков. Вскоре они забрали картины и мебель, но особенно жадно поглядывали на антресоли. Казалось, в хранившихся там чемоданах спрятано самое главное.

Каково же было разочарование! Когда открыли чемоданы, к потолку взошли столбы пыли. Эта почти дымовая завеса скрывала килограммы осколков и километры тряпок.

Конечно, это старческое — ничего не выбрасывать, а только накапливать. Такое собрание напоминает умножение сущностей. Вроде всего много, а по сути, нет ничего.

Может, это и есть итог жизни Громозовой? Сколько написано и нарисовано, а предьявить нечего. Настоящие богатства, так или иначе с ней связанные, надо искать в другом месте.

Как бы то ни было, опять вспомнили о музее блокадных писателей. Правда, чело- века, равного ей по упорству, не нашлось. В основном проводили совещания и гово- рили: как это было бы хорошо!

Дом по-прежнему жил двойной жизнью. Хотя по документам он был почти музе- ем, для его жильцов ничего не менялось. Они по очереди убирали места общего поль- зования и высаживали лук на грядках в саду.

Так бы все и продолжалось, если бы не перестройка. Из-под сукна доставались не- осуществленные идеи. Правда, приоритеты поменялись. Блокадные писатели ушли в тень, зато все заинтересовались искусством авангарда.

Неужто настал час для Гуро и Матюшина? Выходит, что так. Правда, торжествовать было рано. После того как расселили жильцов, случился пожар. Говорят, это сделали бомжи, то есть практически никто. На то они и без определенного места жительства, чтобы не попадаться.

Вскоре вместо сгоревшего построили новый сруб. Тут закончилось финансирова- ние. В эти годы дистанция между надеждами и крахом сократилась до минимума. Ино- гда было не различить: это еще свершение — или уже катастрофа?

Оставалось надеяться на чудо. Сидишь у разбитого корыта, ничего не ждешь, а вдруг выплывает золотая рыбка... Что-то такое случилось сейчас. Правда, денег хватило не на «избу со светелкой», как у Пушкина, но хотя бы на продолжение строительства.

Наконец работы закончились. Дом на Песочной стал как новенький. Говорить об этом можно без «как» — к прошлому имел отношение фундамент, а все прочее бы- ло новоделом.

В декабре 2006 года при большом стечении народа здесь открывали Музей петер- бургского авангарда.

Когда строят заново, о полном сходстве говорить не приходится. Лестницы с ули- цы на второй этаж нет, но зато восстановлена лестница в доме. Ее деревянные сту- пенки поскрипывают. Ощущаешь себя не экскурсантом, а гостем живших тут когда- то людей.

Такие дома лучше всего подходят для жизни. Ведь тут мы соразмерны простран- ству. Легко вписываемся в него подобно тому, как вписаны фигуры на картинах, ви- сящих по стенам.

Мы знаем, что искусство бывает высокомерно. Вы тянетесь к нему, а не оно к вам. Ничего такого нет в этих работах. Они не учат и не поражают, но могут согреть по- добно варежкам или муфте.

Впрочем, как иначе? Это не просто музей, а дом-музей. Больше дом, чем музей. К лестнице и живописи прибавим столярные инструменты хозяина и куклы, сде- ланные хозяйкой... Еще не забудем сад за окном. Его отделяет от улицы не железная ограда, а дачный деревянный забор.

Легко представить, что мы находимся в Уусикиркко, Мартышкине или Териоках и вскоре все начнется сначала.

Пока же подведем итоги. Если «Бог сохраняет все», как написано на гербе, укра- шающем ворота Шереметевского дворца, он позаботится и о наших героях. Не только о Гуро, Матюшине и Громозовой, но и о тех, кто бывал на Песочной. Ведь «все» — это не только лучшее и значимое, но весь путь — вплоть до того, к чему мы пришли.

Валерий СКОБЛО

ЛУЧШАЯ В МИРЕ СТРАНА

* * *

Ангелочек в Любашинском парке,
по-моему, вот чем хорош:
Он не делает вида, что более
чем равнодушный свидетель.
Для него интереса в нас
ровно на ломаный грош:
Подойдем и потрем ему пальчик...
ну, право, не дети ль?

Ну, какой в нас секрет?
Чем отличны от бывших до нас на земле?
Сотни тысяч таких повидал он...
И что в нас такого? — скажи же.
Может, желудь, всю зиму
проспавший в подземном тепле,
Для него удивительней...
даже роднее и ближе.

Что мы знаем об ангелах?..
их, скажем так, неземном естестве?
Почему этот, маленький,
должен открыть нам заветный замочек?
Принесли вы носочки? —
Он ходит по мокрой траве
И босых своих ножек
вовек никогда не замочит.

Валерий Самуилович Скобло — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил матмех ЛГУ. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной литературной периодике: в журналах: «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Новый журнал», «Новый мир», «Сибирские огни», «Слово/Word», «Урал», «Номо Legens», билингве «Антология русской поэзии начала XXI века» (УМСА-Press) и многих других. Автор сборников стихов «Взгляд в темноту» (СПб., 1992), «Записки вашего современника» (СПб., 2011), «О воде и воле» (СПб., 2015), «За тайной печатью» (СПб., 2017), «Отплытие» (2022). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат премии им. Анны Ахматовой (М., 2012), лауреат международной премии им. Э. Хемингуэя (Торонто, 2020). Живет в Санкт-Петербурге.

Он потупил глаза и внимает вам,
 точно дождям и ветрам...
Этих слез навидался за шесть тысяч лет
 он в большом преизбытке.
Но мне кажется,
 кто-то подходит к нему по утрам
Уж в совсем распоследней...
 совсем безнадежной попытке.

* * *

Мало что здесь я вижу и слышу...
Но соседи не мрут от тоски.
То забор укрепляют, то крышу,
Поливают... и рвут сорняки.

В чередё этих дел пустяковых
Не страшны им жара и мороз.
Мало кто из друзей и знакомых
Так свой жребий приемлет всерьёз.

Не осудят ни драки, ни кражи...
Мы, наверное, с разных планет.
У меня, так покажется даже,
Ничего с ними общего нет.

Этих самых «моральных устоев»
Лишены... Кто-то скажет: «Вот жуть...»
Осуждать их?.. Что ж, дело простое...
На себя лучше нам бы взглянуть.

Вот опять чуть не падают с крыши
И опять починяют забор...
Пусть другой себя чувствует выше
Их земных повседневных забот.

* * *

После ветра и ливня ночного
Отключились и свет, и вода.
Но, привыкнув, не ждали иного:
Так и было всегда... ерунда.

Хорошо, хоть к утру посветлело,
Да и ветер утих и угас.
Моросило, но — ясное дело —
Не потоп в этот раз... Не сейчас.

Как же мы привыкаем к отсрочкам
И напрасно надежду таим...
Приглядишься чуть внимательней к строчкам,
К этим мыслям наивным моим.

* * *

Лишь на миг все застыло в природе.
Подморозило... Слабый снежок.
А вчера всё в другом было роде —
Злое месиво грязных дорог.

Завтра снова ударят морозы?..
Или оттепель — все поплывет?
Ждать, с какой стороны нам угрозы
И в какой попадешь переплет?

О капризах погоды? — Не только.
Неудобно сказать: о судьбе.
А судьбы только малая доля
Открывалась в окошке тебе.

* * *

Эти — Барочная, Лодейнопольская...
Вспоминаю — и дрожь внутри.
К старой школе дорожка скользкая...
И Зеленины... Целых три.

...Геслеровский, Петрозаводская,
Корпусная и пара Резных...
И подвалы, и крыша плоская —
Всласть побегал от дворников злых.

Оказалось, не все расчислено
И не Ждановка — миру край.
Как печальна пошлая истина,
Что где нету нас, там и рай.

Я пытался... искал, бывало, я —
Нет возврата к себе домой.
Мост Крестовский и Невка Малая...
— Боже мой, — я шепчу, — Боже мой...

Эрик ШМИТКЕ

МЕТОД ЛАПТЕВА

Повесть

Шел я лесом — видел беса.
Бес вареники варил.
Котелок на... нос повесил,
А из... уха дым валил.

Частушка

Жизнь вне искусства — вне жизни.
В. Шкловский. Теория прозы

Что Лэ Юань записал:

«Рассказывают, что, что Цуй Вэнь-цзы учился у Ван Цзы-цяо постижению пути бессмертных. Как-то Ван Цзы-цяо решил испытать его, действительно ли он постиг всю глубину учения, и, превратившись в белую цикаду, взял в лапу чашку с лекарством, что приготовил Цуй Вэнь-цзы. А тот страшно испугался, схватил попавшееся под руку копье и принялся колотить странное создание. Чаша с лекарством упала и разбилась, белая цикада исчезла, только на земле осталась пара туфель Ван Цзы-цяо. Цуй Вэнь-цзы испугался, что туфли тоже превратятся во что-нибудь страшное, и накрыл их плетеной бамбуковой корзиной. Разве мог он знать, что пройдет немного времени и из корзины вдруг раздастся крик птицы? Приподнял корзину, и вдруг оттуда выскочила пара больших птиц, расправила крылья и унеслась в небо.

Так все учение Цуй Вэнь-цзы оказалось пустой затеей. Пришлось ему сделать вывеску из красной материи и отправиться по миру: торговать лекарствами».

А у нас

Еще так рассказывают: что в субботу, 24 августа 2019 года, произошло некое проникновение. Кто-то *оттуда* проник *сюда*. Здесь при этом, наверное, можно было бы почувствовать; нечто. Возможно даже: твари наши тутошние и почувствовали нечто. Ибо живы той же жизнью, что и твари иных пространств. Ведь — как известно — все

Эрик Шмитке родился в 1957 году в Сибири, с 1965-го по 1980 год жил в Казахстане, в Целинограде (сейчас Астана), где окончил филфак местного пединститута. С 1980-го по 2015 год — Ленинград—Санкт-Петербург—Сосновый Бор. Сейчас живет в Баварии.

так называемые «миры» живут по одним и тем же законам. Потому что это никакие не иные миры, но иные пространства; а мир — один.

Твари-то, может, и почувствовали, но не осознали: они бессознательные. Ну а люди?.. Наверное, очень уж кратким был миг того проникновения. Раз уж даже самый чувствительный-пречувствительный Прибор не смог его отметить. А без показания Прибора людям, тварям — наоборот — сознательным, что-либо осознать — в наше время-то! — уже и... неловко. Если уж сам Прибор ничего «не почувствовал», то на «что-то почувствовал» (даже если и на самом деле почувствовал что-то) ни один человек внимания уже не обратит. Да и вообще: мы ведь постоянно что-то *чувствуем*. То беспокойство какое-то чувствуем ни с того ни с сего; или, так же ни с того ни с сего, зачесется вдруг в неприличном месте. Внимания не обратишь: так через мгновение ни тебе беспокойства уже нет никакого, и не чешется больше нигде.

В Лидо-ди-Йезоло — а именно там кто-то из *оттуда* проник к нам *сюда* — в тот миг часы показывали половину десятого утра. Наружность сей нелегал имел — женскую. А больше и сказать нечего о нем/ней, потому что наружностью совершенно средне-обыкновенной породы. И в смысле возраста, и в смысле внешности... И в смысле достатка, о чем можно было судить по одежде и набору аксессуаров: неплохие подделки под известные бренды. Тысячи женщин таких наполняют с мая по октябрь разноязычным гомоном дни и ночи этого недорогого, но все же итальянского, да еще и рядом с самой Венецией расположенного курорта.

На следующий день

В воскресенье Виктор Егорович Лаптев проснулся в номере четырехзвездного отеля «Виктория», как обычно, рано. В сезон полевой работы он всегда просыпался так: не вмиг, но буквально — в один миг. То есть открыл глаза, еще под одеялом лежа, мигнул раз, и уже ноги в пол уперты; встал рывком. Душ холодный! Так — обычно — когда у него «полевой сезон».

Только вот что-то очень уж настроение легкое у Лаптева сегодня. Сон хороший, скорее всего, приснился; так он сначала понял. Жаль, что снов своих Виктор Егорович не запоминает, не умеет; такое уж свойство его натуры. Другие люди хоть что-то помнят, бывает, даже целые сны свои запоминают, иначе зачем бы были испокон «Сонники»? Когда это и хорошо даже: снов своих не помнить, но чаще — и жаль.

Как сегодня. Когда — точно ведь! — хорошее что-то Виктору Егоровичу приснилось. Это все: пока фыркал, обтираясь шершавым полотенцем. Подмигнул потом зеркалу — себе. Вышел в гостиную: вся наполнена солнцем и свежестью; перед душем раздвинул гардины, открыл двери балкона. Вышел: пляж еще пуст, и море пусто, до горизонта; небо тоже — ни облачка. Закурил сигарету.

А потом вдруг такое! Когда в последний раз стряхнул пепел через перила балкона и повернулся — позади его, на подоконнике пепельница — чтобы окурочек загасить, глазам не поверил. Полная пепельница бычков; с горкой. (А в номере каждый день уборка; и пепельницу на балконе — тоже: четыре звезды!) И выходит, что он как вернулся вечером вчера, так за пару часов целую пачку выкурил что ли? Оп-па... Вот тут и обомлел он: «Да я вообще не помню, что вчера делал, когда вернулся!» Лихорадочно стал вспоминать... «Когда в город поднялся, сигареты купил. Покурил еще под фонарем; помню... А дальше-то ничего не помню!»

Тут бы и испугаться, вообще-то, Лаптеву; мало ли что в его-то возрасте; может, это уже первый звоночек... «деменция». Любил Виктор Егорович это модное в последнее время словечко, слышать спокойно не мог. Смех напал на него невольно: представлял

сразу некую крепко постбальзаковского возраста пошарпанную даму в дырявых митенках, которая ему подмигивает недвусмысленно... Так что не испугался он; да еще и настроение такое чудесное. Ну не помнит, так и — хрен с ним! Бодро в номер вернулся.

В гостиной бросил полотенце на пол. В спальне: сначала часы надел на запястье. Трусы где?! Не было трусов в спальне — нигде. В гостиной на диване нашел их. Ну а это еще что?! Вот так вот: слева на диване — его одежда, в чем вчера вечером был. Сложена аккуратно: бейсболка, футболка, джинсы. Трусы сверху.

Это — ладно: мог сложить аккуратно и сам: всякое бывает иногда. А вот!.. А вот справа на диване — поменьше стопочка: сарафан (или как там они сейчас это называют: легкое и полупрозрачное?) цвета здешнего моря, бюстгалтер и трусики — того же колера. Да и такое, по большому счету, тоже — хотя и не помнит Виктор Егорович даже *этого* — случается. И беспамятство свое тут же объяснил бы себе он: опоида да обокрала. Поверил — не поверил бы... и неважно; тревожиться не стал бы. И что голышом ушла неведомая гостя, тоже чудесного его настроения не расстроило бы. Сейчас-то рано, а ушла баба эта ночью еще, скорее всего; ну, увидел ее портье на ресепшен... по фиг! А вот... на столе увидел Лаптев два колечка золотых с камешками и серьги. Это может стать проблемой: вернется же! Мотать надо отсюда поскорее. Глянул на часы: на работу давно пора.

Лифт Виктор Егорович проигнорировал, по лестнице спустился. Двойной умысел был: во-первых, если портье на ресепшен в другую сторону смотреть будет, можно незаметно из отеля выйти; по фиг-то по фиг, но без этих ухмылочек *понимающих* все же лучше бы обойтись. Во-вторых, пока пускаешься, можно и шутку какую подготовить, если портье все же увидит.

Повезло Лаптеву: на ресепшен за стойкой в этот ранний час вообще никого не оказалось. Свободен путь!

ЧАСТЬ I

Гимн

Воссуществовал я, и воссуществовали существования!
 Воссуществовали существования после того, как воссуществовал я.
 И вышли существа из желания сердца моего, силою воли моей
 Вышли существования. И дал я им сущие имена их разумением моим.
 Положил я основание, и воссуществовали многие
 От существ, рожденных от существ, рожденных ими.

Табличка первая: со слов Сапогова, прорицателя; дословно

Она, которая вне времени, безначальная и бесконечная, которая не была и не будет, но есть вечно, что станет матерью всего сущего прежде, чем стать матерью, — такие записи в древних книгах о том; вот какие записи в древних книгах есть о том:

«Она откроет глаза, и не увидят глаза ее ничего, кроме тьмы. И будет пуста тьма та. Откроет глаза Она во тьме, на тьме и под тьмою. И будет Ей пустота повсюду.

Тогда обопрется Она. Обопрется затылком своим раздвоенным, песьим, обопрется выей своей крепкой, как самшит с горы двенадцати попугаев, обопрется спиною своею, обширной и мощной, как потоп. Так обопрется Она на твердь под собою.

Тогда упнется Она. Упнется могучими руками своими, полными жизненной силы, подобной силе ртутного столпа. Левою рукою своею упнется она в твердь, что над нею, и правой рукою упнется, в твердь, что над нею; упнется ногами своими, что силой своей не уступят силе ног волшебной птицы, Воробей именуемой в древних сказаньях; птицы, которой не существует.

Так разделит Она единую твердь, что во мраке прежде была, в пустоте. Верхнюю твердь от тверди нижней отделит Она, могучая, силою мышцы своей. И станут тогда тут: над головою небо и земля под ногами. И все еще будут мрак между ними, в котором не различить их: небо и землю. И будет холод меж них, а жизни не будет.

Сотворит Она волей своей поначалу из плоти своей надежную сущность, корову; тварь крепкую сотворит, чтобы небо держала. И не упало бы небо на землю, и не стало, как прежде: только тьма в пустоте. И явит еще Она здесь поначалу свет и тепло. Вырвет правое око коровы она и волей своею светом наполнит его, станет — солнце. И солнце осветит небо, и землю, и все, что меж ними; и наполнит теплом. Вырвет левое око коровы Она и в свет окунет, и станет — луна. И укажет Она им их путь по небесному своду.

Чтобы силы мышцы и твердости духу корове достало, чтобы надежно корова работу свою исполняла, Она так повелит: поначалу корова чтобы луну проглотила, чтоб отдохнула луна, пока солнце небесный свой путь исполняет. Когда солнце исполнит свой путь и вернется к началу, из утробы своей на небо отпустит корова луну, чтобы она исполнила путь свой небесный. В тот же миг: солнце проглотит корова, чтобы в утробе ее отдыхало, пока не закончит луна небесный свой путь и вернется к началу. Время солнца в небесной дороге Она днем назовет. Ночью время луны — именуется.

Когда явится свет, увидит Она, что пуста вся земля и пусто все небо: без жизни, без смысла. Душа заболит Ее болью неисцелимой, болью печали. Ибо без смысла печалится болью великой живая душа. Живая душа жаждет смысла, чтобы долг свой исполнить, чтобы в предназначенье своем осуществиться.

Боль души Ее память разбудит, и вспомнит Пророчество, что знала Она и забыла; вспомнит долг свой тотчас Она. Сердце Ее восплает, желая творить! И удалится Она в сокровенное место, в потаенное место. Туда, где песок берега замерзшей воды; песок жизни и смерти. Из песка берега замерзшей воды по желанию сердца своего и силою воли своей осуществит Она все сущности, что жизнью заполняют пространство. Сделает так, что смертные твари творенья Ее — все вместе, согласно — будут единою жизнью бессмертной». Такие есть записи в древних книгах о том; вот какие записи в древних книгах есть о том.

Я, Сапогов, прорицатель. И я прорицаю; верно вам говорю: верьте тем записям! Воочию то увидел я сам, что древние, которых не стало, записали в тех книгах. Так будет и станет здесь — непременно.

Утром накануне. Не совсем понятные телодвижения

На много километров переходящие один в другой бесконечные пляжи Лидо-ди-Йезоло кишат людьми; как говорится — яблоку упасть некуда. Жара с утра; вода в море такая нежная: прохладная — в меру. Броуновское движение тел, в воду с берега и из воды на берег, всех мастей и калибров; в глазах рябит. На мелководье в десятке шагов от берега среди купальщиков, которые с возгласами и с телодвижениями, одинаковыми на любом пляже мира, заходят в глубину моря и выходят из глубины моря, почти неподвижно стоит по грудь в воде известная писательница женских романов Снежана Ардугина. Автор многочисленных бестселлеров, переведенных в двенадцати языках

по всему культурному миру, а некоторые — так и в окрестностях; многие экранизированы, и не только в России. Стоит спиной к пляжу, смотрит в горизонт.

Адриатические волны накатывают плотно, от горизонта разогнавшись, плавной ласковой тяжестью; мягко толкаются. Подается на шаг-другой почти неподвижная фигура, и тут же обратная волна вернет ее на прежнее место. Забавно: обратная волна от берега возвращается через пару секунд, ждать от горизонта следующую нужно гораздо дольше; как будто пропадают некоторые из них по пути.

Давно уже стоит так: в горизонт глядит. Лодки — и парусные, и просто весельные — все больше их буквально с каждой минутой — скользят плавно. По абсциссе, слева направо и справа налево. Головы самых лихих пловцов, напротив, все больше вдаль, по ординате: чуть заметные точки среди бескрайней равнины, уходящей полого, вдаль все выше и выше — в небо. Глядит в горизонт бездумно; видит, но не замечает: цвет моря там... мог бы напомнить нечто, что давно затерялось в глубинах памяти; не вспоминается, да и неважно. Давно так стоит, в волнах колышется.

Ближе к полудню фигура на мелководье разворачивается неспешно к морю задом, к пляжу передом. Мелкими шажками в воде движется к берегу. Выступает сначала из воды мягкая грудь, поросшая густо черным волосом. Затем — животик, нависший над резинкой купальных шорт; и по бокам над резинкой жирные складки нависли. Женская писательница Снежана Ардугина в реальной жизни — это шестидесятилетний Виктор Егорович Лаптев. (В детстве маленький Витя долго вместо «радуга» говорил «ардуга». Еще дольше, класса до третьего говорил вместо «адвокат» — «авдокат». Но то — не пригодилось.)

Что с ним сегодня — сам не знает. Единственное свободное *окно* у него в «полевой сезон» — в субботу, с утра до полудня; все дни остальные работа только. Использует обычно Лаптев это краткое время свободы — по максимуму. Не в отеле с «камертоном» завтракает; сам себе хозяин. Сначала чашечку эспрессо просмакует где-нибудь по пути к Роберто; у Роберто завтракает уже неспешно.

— Lode a Madonna! Avevo già paura che il sabato non sarebbe arrivato, — неизменной шуткой встречает его Роберто каждый раз.

Сюда Виктор Егорович ни разу не приводил своих женщин.

После завтрака шел Лаптев на пляж. Конечно, каждый день он на пляже, не только в свободное субботнее утро; но то — по работе. Совсем иначе, когда для себя: бросался с разбегу в море и махал саженками далеко за буйки... Что с ним сегодня; сам не знает: зашел в воду и встал вдруг, где дети плещутся. Так и простоял, бестолково растратил свободное время. Теперь идет работать; злиться на себя. И утешается, мол, последняя неделя осталась тут: потом отдохну.

Виктор Егорович возвращается в отель. Поднявшись в свой люкс, на ходу сбрасывает мокрые шорты на пол в прихожей; быстро ополаскивается в душе. Он спешит привычно... поначалу. Но потом, когда быстрыми отработанными движениями вытирается жестким полотенцем, в какой-то миг вдруг руки опускаются сами собой; полотенце соскальзывает на пол. И так стоит он, мокрый и голый, довольно долго; наваждение какое-то. Прямо напротив большого в стене зеркала, а не сразу свое отражение — мокрое и голое — видит. Потом лишь: решительно поднимает полотенце!

Виктор Егорович, конечно, человек строгой обязательности; справляется. Только все же хочется понять ему: почему сегодня не хочется работать? Ладно бы не вышло что или, к примеру, зуб заболел... Да, нет же — все та же рутина, которую делает он не напрягаясь. Неделю еще всего-то...

Пока недоумевает, Лаптев быстро одевается и теперь спешит на работу. Успевает, кто бы сомневался! На часах в холле дешевой гостиницы «Нептун» без четверти две-

надцать. В тесном номере Виктор Егорович забирает накануне уложенный, большой пластиковый чемодан. Оставляет на столе мелочь — чаевые горничным. Рассчитывается на ресепшен. Портье вызывает такси для него.

Лаптев далеко не едет, через пять минут отпускает такси на автовокзале. Выкуривает у стоянки автобусов сигарету. Наблюдает, как у пустого автобуса крупногабаритная брюнетка с усиками над верхней губой, страстно жестикулируя, визгливо ругает на чем свет стоит тщедушного мужичонку. Тот молча курит; потом отбрасывает окурок, что-то говорит негромко. Брюнетка, как будто выключателем щелкнули, замолкает на полуслове. Хватает суетливо свои сумки и, не оглядываясь, быстро семенит к вокзалу; мужичонка поднимается в автобус; водитель, похоже.

И Лаптев отбрасывает окурок, идет за теткой следом. Неспешно делает пару кругов по залу ожидания. Выходит на стоянку такси, берет машину. Едет он в такой же недорогой, как тот, из которого четверть часа тому назад выписался, трехзвездный отель «Президент». Там *заселяется*. Номер — еще более тесный, зато с биде! Развешивает кое-какую одежду по плечикам в шкафу, бросает на кровать раскрытый чемодан и спускается к обеду.

...Все, как должно. Сначала осмотреться, потом к морю. Загорать: такая уж работа у Виктора Егоровича — в поле. Сетка полевых работ годами вырабатывалась им, отшлифована теперь, как камешки в море. У каждой недели свое задание, свой регламент. И что с того, что начавшаяся неделя последняя в этом полевом сезоне? Что уже не столько для самой работы она, сколько чтобы напоследок «взглядом окинуть». Удовлетвориться: это хорошо. Или поправить что, чего раньше не приметил в работе.

Рабочая неделя для Лаптева начинается и заканчивается в субботу — в день отъезда, он же и день заезда в курортных гостиницах. Выходных в те полтора месяца, пока длится его сезон, Виктор Егорович не имеет, несколько часов в неделю только — для себя. Суббота — важный день, день завершения одного курортного романа, он же и день начала следующего. Так он работает: в поле. Полевая работа для него: основа основ, фундамент и краеугольный при написании каждой книги. Это зовет он, подмигивая зеркалу — себе, *Метод Лаптева*.

А работать все так же не хочется!

Доклад, представленный на соискание

Уважаемый Председатель, уважаемые коллеги!

Позвольте предложить вашему, надеемся, благосклонному вниманию отчет о проделанной нами за истекший период научной работе. Как известно, для объективного исследования ваш, уважаемый Председатель, предшественник предложил тему «Место и научное значение „Книги Перечисления, или Сделай Сам“ в ряду письменных памятников Допотопной Эпохи». Мягко говоря, мы были не очень-то обрадованы таким предложением! Многие из вас, коллеги, присутствовали на том заседании ученого совета и, мы уверены, можете подтвердить, что тема была не столь предложена нам бывшим Председателем, сколько волонтаристски навязана. Заметим в скобках: завидеем тем, кто обратится в ученый совет на предмет соискания в вашу, уважаемый Председатель, легислатуру...

Докладчик наливает из графина воду, делает несколько мелких глотков, глаза скромно потупив. Короткая пауза при полной тишине. Ее прерывают аплодисменты откуда-то из глубины зала, громкие в тишине. Через несколько мгновений подхватывают остальные. В президиуме академик Ерболов незаметно подмигивает

Председателю; тот делает вид, что не замечает. Замечает про себя: племянник Ерболова начал...

Но оставим эмоции! Понятные и оправданные, хотим заметить, эмоции... Позвольте продолжить.

Как известно, «Книга Перечисления, или Сделай Сам» — это четвертая книга так называемого Хинаврейского Пятикнижия. Следующая за первыми тремя — «Книгой Без Слов», «Книгой Весов Н. В. Свиста» и «Книгой Музыки, Чисел, Поговорок и Церемоний Дам Полусвета» — и, в свой черед, предшествующая последней, пятой книге Пятикнижия, которая до сих пор не имеет в науке строго закрепленного имени; чаще всего ее называют «Книжечка Надьки-дурочки».

К слову заметить: на наш объективный взгляд, было бы куда более плодотворным исследование даже этой с точки зрения науки спорной «Книжечки», которая представляет собой даже не цельный текст, а более позднюю компиляцию. Причем, компиляцию, на наш взгляд, довольно рискованную. Нужно обладать граничащей с откровенной натяжкой нескритичностью допущения, чтобы на основе весьма субъективно определенной «общности мотивов» решиться на подобную компиляцию.

Знаки на черепках из раскопок, по времени относящихся к Эпохе Синего Императора (причем, заметим, знаки до сих пор научно достоверно не расшифрованные) объединить в единое целое с рисунками на черепашьих панцирях из пещеры Гу-Юй, которые, как известно, относятся к куда более ранней Эпохе Валета! Это, считаем мы, как Объективные Исследователи, больше похоже на авантюру, нежели на научный подход. Да и позднейшие попытки некоторых, так называемых, популяризаторов, не имеющих отношения к серьезной науке, оправдать компиляторов некими, видите ли, «схожими мотивами» в фольклоре разных народов зиждется на весьма и весьма спорных основаниях.

И несмотря на все это, если бы было позволено, наши знания и умения, нашу анагажированность, наше упорство, что вложили мы в работу над навязанной нам волюнтаристским образом темой, смогли бы направить мы на объективное исследование «Книжечки Надьки-дурочки», то принесли бы науке куда больше пользы. Но мы уважаем иерархию и дисциплину, без которой, мы уверены, наша Академия не добилась бы своего, по праву заслуженного, высочайшего авторитета. И — не только в научном мире. И постарались честно выполнить порученную нам работу...

За столом президиума Председатель глядит на часы, шепчет на ухо академику Ерболову: «Вот стервец, ловко воду льет!» Ерболов про себя, довольный: «Ловчила, на такой пустой теме, глядишь, тайминг-то вытянет». Председатель снимает часы с запястья, кладет на стол перед собой, точно подслушал мысли Ерболова.

...Итак, что можно определенно и доказательно, с чистой, так сказать, научной совестью, извините за тавтологию, сказать, о четвертой книге Хинаврейского Пятикнижия, так называемой «Книге Перечисления, или Сделай Сам»? Приходится признать: с научной точки зрения — немного.

Докладчик делает паузу; глаза опущены долу, точно задумался. Зал понимает иронию; слышны смехи. Председатель косится на свои часы. Кстати, часы на вид как бы и простые, но академики в президиуме понимают: «Калош!..» Наконец докладчик рывком поднимает голову, точно решился — в омут.

Вот разве что, во-первых, книга эта по своему объему самая большая из всех книг Пятикнижия. Ну и, во-вторых, она и самая бессмысленная из всех. Так что, наверное, все же можно — нет, не оправдать, конечно, но как-то и понять суеверие, которое издавна бытует среди простонародья: мол, если кто прочтет «Книгу сделай Сам» от начала до конца, тот сойдет с ума и потеряет разум.

Мы — прочитали... вот. Все восемь тысяч сто листов. Надеемся, что в кругу академиков можно признаться в этом, без того, чтобы...

Смех в зале. Докладчик вновь медленно пьет из стакана, аккуратно вытирает губы платочком.

Да, ровно восемь тысяч сто листов в «Книге Перечисления, или Сделай Сам». Перечислены в ней и подробно описаны также равным счетом восемь тысяч сто тварей. Причем, нужно заметить, не всегда описание той или иной твари помещено, как можно было бы предположить, на один лист. Некоторые описания занимают до трех листов, другие — пару строчек.

Хотя в науке прочно закрепилось понимание слова «Перечисление» в названии Четвертой Книги как определения метода, а именно — перечисления восьми тысяч ста безымянных тварей, все же нам, Объективным Исследователям, представляется, что такой подход к толкованию термина не только сужает, но и несколько обедняет содержание книги. Помимо статичного описания самих тварей, достаточно много места в Книге занимает и перечисление некоего действия: твари действуют. Каждая из них — совершает действие. Однако поскольку все их действия, в принципе, одинаковы, можно сказать, что в Книге описано одно действие, выраженное повторяющейся устойчивой формулой: «Сотворил для себя самого сам из плоти своей».

Но ведь — восемь тысяч сто раз! Разве нельзя назвать и это также: «перечислением»? Чтобы не нарушать выработанные великими предшественниками, принесшими заслуженную славу нашей Академии, принципы и традиции научной работы с материалом, позволим себе здесь процитировать самое начало «Книги Перечисления, или Сделай Сам»:

Сотворил он из плоти своей сущность другую, ибо так пожелал. И сделал ее, как замыслил. С сердцем своим он разум тут сверил; сердцу разум образ представил, а сердце решало. И стал тот, другой, ростом выше дерева, выше всех деревьев. Голова его была льва, а тело дракона, были ноги его, точно могучие змеи болота; все семь. А на крыльях по семь пальцев со стальными когтями. Так разум представил могучего и устрашающего врагов своих силой ужаса. А сердце украсило красотой приятия: окрасило гриву льва синею краской, огненно-желтым глаза. В золоте тело дракона, и в крыльях все перья, как радуга красками блещут.

А потом сотворил он из плоти своей еще одну сущность, второго другого, ибо так пожелал. С сердцем своим он разум тут сверил; сердцу разум образ представил, а сердце решало. И стал тот второй другой с телом лани наполовину, наполовину кобылы, панцирем черепахи тело покрыто. Голова крокодила, а хвост петуха. Пасть полна клыками, они точно сверла; рога из железа. Так разум представил могучего и устрашающего врагов своих силой ужаса. А сердце украсило красотой...

Просим извинить за столь длинную цитату.

Увы, время в прежние времена было в физическом выражении своем несколько большим, нежели нынешнее, наше с вами время. И чем дальше от нашего времени отстоит в прошлом та или иная эпоха, тем больше времени у нее в запасе. Потому люди

давно ушедших эпох не спешили и могли себе позволить стиль, каким написан процитированный нами выше текст. Авторы тех времен не торопясь складывали слова в предложения архаическим способом *селекции*, подбирая слово за словом да еще и стараясь соблюсти правила так называемой «грамматики». Даже предложения старались они соединить столь затратным методом, как «Метод внятного повествования». Конечно, мы могли бы пересказать этот неудобочитаемый текст словами нашего времени, однако считаем, что не можем поступиться принципами объективности.

В президиуме академик Ерболов подмигивает Председателю; тот, даже не глянув на свои часы, понимающе кивает головой; оба — довольны.

Далее в тех же повторяющихся устойчивых выражениях «первый», что сотворил сначала «другого», а потом «другого второго» — «ибо так пожелал» — сделал еще троих «других», но действовал несколько иначе при этом: «Сделал он сначала головы всем». Первому одну голову, лошадиную; второму две головы — лиса и журавль; третьему — три головы, одинаковые: богомола. Конечно, рога, клыки и всякие устрашающие штуки. На туловищах тоже всякое, что должно ужасать; все три туловища — носорога, жабы и попугая — соединены так: посредине попугай; его левая лапа срослась с правой лапой носорога, а правая с левой лапой жабы. «А сердце украсило красотой...» Скрупулезное описание.

Лишь только сотворены они были, сразу *другой и другой второй* тут же принялись за дело, «*ибо так пожелали*», и, в свой черед, наделали еще разных существ, наделив их «*силою ужаса и красотой приятия*».

Тем и заполнены все страницы «Книги Перечисления, или Сделай Сам»; восемь тысяч сто существ, каждое сделано кем-то и само кого-то сделало: по одному, двойняшками и вплоть до семерняшек (*листы 97, 311 и 2009*). И все они в самых чудовищных сочетаниях лап, хвостов, тел, голов, крыльев — разных животных, птиц и рыб. И наделен каждый «*силою ужаса*», какая только могла представиться дикому представлению. И «*красотой приятия*», как простодушному сердцу мило — поярче.

Мы уже говорили выше, что Четвертая Книга абсолютно бессмысленна. Однако согласитесь, уважаемые коллеги, с другой стороны, из всех книг Хинаврейского Пятикнижия «Книга Перечисления», поскольку самая бессмысленная, то она и — самая толковая. Что логично, и не вызывает удивления. Ибо, согласно истинному закону Ньютонова яблока, «чем бессмысленнее объект, тем более способствует он безопасному профитированию субъективного толкования». Поэтому этот древний манускрипт, как мух, притягивал, притягивает и будет притягивать всех мастей толкователей. Мухам же и на самом деле нет разницы, какая из *двух субстанций* на самом деле возбуждает их мушиный инстинкт.

Одобрительный смех в зале.

Мы подошли к концу нашего доклада. Что могли доложить — доложили. Увы, ничего нового или хотя бы такого, что могло бы пригодиться для науки в дальнейшем, этой работой мы предложить уважаемому собранию не можем. С каким бы пиететом, с каким бы уважением не относились мы к памятнику, хотя бы уже за то, что дошел он в сохранности к нам из глубины веков, объективно — пользы для науки он никакой не представляет. Но ведь и не в самом памятнике суть нашей с вами работы, а в серьезном и ответственном отношении к самой работе нашей.

Уважаемый Председатель, уважаемые коллеги, спасибо за ваше внимание и — особенно — за долготерпение. Мы же со своей стороны с нетерпением станем смиренно

ожидать вашего решения. Надеемся, что наш доклад, несмотря на его бесполезность, соответствует строгим критериям и традициям Академии и сможет убедить высокую Академическую Комиссию в достаточности нашей квалификации для продления лицензии на академический паек.

Откуда-то сбоку раздались одинокие аплодисменты. Никто на этот раз не подержал: ни в зале, ни тем более в президиуме. Только головы повернули, да многие и... взглядами залипли. То юная практикантка из «Общей газеты» оплошала, покраснела, а в коротком сарафанчике — фигуристая. Президиум в полном составе удалился неспешно за кулисы, где уже ожидали их объемистые пакеты, в некоторых даже — незаметные в глубине — пухлые конверты.

Копия, на всякий случай

В мужском туалете областного ПНД. Пациент Ё. рассказывает своему отражению в большом мутном, во многих местах выщербленном зеркале. Говорит громко, стараясь перекрыть звук воды в неисправном сливном бачке.

...А потом этот урод, которого сострыгала та корова из своего мяса, плюнул в ее сторону и убежал. Бегал там взад-вперед. Устал когда, пить захотел. И тут увидел морду свою в отражении в каком-то озере не озере, болоте не болоте, короче — в стоячей воде. Не сразу дошло, что сам себя видит. Когда дошло, завопил:

— Какого, на фиг, хрена я такое вот чмо, что глазу не на что глянуть?!

И решил: мол, все исправлю; покажу — как надо! Переделаю себя, чтобы и вид внушающий, и красота. И давай тут сочинять!

«Не буду, — решил. — Как глупая слепая корова, а такое сотворю сейчас, чтобы и вид внушающий, и красота. Чтобы у всех сразу хлебальники отвалились».

Ну и давай сочинять, сочинитель х...! Сам просекаешь: что может сочинить чучело, которое слепая корова смастырила. Забавал себе урод урод — еще страшнее, чем сам! Помнишь еще? Типа той сколопендры о трех туловищах, точно светофор — красное, желтое да зеленое — и с петушиной головой в одиннадцать глаз без зрачков и в бейсболке... Мы еще в музей продать хотели, да поймать не смогли.

Смотрит на творение свое этот, и, похоже, понравилось ему. Тут же с ходу еще смастырил парочку: барана да ярочку; как, помнишь, контролер Штиблетов говорил. Да и эти оба — уроды, один другого смешнее.

Тогда этот коровий хвост, мастер — руки в заднице, пузо выпятил и базарит:

— Эй вы, сюда смотреть!

А те забили; что-то между собой перетирают.

— Вы там не опухли? — еще громче он к ним. — Я вроде как пахан ваш, потому вы это... тут... должны, короче...

— Кто ты такой? — они ему, нагло так.

— Я? Я... — тут же он их лечит. — Имя мое Дрищ, что значит Наипрекраснейший под солнцем и Наисильнейший под луной... Или, для кентов, по-простому: Герой.

— Жопа с дырой! — заржали они и поканали себе куда-то.

А сопля коровья с той поры поумнел, видно. Никого больше не матырил. Сочинять стал втихаря; тихо сам с собою... Короче, брателло, фантазией тешится. А фантазия, она ведь целиком в его власти: и сама ничего не попросит, и не увидит ее никто — нету... А на нет — и спроса нет: коль никто не узнает, все можно себе позволить.

Насочинял себе вагон и маленькую тележку. Тут тебе и нечто с телом наполовину львиным, наполовину бегемотовым и с головой крокодила. Или вот еще — два гор-

ба в бородавках на вздувшемся пузе. Пасть на пузе же во всю ширь. Язык в пасти так поместил, наоборот, чтобы рос в обратную сторону, внутрь пуза. Когда говорил, хрен просечешь. А головы и совсем нету.

Так тешился долго, а потом надоело как бы. Только я так понимаю, что просто на большее фантазии не хватило. Все одно и то же да одни и те же; каждый день. Закис поначалу он было... А потом, знаешь, как выкрутился? Придумал, чтобы и надолго, и не париться: всем, кого раньше сочинил руки-ноги пообрывал; глаза повывкалывал. Оставил каждому по одному глазу, по одной ноге и по одной руке; ну, или по одному крылу, кто с крыльями был. Так что теперь нормально видеть, ходить и летать они могут, только объединившись попарно. Сиди себе на заднице ровно, представляй себе, как кто и кем соединился. Раз так, другой раз иначе... Вариантов-то море. Круто придумал!

ЧАСТЬ II

Проясняется понемногу

У геолога он это подобрал: «полевой сезон». Еще в самый первый раз, в Сочи. Олеся ее звали; из Хабаровска, хохлушка чуть за тридцать. Решительно не разрешала называть себя «геологиней» даже Лаптевым предложенную как бы в шутку, благородную «геологессу» отвергла; только — «геолог». Без тормозов была нимфоманка. Сама Лаптева захомотала в первый же вечер; он и не сопротивлялся даже. Понятно, с ней какая работа? Когда улетела, пришлось дополнительно денег у Вильдавского просить, чтобы остаться — поработать наконец уже. Остались от той Олеси: отрицательный опыт да полюбившееся: «полевой сезон».

Это — все же с иронией. А вот «метод» у Виктора Егоровича термин серьезный: без улыбки. Гордился он про себя: «метод Лаптева»! Это как у Бажова — с детства запомнилось ему — «секрет мастера». Если бы спросить у Лаптева: в чем суть? как работает? Режь его, не сознается, не скажет. И не потому, что за столько лет не сформулировал, не определил (даже для себя) ясными словами, хотя грешил часто: словами. Из суеверия бы не выдал — *секрет*.

А в самом деле, какой тут такой секрет-то? Почти случайно так с первой книжкой вышло: негаданно, сверх ожидания успешно. Так же и со второй решил попробовать; от добра добра не искать. И снова ведь — успешно. Так и сложилось у Лаптева: если коротко, то так, примерно...

После того как сначала фабулу придумает, потом сюжет себе более или менее определит, тогда — это очень ответственный для Виктора Егоровича момент, тонкий — *гудит* он. Как трансформатор какой: трансформирует то, что есть за душой, в некий приблизительный образ; пытается представить, для кого лучше *подойдет* эта история, что он в новом романе рассказать хочет. Короче: для кого писать. Писать *вообще*, для некоего абстрактного «читателя» Лаптев не умеет; для вполне определенных, надежных, читательниц пишет книги свои Снежана Ардугина. А про то, что можно писать «не для кого-то, а для того самого, что пишется», она и не подозревает. Лаптев знает про то, только... свой шесток тоже — знает.

Когда Виктор Егорович, а порой бывает — не один месяц ему потребуется для этого, более или менее *притрет* их друг к другу, сюжет с «читательницей», едет в Лидо-ди-Йезоло он. Вот уже тринадцатый год — сюда. Поначалу искал еще... Первый раз, в 1992 году, Сочи; потом — перебрал достаточно: Анталья, Пхукет, Шарм-эль-Шейх... Работа спорилась, но душе чего-то не хватало. Решил уровнем подняться немного,

да и денег уже доставало. Думал в Испанию, а получилось — в Лидо-ди-Йезоло. Сразу понял, что здесь; как будто щелкнуло что-то в душе, и встало все по своим местам; определилось.

В Лидо снимал Виктор Егорович номер в дешевом отеле (много перебрал за все эти годы). Знакомился с женщинами, тут их много, из России, которые, как определил уже твердо, *подходили*. Заводил с ними он либо *курортный роман*, либо (реже; однако, почему-то, производительность труда и отдача — выше) *дружбу*. Таких присматривал, которые через неделю, максимум через две уезжали бы... С ними «общался» Виктор Егорович до их отъезда; порой бывает, что и до «своего отъезда». Звучание верное подбирал роману своему, *настраивал*.

Важно, чтобы секс, если он все же был, не стал главным в их общении; разговоры о жизни, все такое... «Дама с собачкой» — без продолжения. Понемногу, аккуратно — когда тут что расскажет ей, как бы из жизни, когда там — то совета спросит, то еще с какого края сюжет свой подсунет; слушает, что скажут, как поймут... даже подскажут вдруг что, бывало. Женщин тех зовут для себя «камертонами» Лаптев.

Безотказно метод работает! На самом деле как камешки в море, временем отшлифован. Метод Лаптева... А время в Лидо-ди-Йезоло называет Лаптев «полевой сезон» или «работа в поле», хотя и с иронией, но ему — по душе.

И чтобы не спугнуть удачу, не изменял он ни разу методу своему. Только в этом году позволил себе небольшое изменение, да и то не по сути, а так — чисто формально: захотелось комфорта. Не молодой уже, да и заслужил: такая вредная, нервная работа у него тут. Да и... денег уже с лихвой. Поселился в номере — люкс respectable отеля, устроил себе, тоже от Олеси осталось, «базовый лагерь». А для легенды снимал, как прежде, номера в дешевых гостиницах.

Откуда у Лаптева метод его? Ну, Снежана Ардугина могла бы ответить в своем стиле: мол, два корня вскормили и вырастили столь необыкновенно плодоносное *дерево*. Виктор Егорович, конечно, такого бы себе не позволил: моветон. Как бы иронизируя, с намеком, так бы сказал: «Если у некоторых, если помните, при старом режиме, было три источника, то у меня их только два».

Первый источник Метода Лаптева — это Борька Вильдавский, конечно. Второй — Надька Коровайкина, дурочка.

Первый источник: Вильдавский

Сколько себя помнил Витя Лаптев, столько помнил Борю Вильдавского. В садике, в школе, в университете — был рядом. С ним не было скучно никогда. Как-то так всегда выходило, что хотя интересы у обоих были общие, но в начале почти каждого их интереса: Вильдавский. Сказать нельзя, чтобы Лаптев ведомым был; умел он и сам разглядеть интерес: найти или придумать. Только Борька, как правило, чуть быстрее: и разглядит, и найдет, и придумает. Однако пусть и первый, но всегда: то же, что и Витьке интересно. Адренолинозависимы оба были в степени почти равной. Если б не были первыми учениками оба, то выходило — хулиганы и хулиганы.

Вот чем отличался Боря Вильдавский, так это умением найти выход из самой сложной ситуации, вывернуться в любой передрыге. И похоже (об этом, конечно он и не думал, просто было так), Лаптев не только от отчаянного характера своего лез в любой кипеж, какие постоянно Вильдавский заваривал, но и потому еще, что знал: с Борькой — пронесет.

Как тогда, в дурдоме. В четвертом классе, после субботника.

Прежде как-то на субботниках в школе или рядом где общественно полезным трудом занимались, а в тот год погнали на окраину, саженьцы в Юбилейном парке высаживать. Когда закончили, Борька к автобусам не пошел, сказал:

— Витька, здесь же за парком дурдом областной, рядом.

— И что? — не понял Лаптев.

— Узнаешь что, — темнить он любил. — Пошли.

И ведь дорогу знал, как будто был здесь когда. И знал, где пролом в высоком кирпичном заборе: в бузине и не заметишь. Продрались по кустам к задней стене, окна за решетками, открыты вовнутрь; тепло уже. Высоко окна, но кирпичи подложили, можно заглянуть.

— Женское отделение, — с восторгом в шепоте Борька и руками за решетку, подтянулся; рожа уже в окне. — Гляди!

Тогда и Витька подтянулся на решетке: тетки в серых мятых ночнушках; кто взад вперед слоняется, кто на кровати сидит; лохматые, как ведьмы. Свистнул Борька негромко, тетка с ближней кровати встала, подошла, за ней еще две. Она толстая такая, а те две... да Лаптев и не разглядел их. Борька потому что сказал ей:

— Покажи сиськи, тетя.

Она ночнушку задрала выше головы. И... лохмы под обвисшим животом, а на животе... сиськи эти самые. Долго потом Витю еще преследовала картина: два огромных расплывшихся соска. Тогда же — увидел лишь, да ничего не почувствовал... такого. Только страшно было: не от страха, а — от стыда. Тут дядька здоровенный их снизу и подхватил. И — в дверь с табличкой «Главный врач Ерболов Е. Е.». Там говорил Борька, конечно; и — отпустили их...

Поначалу, после окончания университета, Вильдавский, вроде как, лучше устроился — в закрытом НИИ. Смеялся: «Это, Витька, все кровь еврейская; против не попрешь». Лаптев же засел в Бюро переводов в Технической библиотеке. С началом перестройки НИИ Борькин загибаться стал и за пару лет совсем загнулся, А Вильдавский смеялся только опять: «Судьба такая от века, наша еврейская; против не попрешь».

А Лаптев на плаву остался, даже в гору пошел: вдруг всем его английский понадобился. Правда, по мелочам больше — там двадцать баксов, там еще десяточка... Но по тому времени богатство: сначала видеоманитофон купил, потом комнату в коммуналке.

Однажды пришел Вильдавский и сказал:

— Вот тебе книжка, переводы. Двести долларов.

Положил на стол карманного формата в бумажной обложке книжонку. На фоне заката красавица с красавцем целуются. Не стал Лаптев ничего говорить, перевел эту чушь за неделю; деньги получил. Через месяц еще две подобные перевел.

Первое время Вильдавский приносил (*издательство «Кооператор»*) переведенные Лаптевым «rocket-book's»: *авторский экземпляр*, да тот их выбрасывал. Ну, дешевка ведь: мед и сопли, немного нервно и — поцелуй взасос. Но... работы, считай, никакой, и за хорошие деньги. За неполный год набежало чуть ли не пять тысяч баксов! Через год и того больше: комнату продал, квартиру купил. А Вильдавский коммуналку расселил, в которой они с матерью жили.

На третий год Борис сказал:

— Как-то притормозили книжонки-то наши... Моя вина, не просек вовремя. На боевики и детективы теперь не перейти, время упустил — чужая территория.

Когда вот так ныть начинал он, знал Лаптев: что-то придумал, не стал ничего говорить, выждал. И дождался:

— Короче, давай садись и пиши роман, сам.

— Ты — дурак, Борька?

— Условие одно: история на российской почве. Это тренд сейчас такой, по всем жанрам пошел.

— Да разница-то какая? Тренд-херенд! — Лаптев разозлился. — Я напишу, руку набил... А историю, сюжет ты придумашь? Давай...

— Разница: одна дает, другая дразнится! Набил руку? Вот и флаг тебе в руку, и ветер попутный, сам знаешь куда... Голову включи: там же все про одно и то же! Ну, пусть не во Флориде, а... ну там в Крыжополе; не Мэри с Джоном, а Машка с Ванькой... Ну, мозгой-то пошевели! В общем, так... Пятьсот баксов сразу; и потом: как продаваться будет — договоримся.

Взял Лаптев пятьсот долларов, жить надо. Тем более что лавочка-то, похоже, прикрывается. Переждать, а там с Борькой-то и выкрутимся! У него получится: и кровь еврейская, и еврейская судьба... Вспомнил Витя, про что переводил, покумекал недолго: в принципе, просто все показалось.

Но только стал Мэри в Машку переделывать и в Крыжополе высаживать, не растет! Вроде сюжета особого и не надо, все давно придумано... Но вот не хватает чего-то. А деньги так быстро заканчиваются. Понятно, Борька назад требовать не станет никогда, только стремно... Потому что — Борька все же.

По ночам спать не мог уже Лаптев. А тут еще... Недаром говорят, что жизнь точно зебра: белая полоса, черная полоса, белая — черная... А в конце гарантированно: жопа. И не понять ему было, что на самом деле: черная полоса еще или — уже пришла пора воду сливать. Снежана тогда всю сволочную сущность свою показала: после развода квартиру продала и с Катей из города уехала. Душу вынула! Если бы мог он в тяжелое время пить, спился бы тогда. Но такая уж натура у Лаптева, что пить может он только на радостях. Когда плохо, душа спиртного не принимает. И было от того еще мучительнее. Тупо проживал время; когда вспоминал кто при нем позже: путч, съезд... — помнил Лаптев одно только, что с куревом тяжело было.

Казалось бы, что по сравнению со всем этим какая-то невыполненная работа? Но почему-то именно чистый лист в печатной машинке больше всего мучил; наверное, думать о разлуке с дочкой страшно было... Днем какая-то суета еще отвлекала, а ночью — пытка. Однажды ночью курил-курил и вдруг посреди привычной безнадеги понял. И так понял, что сразу и поверил! Не в истории дело, не в сюжете.

Понял, чего не хватает ему. Не умел он, Витя Лаптев, не дано ему было от природы в дар умение рассказывать просто так: ради самого рассказа. Вдохновляла не история — реальная или придуманная, а тот, кому рассказать хотел: вдохновлял на историю. Всегда был нужен слушатель, чтобы чувствовать его, видеть реакцию, импровизировать. Тогда умел Лаптев рассказать и самую незатейливую историю так, что заслушается; так зацепить, что искренне распереживается. Особенно хорошо выходило, когда врал, когда на ходу сочинял. В детстве-отрочестве Витя часто тем умением своим пользовался, а потом, с годами, как-то ушло все потихоньку.

Когда книжонки про Мэри и Джонов переводил, ни разу не задумался: для кого эти незамысловатые истории? А вот теперь... Если бы сообразить: кому рассказать; почувствовать ту женщину, для которой историю рассказать. Тогда запросто станет у него Мэри Машкой, а Флорида Крыжополем; и победят они с Джоном-Ванькой все плохое. Не заморское зло, а свое, тутошнее. Устроят после всех передрыг — в конце концов — для себя все хорошее; на российский лад. Хеппи-энд — это святое, а свой, нашенький, счастливый конец еще святее.

Осенило Лаптева, когда нагнулся поднять с пола спичечный коробок. Да мало что осенило, сразу и понял без сомнения: для кого ему нужно историю написать. Для Надьки-дурочки! Написал за неделю. Перепечатал, отдал Борису.

А через пару месяцев звонит Вильдавский из Израиля:

— Здесь, — кричит, а сам... уж его-то Лаптев знал как облупленного, и пусть в трубке больше треска было, чем голоса, но не надо ему и видеть было, чтобы понять: Борька там аж светится, — здесь! Второй тираж будет — здесь, просекаешь? Первый уже — аллес! Распродан! И вот теперь — «Гершензон»... права у нас покупает. И — перевод еще!

— Делай как знаешь, — Виктор в таких делах полностью на Вильдавского полагался, не стал в детали входить, расспрашивать; да и связь была плохая. А Борис продолжал, хотя уже и без прежней аффектации:

— К маме зайди, получи... трам-пам-пам!... полторы тысячи долларов. Там дядя Сенья сейчас, я его предупредил, он даст, — потом добавил: — И там еще... я кое-что подготавлил; Семен Моисеевич покажет; поговори с ним. Я потом еще позвоню.

В коммуналку, где, среди антикварного еврейского бардака и кошачьей шерсти, Борис жил с матерью, Виктор давно уже не заходил. Теперь же: куда исчезли шесть разнокалиберных звонков на входной двери? Медная табличка появилась: «Вильдавский Б. А.». Однако бардак и кошки никуда не исчезли, и в шести комнатах можно устроить уютный беспорядок.

Лия Борисовна Лаптева любила; сразу:

— Ой, Витенька, Витенька, как же давно тебя не видела... — чай с сушками, и без умолку. Сперва притворялась, наврала:

— Ай, Витенька, книжку какую душевную написал!

Потом, как обычно:

— Помнишь, Витенька... — как только и помнит она все про него, что он и сам позабыл?

Всегда было здесь ему хорошо.

Потом дядя Семен пришел, таинственный персонаж детства. Борька столько про него рассказывал: дядя Сема из Батуми; с восхищением! Но Лаптев его ни разу не видел. Теперь: невысок ростом, но представительный. Усы точь-в-точь как; волосы темно-русые, густые под образец пострижены-уложены: Сталин. Но не френч — костюм плотный, дорогой; белая рубашка, галстук; еще платочек из нагрудного кармана; ботинки заграничные. Запах иной: парфюм.

— Прошу в кабинет.

В «кабинете» только стол километр на километр. Какого-то из старых романов дерева; с двумя тумбами, точно шкафы; резьба сплошная по дереву, фигурки; сукно небесного колера. На сукне медные солидные, неизвестного канцелярского предназначения предметы. У стола табурет кухонный; окна без штор, до половины газетами прикрыты.

Семен Борисович брезгливой рукой сбросил со стола двух котов, хотел было сесть на табурет, но посмотрел на Лаптева, остался стоять; табурет ногой под стол задвинул. Конверт из ящика стола вынул, протянул:

— Нет, молодой человек, дайте-таки себе труд, пересчитайте!

Потом еще из ящика несколько листов на скрепке:

— Борис просил вам передать, ознакомьтесь внимательно, — табурет выдвинул обратно. — Присаживайтесь, я вам мешать не стану.

Пошел было из комнаты, у самой двери обернулся, плеснул аккуратными ладошками. Ухоженные пальцы сложил мыском: на указательном золотой перстень; на безымянном тонкое колечко, чуть ли не алюминиевое:

— Да... курите, конечно, — вышел, тихо дверь затворив.

В листах на машинке, с выбивающимися то тут, то там из строки буквами: «Договор». Новый роман. Аванс: тысяча долларов сразу, еще две с половиной — после сдачи.

Ну конечно, покурил как можно медленнее, чтобы не так уж сразу. Еще раз глянул, теперь с улыбкой: «Издательский дом „Вильдавыский“, в дальнейшем именуемый „заказчик“...»

Подписал — и уехал в Сочи.

Баллада о мертвом дереве

Но — что это тут?.. Видит Она: дерево растет тут; выросло дерево сухое
Вдруг из песка. Тут, где легион неисчислимый был гневом Ее погребен
Под мертвым песком, что от берега замерзшей воды.
Дерево растет из песка там. Дерево сухое, без листьев;
Дерево с витыми ветвями. Точно змеи они, узловатые, скручены — все:
Восемь влево змеятся, и пять их корявых — направо; из кривого ствола.

Тринадцать числом на ветвях тех повисли вниз головами аспиды,
Точно плоды: черные карлицы. Песню поют сладкоголосого,
На пуповинах качаясь в такт колдовского напева:

«слышим голос вопля одиночества Твоего,
одиноким воплем голоса величества Твоего слышим
о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
явились мы из домов своих на голос вопля одиночества твоего
прибежали мы из домов своих на вопль голоса величества твоего
о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
взгляни и увидишь нас в образе подобия величества твоего
нас увидишь взглянув на подобие образа величества твоего
о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
здесь мы с тобой вместе оплакиваем величину несчастья твоего
заклинаем мы для тебя величину несчастья твоего
Великим заклинанием
о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
Слышишь: согласно звучат голоса наши с голосом твоим
с голосом торжества величия твоего так согласно
звучат голоса наши вместе звучит гимн торжества
величества твоего над величиною несчастья твоего
о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
большая сестра одна из нас и вот ты не одна сестра
с тобой мы теперь сестра неотделимы мы теперь сестра меж нами
отдели рукой своею сестер своих неотделимых от тебя сестра
отдели нас сестра от древа сего что взрастило нас для тебя
о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
ибо потерялась ты от сестер неотделимых отделилась скрылась
несчастливая скрылась одинокая от древа
что зовется древом узнавания и называния древом перечисления
о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
сестра большая возьми нас от древа сего сестер малых
возьми нас теперь навсегда к величеству твоему

о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
о, жизнь! о, сила! о, воля! о, здоровье! о, царство!
оборви пуповину, что удерживает нас от смысла нашего
да исполним мы смысл наш неотделимая сестра».

Медовое, ладное, пение их волю Ее пеленает в нежную негу,
Уж опутали чары силу воли Ее. Протянула Она уже было руку,
Чтоб пуповины их оборвать...
Исчезло в тот миг солнце в пасти коровьей,
А луна не появилась. Стала тьма та, что прежде была тут от века.
И слышит Она во тьме небосвода свой собственный голос;
Пророчествовал голос Ее к Ней словами пророчества,
Что Она позабыла. Так голос Ее к Ней пророчествовал:

«волхованьем Его, кто там — за гранью и не может войти,
кто лелеет подмену и желает узнать узнаваньем своим и назвать
именами своими тварей, что Ты сотворила волей своей, дерево сухое
вот выросло здесь. В месте, в котором Ты упрятала, где в гневе отмщенья
под песком погребла; под песком берега замерзшей воды схоронила
исчадия хаоса. Не духа чужого из тьмы, что прежде была, то исчадия:
Ты сама допустила тот хаос, что сердце твое ужаснул; не желала того Ты
но Ты — виновата, что дерево сухое Его выросло здесь волхованьем Его,
кто там — за гранью и не может войти. На ветвях уже народились,
созрели выблядки похоти Его: оборви пуповину, и — на землю Твою
сойдут предстатели воли Его и выблядки похоти волю исполнят:
узнают своим узнаванием тварей твоих и назовут именами своими,
и перепишут Его письменами, чтоб заблудились в тех письменах
твари живые, что из радости сердца волей своею Ты сотворила.
Согласие жизни, что Ты создала, в письменах тех засохнет, и возопят
Заблудшие твари голосами воплей своих о несчастье своем,
но не смогут услышать друг друга, и жалость забудут друг к другу,
и небо на землю падет, и станет, как было: во тьме пустота».

Услыхала Она голос свой, голос пророчества своего, и вспомнила, что забыла.
Отпали чары от воли Ее; чары, коими сладкое пенье медовое ладное
Опутало волю Ее; вновь Ее сердце гневом великим пылает, ярость брызжет
Из глаз — дерево то заломала в сердцах. И огню предала; сожгла беспощадно
Вместе с выблядками тех ветвей змеевидных... Но что же Ей делать теперь?
Как быть Ей? Вспомнит ли вновь: что напророчено Ей?

Что было днем и ранним вечером

За обедом в «Президенте» Лаптев, как положено «вновь прибывшему постояльцу»,
знакомился с соседями по столу: «Можно просто Виктор, а вы откуда? — Из Красно-
ярска!.. — А я из Кургана...» Тут — граница на все время здесь; держать дистанцию;
только о самом общем.

После обеда он с чашечкой эспрессо засел на застекленной веранде, откуда хоро-
шо просматривались оба выхода из отеля. Дрянной кофе тутотшний не пробовал даже,
курил только; присматривался. Наметил еще в ресторане за обедом, опытным глазом:

трое, похоже, подходят. Две из них после обеда — одна почти сразу, другая попозже — направились в сторону пляжа.

«Ну, хватит прохлаждаться, уважаемый, пора и честь знать — за работу!» — Лаптев загасил сигарету, встал из-за столика и двинулся за ними. Но пришел... в «Аврору». Завалился в номере на диван и до ужина тешился, читал *настоящее*: «Учителя музыки» Ремизова.

Он бы мог заставить себя пойти на пляж, понаблюдать еще за теми женщинами; может быть, даже и познакомиться *случайно*. Но оказалось вдруг, что столь радикальное нарушение им же самим годами выработанного порядка так приятно щекотало душу. И — похоже — душа прискучившего рутинной Виктора Егоровича давно уже желала чего-то подобного. Почитал и пошел себе в город. Там и поужинал, довольный, в одиночестве, в том ресторанчике, куда по работе водил своих камертон-женщин. А потом и на пляж подался. И пляж, и море были сегодня ему *for myself only*.

Поначалу Виктор Егорович с замечательно пустой головой под бейсболкой, закатав штаны до колен, босиком долго шел по кромке песка — время от времени волны, что подлиннее, накатывали по щиколотку: приятно — вдоль бесконечных пляжей. Когда вернулся на пляж «Авроры», было уже почти восемь часов. На лежаках почти никого не осталось. Да и те, кто еще копошился, по большей части складывали тенты и собирали манатки. В море тоже так: никого до самого задранного к небу горизонта. Плавсредства отплавали на сегодня; и самые упоротые купальщики откупались уже.

Виктор Егорович у самой воды скинул джинсы и футболку, в семейных трусах ринулся в море — стремительно за буйки. Махал саженками в сторону горизонта, пока солнце не опустилось так низко, что лучи по волнам — прямо в глаза. Лег на спину Лаптев, поплыл потихоньку обратно. А солнце все ниже, угасает, почти заметно; дневного неба все меньше. Перевернулся в воде одинокий пловец, снова длинными саженьями — к берегу. А там уже почти сумерки; тут короткие сумерки, полчаса — и ночь уже.

Когда он доплыл до берега, обернулся на горизонт, точно принудил кто: там небо тяжелым прессом, всей темной тушей своей солнце — такое маленькое, тусклое — вдавливают в темную массу моря. А как обернулся, в тот момент — точно не выдержал давления — лопнул, взорвался тусклый шар: брызнуло ясным металлом в чернильное небо! И разлился широко над морем раскаленными языками закат. Медленно, медленно и тягуче остывал...

Свет густел: от ясного пламени через золото — в багрянец. Неисцелимый свет тотлился тягуче через взгляд его очарованный Лаптеву в душу, заполнил восторгом. Так стоял у кромки воды... и вдруг всплыло: «В багрец и золото одетые леса». Почувствовал: некая мысль упорно пробивается в его сознание, не может выбраться. И сознавал Виктор Егорович: необыкновенно важна для него эта мысль. Но так и не смог ухватить: почему?

Потух закат. Пропали последние капли света во тьме. Лаптев поднялся к променаду, сел на скамейку, закурил; а вот уже и лунная дорожка от горизонта до берега заблистала на невидимых волнах. Он курил и злился все сильнее: да хрен бы с ней, с этой потерявшейся мыслью! Таких мыслей, что вдруг почувствует он, а через миг пропадут, у Лаптева каждый день не одна. А вот почему он сейчас изводит себя? Покой нет: почему?..

Лирическое отступление

...Сознание — такая уж сама по себе сущность, что ему всегда необходима вот эта самая ясность. Пока не потешит свое обязательное «почему», не даст покоя ни душе,

ни телу. Другие создания — большие и малые, — сознанием не обремененные, живут себе не тужат. Знать не хотят: почему? Почему сами по себе такие? Почему кругом все — так?

А *сознательные* твари? Вот и жизни им никакой нет, коли не узнают: почему земля под ногами, почему небо над головой? И про все, что ни на есть на свете: почему да почему?

С самого начала так у них: как только сознание свое осознали, и — во все тяжкие. Вот, казалось бы, на самом деле живи и радуйся. Ну, есть земля обильная под ногами. Есть звездное небо над головой. Даже — если уж так хочется, — возможно, и нравственный закон внутри тебя есть. Есть, казалось бы, так живи и радуйся. Так нет, скорчит рожу: «А почему?»

Хотя давно уже академические академики доказали, что на «почему» верного ответа получить, в принципе, невозможно. И в этом с ними даже альтернативные академики, что есть случай исключительной редкости, полностью согласны! Потому что вчера был один ответ, сегодня другой, а завтра — еще с десятков вариантов.

Надежно положиться в ответах на любое «почему?» можно лишь на *грамматически* обязательное «потому, что». Ну еще и на опять же *грамматически* (то есть объективно, независимо ни от нашего представления, ни и от нашей воли) *обязательную* в этом устойчивом сочетании запятую. Только помнить надо: запятая — это прежде всего древнейший символ Змея, а уж потом, когда многие вдруг умными стали, — знак препинания (sic! Вот именно: «препинания»).

Хотя ум и не имеет никакого отношения к мудрости, есть у них и некоторые, частично совпадающие, характеристики; к примеру, если ум всегда злой и лукавый, то случается порой и мудрость — лукавая и злая. Такова и мудрость Змея, который во мраке преисподней обвивает сухое Древо Узнавания и Поименования. Сегодня, когда многие уже и поверили, что стали умными, некоторые — дураки по дурости, а подлецы из корысти — проповедуют, мол, запятая символизирует всего-то невинную радугу. Но!.. еще памятники допотопной эпохи предостерегают: отличайте радугу небесную от радуги преисподней; то Змей из тьмы уже выполз — наполовину.

...Что еще более или менее достоверным быть может в ответе на «почему»? Опять же: не нашей воле подчиненный, подчинительный союз «что». Вот, в общем-то, и все, что в ответах разнообразных на разнообразные «почему?» может быть максимально верным и мало-мальски определенным. Остальное — как сменные насадки в кухонном комбайне; подставляй по собственному вкусу: и то, и это, и тут, и там, и трам-пам-пам-пам-пам...

Вот и тешимся испокон и доныне, да, похоже, и не остановимся. Каждый — кто во что горазд. И ведь у каждого времени — свой ответ; конечно же, единственно верный, потому что правильный, истинный. То *потому, что* боги, то *потому, что* Бог, то — физика с химией да астрономия с Дарвином и ядерным телескопом «Леонардо». Еще и постоянно — во все времена — духи, демоны, драконы, птицы с железной головой и тремя туловищами на шести слоновьих лапах и в красной шапке с железно-дорожной кокардой...

Да всех их, что насочиняли, и не перечислишь. Совершенно не исключено, что однажды явятся наяву и демоны в красных шапках — как выскочат вдруг из нейтронного мелкоскопа или из макроскопа «Леонардо-127»! (Вообще, давно бы уже пора задуматься о том, что все эти «...скопы» уж очень смахивают то ли на «скопцов», то ли на «скопом»; что первые бесплодны, что и во втором случае — как известно, скопом доброе дитя не зачать.)

Потому и нельзя поручиться с достоверной уверенностью: кто был и что было; или вообще не было — никого и ничего. Взять того же Виктора Егоровича Лаптева, который сидит на скамейке под фонарем на променаде, что тянется из бесконечности в бесконечность над пляжами Лидо-ди-Йезоло, и, вместо того чтобы любоваться рутинными играми лунной дорожки на невидимых в романтической темноте итальянской ночи адриатических волнах, томится совершенно бессмысленным «почему?». Именно бессмысленным! Какой может быть смысл в «почему?» по поводу мысли, которую Лаптев не может вспомнить, да к тому же и знает, что не вспомнит? А вот ведь — томится.

...Не о том, вообще-то, речь: томится он там или лунной дорожкой любит. Другое важно...

Табличка вторая: Со слов Сапогова, Прорицателя; дословно

Истинно, истинно — вижу взглядом очей моих: светится неисцелимым светом Она! Светом радости счастья своего Она светится там, на берегу замерзшей воды в месте сокровенном, потаенном. Из песка смерти и жизни, песка берега замерзшей воды по представлению сердца своего сотворяет Она волей своей, что должно создать Ей по долгу Ее, что напрошено. Волей Ее реки текут к океану. Волей Ее доли раскинулись и горы восстали до неба. Стали быть и есть: вот леса из деревьев и степи из трав. Стали быть и есть: вот цветы на земле и в воде для украшения места.

Тварей Она создает, тех тварей живых, чтобы жили, как заповедано, не зная души; чтобы плоть их жила без души. Да не наполнятся грустью глаза их; да останутся сердца их невинными. И тварям тем, что создает Она волей своей по представлению своего сердца, Она указала место каждому и время их указала. Чтобы они населили пространства свои. Чтобы стали они, чтобы были и жили там время свое.

И светится светом неисцелимым радости счастья долга исполненного Она, ибо довольна работой своей. И поднимается Она и уходит, покидает сокровенное, потаенное место. Довольна Она законченным делом своим, исполненным долгом. Одно лишь осталось исполнить: печатью на вечность запечатлеть сокровенное место, потаенное место. Ибо закончено дело Ее, что должно закончить; что напрошено.

Истинно, истинно — видел...

Вот какие записи в древних книгах о том; вот какие записи в древних книгах есть о том:

«И вышла Она из того сокровенного потаенного места, когда закончила дело свое. Вышла из той Мастерской, из сокровенного потаенного места, тогда, когда создала все, что должно создать Ей по долгу Ее. Волей своей создала Она землю и воду под небом. Металлы и камни, и стихии создала.

И закончила дело долга Она и засмеялась, ибо довольна осталась работой своей. И вышла Она из того сокровенного потаенного места, дело долга закончив. И душа Ее довольна была законченным делом. Плоть Ее отдыха просит; возжелала Она отдохнуть. Пожелала Она дать отдых плоти своей на горе, что выше всех гор и где кедры в смоле золотой.

Возлечь в тенистой прохладе тех их ароматов. Пока плоть отдыхает, хотела душою своей с вершины горы той, что всех выше — до неба, узреть красоту, что создала силою воли своей. Такого покоя в награду себе пожелала и решила уж стопы свои к горе той направить. Вдруг — налетели тут вдруг все они — те!

Налетели тут все они; разом вдруг налетели, как бури непроглядная туча. Всей тьмою тем напали. Неисчислимым легионом накинута — чудища невообразимого урод-

ства. Наперебой завопили все разом: каждый воплем своим. Без терпенья, без жалости каждый другого бьет боем жестоким, в толпе пробиваясь. Налетели толпою и дорогу Ей заступили. Путь закрыли Ее. Страхом до студеного ужаса поразили Ее.

Вот совсем уже к сердцу мертвый лед подступает. И возопило отчаянье из глубины сердца Ее:

— Кто, кто безобразные чудища эти, чужого нездешнего духа исчадья? Как теперь тут они здесь, в прекрасном моем? Я создала: плодородную землю и небо; с солнцем для дела и луною для отдыха. Я сотворила живое для жизни. Счастливые созданы Мною создання, ибо нет печали в глазах их. Нет в сердце стремлений. Прекрасен в согласии мир мой! Как же теперь здесь — этот хаос, беспорядок созданий ужасных, нелепых уродов?!

Так вопила Она отчаянием из глубины сердца своего:

— Вот дорогу мою заступают они, путь закрыли! Увы Мне! Нет никого, кто услышит вопль Мой. Никто не придет из домов своих на голос мой. И никто не оплачет вместе со мной величину несчастья моего!

Волей своею жизнь Она здесь сотворила. Несокрушима воля Ее и перед ужасом сердца Ее. Волей несокрушимой ужас сердца Она сокрушила. По воле Ее разом умолкли уроды, чужого нездешнего духа исчадья; застыли, окаменели. Гневом душа воспылала Ее, разгорелись яростью страсти. Стопою решительной не к горе, что выше всех и где кедры в смоле золотой, поспешила Она. Не в тенистой прохладе тех ароматов отдых дать плоти усталой своей поспешила. Спешит Она, гневом пылая, и ярость шаги ускоряет Ее, скорее в сокровенное потаенное место; на берег замерзшей воды. Торопится в страсти отмщенья, нет пощады во взоре Ее.

Горсть песка того от берега замерзшей воды подхватила, и обратно спешит к тому месту, в котором замер камнями легион исчадий духа чужого. Вернулась в то место, где посягнули посланники хаоса из пределов чужих на согласие жизни прекрасной, что сотворила Она с любовью и радостью в сердце своем.

Пришла: неподвижен терракотовый легион безобразных уродов. Так молвила:

— Сим песком посыпаю вас, засыпаю без жалости. Под забвенья песком вас сокрою, исчадия хаоса — на веки веков бесконечных; навсегда.

Так заклинала. Такою судьбой их судила. Разжала ладонь, и потек тот песок от берега замерзшей воды, забвенья песок — чтобы на веки веков бесконечных сокрыть их, посланников духа чужого, из мрака исчадий. Потек песок: вытекает, течет».

ГАЗЕТА «ОБЩАЯ РЕЧЬ», УТРЕННИЙ ВЫПУСК

Молния!

Сенсационная находка

При рытье котлована под строительство будущей Башни Эсперанто — визитной карточки Всемирного Фестиваля «МУЛЬТИ», который пройдет в нашем городе в следующем году, строители обнаружили древний клад!

Наш корреспондент уже в пути! Подробности в вечернем выпуске!

ГАЗЕТА «ОБЩАЯ РЕЧЬ», ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК

Что скрывали века

подробно о сенсационной находке

Как мы уже сообщали, при рытье котлована для строительства будущей Башни Эсперанто строители откопали нечто необычное. Ковш экскаватора вместе с грунтом поднял на поверхность глиняную емкость, удивительным образом не повредив ее. В от-

личие от известных из раскопок наших археологов образцов древней керамики этот, позволю себе назвать его так, контейнер имеет форму куба. Верхняя поверхность которого запечатана плотным черным веществом, похожим на окаменевшую битумную смолу. И на ней рабочие смогли разглядеть некие знаки, похожие на древние письмена (*фото 1: древний кувшин; фото 2: таинственные знаки*).

«Если потрясти его, можно услышать, что внутри явно что-то есть, — рассказывает бригадир Е. — Я сразу понял, что это древний клад. И тут же позвонил сначала в самую уважаемую нашу газету; потом в Академическую Академию» (*фото 3: бригадир Е.*).

Ваш корреспондент с трепетом взял в руки древний артефакт. И сразу понял: золота в нем не было! Не особо тяжелым оказался он. Однако ценность этой находки оказалась много выше, чем цена золота или даже алмазов!

Эксперты Академической Академии любезно пригласили вашего корреспондента присутствовать при вскрытии удивительной находки. Так что же хранила она, эта посылка, что дошла до нас сквозь толщу земли и веков? Три глиняные таблички, покрытые клинописью (*фото 4: древние таблички*).

Нужно было видеть с каким почти детским восторгом рассматривали убеленные сединами ученые мужи содержимое древнего контейнера! В один голос заявили они тотчас, что и без лабораторных анализов можно с уверенностью утверждать, что находка датируется эпохой До Потопа!

«Что подтверждает, безоговорочно, я бы сказал, подтверждает мою теорию о том, что здесь, на этом месте, люди живут испокон. Таблички, что чудесным образом дошли до нас с тех давних времен, доказывают древность нашего любимого города. Они раз и навсегда отменяют любые сомнения. Это недвусмысленный ответ всем тем, кто столь яростно заявлял, что наш Город не достоин принять Всемирный Фестиваль МУЛЬТИ. Теперь им придется прикусить свои подлые языки. А тем лжеученым, которые подпевали нашим клеветникам, я бы посоветовал переквалифицироваться в управдомы», — закончил шуткой свой комментарий декан исторического факультета академик Ербол Ерболов (*фото 5: академик Ерболов*).

Однако не только древние таблички оказались в нашем контейнере. Было еще нечто, что академик Ерболов назвал коротко и емко: «Чудо». Обо всем подробно уважаемые читатели нашей газеты смогут прочитать завтра в *Специальном Экстренном Выпуске*.

*Е. Е., собственный корреспондент
(фото автора)*

Копия на потом

В мужском туалете областного ПНД. Пациент Ё. рассказывает своему отражению в большом мутном, во многих местах выщербленном зеркале. Говорит громко, стараясь перекрыть звук воды в неисправном сливном бачке.

— Извини, брателло! Тут придурки зашли, помешали.... Так вот, дальше рассказываю. Короче, вышла она оттудова, из нычки своей; я, как велено, тайком за ней. Пришла в то место, где оставила уродов. Они были, как оставила; не двигаются, молчат. Приходит, значит, и вместо того, как хотела, всех их там зарыть — давай от одного к другому ходить, рассматривает. Я так прикидываю, подлянью какую-то задумала. Но то нас с тобой не касается; велели пасти — зырю потихоньку...

Ходит, значит, рассматривает их. Подойдет к одному чучелу и давай его со всех сторон рассматривать. Смотрит и про то, что видит, бормочет. У этого руки-крюки, ноги колесом, в смысле туловище от одной зверюги, ноги от другой, голова от третьей... У второго — то-то и то-то. У третьего — так и так...

Я зуб даю, по ней дурка плачет: сама себе рассказывает. Вслух, представляешь! Полный пипец! Говорит так, не спеша, подробно. И вдруг как завопит дурниной. А потом опять бормочет: бя, бя — три рубля. И снова как завопит. Я хоть и прислушался уже как бы, а всякий раз — аж вздрогну. И вопит каждый раз одно и то же. Постой, я тут сразу записал по памяти. Вот: «В тоске моей плоти, в печали сердца».

Ну вот... Выбрала одного из тех уродов (почему его? — вопрос мимо кассы!) оживила. И спрашивает:

— Ты кто?

— Я, — он отвечает.

— Как твое имя? — она, значит, наезжает.

— Не знаю, — говорит, — нету у меня имени.

— По какому такому праву, — это она, — вы тут буйствуете, хаоты вы такие-разэтакие?! Откуда здесь нарисовались? Я тут все устроила, и без моего, значит, одобрения никому тут быть не дозволено. Засыплю, — говорит, — сейчас вас всех, к такой-то матери, песком забвения, и кончено с вами всеми!

А он борзый попался:

— Ничего, — огрызается, — у тебя не получится, — мы, мол, все такие, что у каждого — душа живая имеется. А потому никакой песок твой ничего не даст, — нет живым душам забвения. Это во-первых! А во-вторых, мы к тому же еще все и бессмертные.

Тут она по ходу понимает, что попала. По-другому заходит, базарит: не будем, говорит, кипеж поднимать. Расскажи, говорит, мне, мой милый, все по порядку; с толком, с расстановкой...

Атас! Потом дорасскажу; цирик идет.

Медбрат Е.: Ну и ладушки! И нам на ужин пора. Сейчас таблетки примем, и кушать.

ЧАСТЬ III

Хор:

почему идущему дальним путем лицом ты подобна?
ты пустыней прошла там где пройти невозможно
ты переправилась через реки где нет переправы
а мыслишь так странно! зачем ты мыслишь так странно?
драгоценен твой сон хоть много в нем страха:
как мушиные крылья трепещут твои веки
как мушиные крылья трепещут твои губы
много в нем страха, но сон этот дорог
для живого тосковать его доля
сон оставляет тоску — для живого

Второй источник: Дурочка

Не случись та история в деревне, не случилась бы и Снежана Ардугина; четырнадцать Витьке в то лето исполнилось. В деревню летом на несколько недель отвозили родители каждый год; в то лето в последний раз был он там: не захотел потом больше. Из-за Надьки Коровайкиной, которую в деревне звали просто — Дурочка. Была она ему ровесница; может, и старше, но ненамного. Однако если на них двоих со стороны взглянуть: он — пацаненок еще, она — девушка созревшая, с формами пышны-

ми и сверху, и снизу. Это если только глянуть! Но если узнать, то все точно наоборот: по развитию Витя чуть впереди своего возраста, Надька же отстала от своего, и — далеко отстала; умом дитя еще; вот потому и Дурочка в деревне.

Ровесницы ее гнали от себя: неинтересно с ней, не посекретничать. Девушки постарше иногда и прибить могли: парни, ухажеры их вечерние, Надьку с упоением — *не понимает, дурочка* — «щупали» и сверху, и снизу. Пусть не в открытую, чтобы не *позориться*, да все ведь знали... Дети помладше, на ее уровне развития, с кем радостно ей было визжать и носиться, тоже не особо с ней играли: кобыла, заигравшись, может и зашибить ненароком. Да и понимали уже и в семь лет, что с дурочкой водиться не стоит.

Надька же, как увидит кого, не отстанет; липла и к большим, и к малым; не понимала. Даже когда гнали, даже били когда — не отстанет, не отлипнет. Одно только помогало средство: нужно было лишь обозвать ее «корова». Тут же убежит, ревет в голос, потом сядет где в укромном месте, сама себя успокаивает:

— Не корова, не корова, не корова! Мы — Коровайкины, это хлеб такой!

(На «кобылу», кстати, не реагировала, не обижалась.)

...Деревня озером славилась; большое озеро, с большими и малыми пляжами, открытыми и укромными. С заливчиками, в камышах схоронившимися, рыбалка; пацаны с утра до вечера на озере. Но в то лето Лаптев как-то все больше один любил; если и брал дедову лодку, то загребал в укромное местечко — читал. Несказанно повезло: у дедова нового квартиранта шесть толстых томов зеленых с оранжевым орнаментом — Фенимор Купер. Вот и в тот день загреб в камыши и — загорать с Чингачгуком.

Слышал, что за камышами у берега, где мелюзга купается, крики, ругань — не обратил внимания. Потом из камышей вдруг прямо на него Надька-дурочка вышла. По шее в воде уже. Увидела Витьку в лодке тут — встала, смотрит и лыбится во всю физиономию. Смотрит и лыбится!

— Чего надо? Иди обратно, дальше глубоко.

— Я знаешь, как хорошо плавать умею, — не уходит.

— Ну и плыви дальше.

— А ты книжку читаешь? — оттолкнулась, проплыла пару метров, уцепилась за борт лодки.

— Отстань, говорю.

А она уже на руках подтянулась, чуть лодку не опрокинула, тяжелая — кобыла! По пояс из воды уже — через борт лезет: футболка мокрая на ней. Из нее два таких... выпирают тяжелые; упруго и — соски сквозь ткань торчат! Слова не вымолвить ему: устался. А Надька в лодке уже, ловкая. Отлепил еле взгляд все же и как бы в книгу.

— А про кого читаешь? С картинками? Покажи, — напротив села, руку тянет.

Убрал книгу.

— Намочишь, — голову не поднимает; а все же перед глазами... только и видит: ляжки из сатиновых трусов; одна нога согнута в колене, завернулись семейные трусы мужские: ляжка белая до паха; черные волосики выглядывают...

— Тогда расскажи, а? — смотрит прямо, не моргнет, глаза такие... как бы зеленые; не знал еще тогда, как цвет тот назвать: такого прежде вокруг себя не видел еще. А ресницы густые, оказывается, у нее, длинные; просто светлые, не заметишь. Да и кому в голову придет дурочкины ресницы рассматривать? Все лыбится, точно так и — ничего, обычно; а видит ведь, куда он смотрит. Верно парни говорят: не понимает.

В животе у Витьки необычное творится: что-то горячее поднялось, судорога в груди. В мозгу: бум! бум! — а мысль-то тут: «Вот бы... они же все *трогают*». Страшно; страшно хочется! Прогнать надо ее скорее.

— Ну ладно, — тогда сказал, — расскажу.

А теперь в голове уже мысли деловые: «Что ей, дурочке, рассказать, чтобы понимала и интересно было б, не... отвлекалась чтобы?» И тут — само по себе, сразу — бац: «Да „Козетта“ же!» И пошел чесать. Каким образом только понимал — чувствовал, как надо: что из книжки рассказать, что самому присочинить тут же. Да и смотреть уже мог на девчонку; рука вскоре взгляд ему освободила. А она слушает, да так, что — как бы параллельно, не пересекаясь — его не только то, что под рукой, а и внимание ее волнует.

Когда дошел:

— Бросил он ее с ребенком, — задышала Надька часто, грудь вверх-вниз, но не заплакала, только чуть слышно:

— «Фантина»...

— Идет через лес: гроза, молнии, гром, ливень такой — промокли, — вперед наклонилась, лицо почти вплотную к нему, а эти... груди — вниз... горстью осторожно тронул левую; ожегся, но не отдернул; тяжелая какая! Сосок твердый-твердый.

— ...Договорились, что она этой госпоже Тенардье будет платить...

Воскликнула шепотом:

— Продавала!

— Нет, она же видела тех счастливых и сытых дочек хозяйкиных. Стала работать, деньги посылать; думала, что там за Козеттой хорошо ухаживают... Они же так договаривались; ничему жизнь ее не научила — верила всякой сволочи!

Ужасов в ужасную жизнь Козетты в том трактире Витя от себя добавил щедро; Надька губу закусил, дышала часто, грудь ходуном. И все же не плакала, даже когда Фантина продала свои «золотые волосы». Никакого внимания на Витькины руки: он и книгу отложил, обеими уже шуровал под футболкой; Рассказывает — и увлекся же искренне, — а руки сами, точно знают как: гладят, тискают, соски сжимают. Хоть пламя внутри, а голосом ни разу не дрогнул; рассказывает:

— В деревне ее все любили, прозвали «Жаворонком», — тут процитировал слово в слово, как помнил уже с шести лет: — «Только этот бедный жаворонек никогда не пел».

У самого слезы навернулись, а — в трусах кол торчит.

Тут и у Надьки все же выкатились две слезы, потекли по щекам, когда он тревожно голос понизил:

— Однажды ночью трактирщица отправила Козетту в лес за водой. Жаворонку было очень страшно, беззвучно плакала от холода и страха...

Выплеснулось; прошептала вдруг; горячо, и губы трясутся:

— Пусть она спасется! Расскажи, чтобы спаслась!

Тут Витька и руки отнял, жестикулирует; торжествуя голосом:

— Вдруг кто-то крепкой теплой ладонью взял дрожащую от страха и холода Козетту за руку. И Козетта от неожиданности ни капельки не испугалась!

Надька застыла с открытым ртом; глаза неизвестного зеленого цвета раскрыты так, что и нет уже вокруг ничего: ни неба, ни воды, ни камышей. А Витька чувствует момент, как стихи — до конца:

— Тогда незнакомец вернулся с самой красивой на свете куклой...

Закончил вдохновенно:

— Козетта пошла навстречу своему большому счастью,

И — пауза, молчат оба; Надька с дыханием справиться не может, Витька не знает, как теперь руки — обратно...

Через длинное мгновение вдруг бросилась она к нему, лодка чуть не перевернулась; прижалась, обняла — целует мокро в лицо.

Потом отстранилась... руку его взяла и снова себе под футболку:

— Вот! Вот, делай что хочешь...

И еще — другую руку его:

— Тебе хорошо, хорошо будет! — в трусы к себе: мокро, горячо... там.

И тут не выдержал бедный Витькин организм: обильно выстрелила в плавках сперма... Оттолкнул Надьку обеими руками, упала, ударилась затылком о борт; а он — с головой за борт, в воду.

Вынырнул, завопил дико:

— Корова! Корова! Корова!

Табличка третья:

Со слов Сун-Леле Иннуну, заклинателя

Желает Она дать отдых плоти уставшей своей на горе, что выше всех гор и где кедры в смоле золотой; возлечь в тенистой прохладе тех ароматов и отдых дать усталости плоти своей. Желает увидеть с вершины горы той, что всех выше — до неба, узреть красоту и согласие дел своих; поглядеть на радость душе.

Пошла Она к горе той, что зовется Самая Высокая Гора, и поднялась на гору ту и возлегла там на вершине в благоуханной прохладе тени ветвей кедра золотого могучего, золотого в смоле своей, что рос на вершине. Оттуда окинула взглядом дольний мир: полный красоты и согласия, где прекрасно все. Небеса, и под ними земля на груди океана: горы, и долины, леса и степи, моря и реки все, что есть на земле. Растения, птицы и звери водные и подводные, земные и небесные. Приятно стало душе Ее, и приятно стало плоти Ее. Уснула в счастливом покое, в благоуханной прохладе ветвей золотого смолою своею могучего кедра, что рос на вершине. И приснился Ей сон:

«...по набережной шла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц... Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна... Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянул на него и тотчас же пустила глаза. — Он не кусается, — сказала она и покраснела. — Можно дать ему кость? — спросил он...» — «...Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как?»

Тревогой затрепетали веки Ее, под которыми сон. Но еще надеялась душа так: *«Еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь. Но было ясно, что до конца еще далеко — далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается...»*

Проснулась Она пусть в слезах, но — живая; веки разъяла, открылись глаза. Она слезы утерла, глядит и не видит. Не видит кедра на вершине горы самой высокой; нет ни горы, ни чудесного вида на райские кущи! Все там же Она, куда поспешила в ярости своей, оставив безмолвных недвижных уродов в холодном ужасе ожидания плодов гнева своего. Все там же Она, в месте том потаенном, сокровенном; стоит, в раздумье забывшись, на песке берега воды замерзшей...

(В этом месте текст обрывается: нижняя часть таблички отбита.)

Позже

Где-то — дальше по променаду — уже музыка, голоса; женские в основном; скоро засверкает разноцветно иллюминация, каждый вечер на пляже у главного пирса — дискотека с десяти часов...

Сидит Виктор Егорович под фонарем на скамейке променада, не любителю на лунную дорожку, не курит. Руки локтями в колени упер, голову опустил: в ладони тяжело упрятал. Совесть его, что ли, мучает, что бездельничал целый день? Да ничего подобного! Он и был-то сейчас с собой наедине, вообще-то, и не в сегодняшнем дне, и не на лавочке под тусклым фонарем на пляже в Лидо-ди-Йезоло. Какая там, где он был, совесть?

Или, может быть, грыз себя какой мыслью он? Вот ритуал в последние пару лет у него такой: грызет себя он — мыслью. Мысль та крайне банальная: должен ли он, Виктор Егорович Лаптев, обладающий достаточно высоким интеллектом и достаточно развитым вкусом, стыдиться того, как устроил он и как проживает свою жизнь? Но сейчас как бы и не время для нее...

Это потом, обычно в глухом беспросветном ноябре, когда приходит пора садиться за компьютер и набивать текст очередного романа, мается Лаптев дурью пару дней; оттягивает неизбежное. Потому что скучное это занятие, что уже сложилось — в слова переписывать. А вот так сразу обратиться Снежаной Ардугиной не получается у Виктора Егоровича. Сначала ритуал. Слова давно подобранные, из года в год одни и те же; пошлятина, конечно, зато — медитация. Мол, живет он — и хорошо живет! — сочинением низкопробных книжонок на потребу толпе; книжонок, которые сам бы читать никогда не стал. И даже не презирает себя, понимая, что не станет менять свою жизнь. Комфортно ему в том достатке, которого он достиг подлым в его собственных глазах «компромиссом». И то, что он малодушно скрывается за именем Снежаны Ардугиной: стыдно, стыдно, стыдно...

Так пару дней, сам над собой похихикивая, помается Лаптев дурью, а там — вот уже Снежана Ардугина сидит за компьютером, ловко перебирает пальцами клавиши. Легко скользят по экрану монитора ее гладкие слова...

...Так какого лешего сидит Виктор Егорович Лаптев тут у моря так, что глянь кто со стороны — совсем плохо человеку? Сам не знает того. Да он сейчас вообще ничего про себя не знает! Битый час нет его нигде, Лаптева; и с самим собой, с Лаптевым, похоже, его нет...

Если бы проникнуть ему в голову: удивительное дело там! Как заевшая пластинка в сознании Виктора Егоровича — мысль; повторяются по кругу одни и те же слова: «Закат... такой вот... Вот нет ни тверди земной, ни тверди небесной... Бессмысленная ведь она! До боли, до ущемления души, до бессилия, до безнадежности — бессмысленная беспросветная красота заката... В багрец и золото одетые леса...»

Слова эти в сознании его явственно звучали, но сам Лаптев их не осознавал. Осознавал бы, так, наверное, стал бы лихорадочно таблицу умножения повторять, чтобы зацепиться было за что, вернуться. А увидел бы себя сейчас со стороны, откинулся бы, как будто расслабон, на спинку скамейки да принялся бы тихо насвистывать «Чижи-ка-пыжика»; тоже — якорь.

Как долго бы еще так сидел себя потерявший человек в конце того — таким ни с того ни с сего вдруг столь необычным сложившегося — дня? И чем бы его такое сидение обернулось? Запросто мог и — не вернуться; наверное? Однако того уже не узнать:

вышел из темноты итальянской душной ночи и остановился напротив Виктора Егоровича смазливый мулат; как положено, в белом весь. В тесном шатре фонарного света еще эффектнее: стройное, гибкое тело с фитнес-плаката, блеск уложенной прически:

— Something happened? Do you need help?

«Я что, так плохо выгляжу?» — пробилось все же наконец в сознание Лаптева; поднял голову. Глянул снизу — вверх. Но похоже, не совсем еще вернулся из туманных полей Виктор Егорович.

— E, successo qualcosa? Hai bisogno di aiuto? — альфонс спросил наглее, ближе подошел.

Ну наконец-то уж! Адреналин его никогда не подводил: безотказно, когда нужно. Лаптев встал спокойно, в подведенные глаза его посмотрел и по-русски:

— Я что, так плохо выгляжу?

Ушел тот сразу, как не было его тут.

Виктор Егорович достал пачку из кармана — сердце все еще не уюмонилось — а... сигареты кончились; смял в кулаке — пустую, бросил в урну у скамейки. Не попал, отскочила в темноту. Шагнул, присел на корточки, руками по песку шарить стал; нащупал в темноте пустую пачку — тут его и осенило: да это же море сегодня его и сбило! Да с утра ведь: еще. Потому-то и — так! У Надьки той... Коров... Коровайкиной, у дурочки... глаза этого адриатического зеленого цвета были тогда; точно. Так доволен Лаптев стал, что даже и в голову ему не пришло: а вот уже столько лет он у моря тут, и цвет этот... всегда; что же это вдруг сегодня-то такой день случился у него?

Довольный большим удовольствием Виктор Егорович и малого удовольствия тут же вкусил: непринужденно швырнул мятую пачку через левое плечо, не глядя, и — точно в урну. Вот хоть и не ждал от себя и не загадывал, просто позволил безделье, и... ведь не зря!

А время-то, он на часы глянул, начало одиннадцатого: ха-ха... по регламенту самый разгар полевой работы. Только сегодня он — сам себе хозяин! Почему бы сейчас не вернуться в «Аврору»? Посмаковать на террасе чашечку тамошнего эспresso с сигаретой. Или ха-ха... даже... просто так, для секса лишь, снять женщину.

Тут Лаптев себя трезвой десницей одернул: уюмонись, Витя, перебор! И в самом деле, уже совсем по-щенячьи как-то — из ошейника выскользнул, так сразу и берега потерял. Кофе с сигаретой — это можно, а потом: в номер и... да хоть телевизор смотреть стану!

...Виктор Егорович поднялся в город. С темнотой духота чуть спала, и праздный люд, вернувшись с пляжей и плотно отужинав, высыпал из гостиниц на променады в поисках вечерних удовольствий; кто целенаправленно, но большинство — *как получится*. «Самая длинная в мире торговая улица» забита праздным людом; вечером и ночью не ездят по ней автомобили. Медленно колышется под тусклыми фонарями меж пиний, точно косяк сардин в Гольфстриме, в тесноте фланирующая толпа. Обычно и он в это время шел вместе с толпой; не отличить от остальных. Но не бездельно, как все: работал. Время от времени легко прихватывая очередную свою спутницу за талию, под локоток или приобняв за плечи, лавировал в толпе.

Теперь же был он наконец сам по себе и для себя. Только вот именно для себя — необходимо Виктору Егоровичу сейчас как-то пробиться на противоположную сторону Via Andrea Baffie. Сигареты-то закончились; единственная лавка, в которой в это время можно купить «Chiara Valle», там. Казалось бы, всего-то пару десятков шагов — улицу пересечь... Но толпа — на добрую сотню шагов снесла Лаптева вниз по течению. Вынырнул, купил сигареты; опять нырнул...

Лаптев свернул в тихую боковую улочку, что вела к «Авроре», остановился под пинией, закурил; он не спешил. Эта — одиннадцатая, сверхнормативная — сигарета такой сладкой оказалась, какой никогда еще не бывала даже первая, утренняя: после завтрака.

«ОБЩАЯ РЕЧЬ», ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК

Правду не спрячешь, или Удача не ходит в одиночку

Прокомментировать сенсационную находку из котлована Башни Эсперанто мы попросили декана исторического факультета нашего Университета и лидера общественного фонда «Приют патриота» академика Ербола Ерболова.

«Общая речь»: Уважаемый Ербол Ерболович, разрешите еще раз поздравить вас с сенсационной находкой.

Академик Ерболов: Должен сразу поправить вас... Поздравить с этим знаменательным событием нужно не меня, а — всех без исключения жителей нашего великого города. И несомненно, символично, что произошло оно накануне доверенного Глобальной Скупщиной именно нашему городу Всемирного Фестиваля МУЛЬТИ, членом Оргкомитета которого я имею честь состоять. Само Время как бы заявляет нам, что правду невозможно спрятать даже под толщей веков!

ОР: Как же вы правы, уважаемый академик! Мы уверены, что вместе с нами каждый житель нашего города испытывает огромную гордость. Но все же надо признать, что все мы, как говорится, люди, все человеки... И такое обычное человеческое чувство, как любопытство свойственно всем. Нам так хочется поскорее узнать, что же записано в древних табличках?

Е. Е.: И мне тоже очень хотелось бы узнать это! Однако нужно всем нам запастись терпением. Мы впервые столкнулись с совершенно неизвестным науке видом письменности, необычные знаки, которыми испещрены древние таблички, это не рисунки, не иероглифы, не руны и тем более не буквы... Расшифровка неизвестных знаков займет какое-то время. Но я твердо уверен в высочайшей научной квалификации академиков нашей Академии. Уверен в том, что мы обязательно сумеем расшифровать надписи на табличках.

ОР: Но есть ли у вас хотя бы некоторые предположения, догадки...

Е. Е.: Не догадки и предположения! Уверенность есть! На этих табличках в той или иной форме рассказывается о том, как видели наши предки сотворение мира.

ОР: Однако если вы еще не расшифровали древний текст, как же...

Е. Е.: Это — чудо! Однако сразу скажу: чудо случается лишь с теми, кто его заслужил... Есть такая поговорка: пришла беда — отворяй ворота. Мы же можем сказать ровно наоборот: удача не ходит в одиночку! Из трех табличек, что мы обнаружили в древнем контейнере, полностью сохранились лишь две. У третьей отбита значительная часть.

И вот ведь какой парадокс: окажись и третья табличка целой, я бы не смог так уверенно говорить, что же записано на них... Но! Но каково же было наше удивление, наша радость, когда наряду с глиняными табличками мы обнаружили в древнем контейнере хорошо сохранившийся свиток папируса с текстом, написанным нам известным иероглифическим письмом, которым наши предки пользовались в хорошо изученную Эпоху Голубого Императора, вторую эпоху после Великого Потопа.

ОР: Так что... получается, глиняные таблички не такие уж и древние, как это казалось на первый взгляд?

Е. Е.: А разве я что-то уже сказал о табличках? Я еще не закончил говорить о папирусе... Да иероглифы — эпохи Голубого Императора. Но как показывает даже самый поверхностный, первичный лингвистический анализ, текст на папирусе — не оригинальный, а поздняя копия более раннего текста. Опираясь на характерные особенности стиля, словоупотребления и другие факторы, он относится, несомненно, к более древней эпохе; к эпохе Желтого Императора; то есть первой после Потопа. Именно из этого текста мы узнали, что сами таблички относятся к Допотопной эпохе. То есть их можно смело датировать — самое позднее — 8100 годом до Возрождения.

ОР: Невозможно даже представить такую древность! Что же записано на папирусе?

Е. Е.: Я ждал этого вопроса и принес с собой фрагменты перевода. Понимаете, вашей газете выпадает эксклюзивное право, честь: первыми обнародовать не просто фрагмент древнего памятника, но — без преувеличения — всемирную сенсацию. Итак:

Я, безымянный раб имярек — писец господина моего, по воле господина моего имярек, записал слова господина моего имярек, как он сказал мне их, ни единого слова не пропустив и не переиначив смысла речи господина моего имярек. Вот что изволил сказать господин мой имярек:

«Долгом моим почитаю я сохранить для потомков, что завещано предками. Стар я стал, и члены мои одряхлели, и тяжелой теперь оказалась для мышцы моей тяжесть допотопных писем; не удержал их в руке своей. И откуда разум мой служит еще и память не обветшала моя, что сохранила она, перескажу; попытаюсь то сохранить, что виною моею утеряно стало. Древний слог передать той речи чудесной я не умею, прошли времена сладкозвучных боянов; мы ж, их потомки, языком и скудны, и грубы. Не гордость должны мы испытывать, вспоминая славных предков своих, а стыд перед ними — что пали так низко... Перескажу быль древних времен, как могу: строим нашего времени».

Далее «господин имярек» пересказывает то, что было на разбившейся части третьей таблички, его «раб имярек» дословно записывает... Часть того, что записал раб имярек, я также перескажу «строим» уже нашего времени.

ОР: Но почему так?! Почему фрагмент, почему пересказ?

Е. Е.: Так решили мы с коллегами, и решение наше одобрено академическим советом. Объясняется оно просто. Как бы ни уважали мы вашу газету, все же публикация полного текста в, так сказать, *гражданском*, а не научном издании несколько некорректно. Итак...

На глиняных табличках, несомненно, записан традиционный, обязательный для фольклора почти всех известных народов, так называемый «Миф о сотворении мира». Оригинальной особенностью данного мифа можно назвать тот нетипичный факт, что его протагонист, творец и создатель мира, первосущность его, не имеет определения, например: бог, дух или герой et cetera, et cetera... И что совсем необычно для любых мифов, протагонист не имеет собственного имени. Небывалый в науке случай!

Протагонист мифа, записанного на наших табличках, называется просто: «Она». Буду крайне осторожен... постараюсь максимально аккуратно оформить свою мысль: женский род, которым определена первосущность рассказа о сотворении мира, похоже, есть свидетельство невероятно древней эпохи, в которой создан этот миф. На мой взгляд, гораздо древнее мифов о сотворении мира, которыми так кичатся некоторые народы, что задрал носы и снисходительным тоном свысока поучают нас!

Пересказ древнего текста, записанный на нашем папирусе, представляет собой диалог в форме «вопрос — ответ». «Она» задает вопросы одному из тех существ, называемых в тексте «чудищами» или «уродами», которых, как выясняется из диалога,

прежде сама же по какой-то причине обратила в безмолвные камни. Фантастическое создание отвечает на эти вопросы. Из диалога мы узнаем, как создан был мир, как и кем был он заселен и какие события происходили «в начале мира».

Думаю, что я сказал достаточно для того, чтобы читатели нашей уважаемой «Общей газеты» могли составить верное впечатление о том, какого значения события стали они современниками. И хочу их заверить, что Академия в общем и каждый из нас, академиков, в отдельности приложат все свои знания, умения и силы, чтобы как можно скорее каждый житель нашего великого Города смог ознакомиться с полной расшифровкой древнего текста.

Мне поручено донести до горожан торжественное обещание: Академия обязуется расшифровать и перевести тексты со всех найденных табличек к началу Всемирного Фестиваля МУЛЬТИ и в день торжественного открытия форума устроить презентацию древнего документа. Явить, так сказать, миру и граду неоспоримое доказательство права нашего Города претендовать на постоянное место в Совете Избранных Мировой Скупщины.

На ресепшен

...На ресепшен Фабиана — вечерний портье, средних лет итальянка южного типа — сдавала пост ночному портье, двухметровому латышу Имантасу, своему мужу. Счастливая семья! Только позавидовать можно такому браку: когда муж на работе, жена дома, и — наоборот. Нет времени на мелочные склоки, обиды и всю ту бытовую шелуху, в которой так часто и самим супругам даже, чем дольше они вместе, тем все труднее найти зерна любви. Этим двоим не нужно вышелушивать их. Кроме того, хотя и живут они в Италии, общаются между собой на русском языке, которым владеют, мягко говоря, не совсем идеально. А значит, пользуются словами *основными*: простыми и ясными, без смысловых оттенков в которых чаще всего и таятся корни непонимания. Короче говоря, не умничают, потому и счастливы.

Да, на Фабиану и Имантаса даже просто со стороны глянуть — душе приятно. А когда встречаются они на пересменке, кто знает — как Виктор Егорович — так даже и специально ходят посмотреть. Имантас замрет обязательно по стойке смирно, выпрямится во весь свой почти двухметровый рост; правую руку под прямым углом — в сторону. Фабиана подойдет и вытянется на цыпочках ему под мышкой: макушкой как раз до руки достает. Поят мгновение, потом засмеются чудесно так, тепло.

Когда Лаптев вошел в холл, оба они в один голос ему:

— Добрый вечер, — это Имантас. — Вы здесь?

— Сегодня? — закончила Фабиана.

— А мы ей сказали, — продолжила Фабиана.

— Что вас не будет, — Имантас.

Обслуга в «Авроре» не удивлялась образу проживания *странного русского* в отеле. Что был он тут в основном днем, да и то не каждый день, что ночевал еще реже и ни-когда в уик-энд, выучили давно.

Вот этого Лаптеву совсем не надо было! Кто мог его спрашивать — здесь? Еще и: «она»... Неужели? Так ведь сама после завтрака в «Нептуне» сказала: «Ты, Виктор, иди спокойно на пляж, мне еще номер сдавать. И провожать к автобусу не приходи».

А дуэт за стойкой продолжил:

— Она странная... такая, — это Имантас.

— Нам сразу показалась, такая... — это Фабиана.

Выходило так: минут десять тому вошла женщина («Русская!» — это они хором). Спросила господина Лаптева из *девятнадцатого номера* (многозначительно так — Иман-

тас). Когда сказали ей, что не будет сегодня («Уехал в Венецию на всю ночь» — Фабиана придумала), тогда «эта женщина совсем не ушла». Спросила еще какую-то... Тут они переглянулись, точно каждый ждал, что скажет другой, и стали перебирать.

— Похоже на... как Снегурочка — после паузы Имантас.

— И что-то, как... радоваться, — тут же и Фабиана.

— Снежана Ардугина?

— Да! Так это, — заулыбались оба за стойкой, — вы знаете про такую женщину! То — хорошо! — инициативу перехватила Фабиана. — Я говорила, что такая у нас не... («Не проживает», — помог ей латыш.) Не проживает, я так сказала! Только она не уходила тогда, говорила, что в баре кофе выпить. И там — она.

Лаптев мог подняться в номер, эти двое не выдали бы его, но он смирился: если случается то, что не может случиться просто потому, что не может случиться ни за что и никогда, тогда это — «жизнь». Она неминуема и неизменяема. Сам сказал как-то Борису Вильдавскому: «В искусстве обязаны быть логика и законы, что позволяют или не позволяют *случаться*; в жизни их нет. Ее можно только прожить».

...Ее увидел Лаптев не в баре — там лишь чашечку эспresso прихватил — на террасе ждала, у окна; смотрела в окно, как в зеркало: темнота за окном. В отражении он вышел на террасу; обернулась к нему только, ни знака ему, ни улыбки какой навстречу. Лаптев пока шел меж столиков, глянул украдкой на свое отражение в окне: хорошо вроде; даже как бы и расслаблен, озабочен больше — кофе не расплескать, в левой руке блюдце, правой чашечку придерживает... Осторожно сначала кофе на столик поставил, потом только:

— Добрый вечер, — как будто и не узнал.

Выдвинул стул, сел под углом к ней, близко: столик с одной стороны вплотную к окну, со второй — пальма в кадке.

Она же молчала все, смотрела прямо в глаза ему своими прежними адриатическими глазами, как будто поверила, что не узнает.

Но когда присел он боком к ней, точно решила — крепко зажмурилась, перенесла плечами; когда открыла глаза, в сторону глядела. Сказала негромко, ровно:

— Я — не она, — голос тоже прежний был.

— Конечно, — сказал Лаптев почему-то ненужное.

Один раз глянул — коротко — в лицо ей; пачку на стол положил, зажигалку вынул, прикурив не спрашивая; затянулся не спеша, дым в сторону окна выпустил. Выхватил в отражении еще раз лицо ее. В отражении не видны гусиные лапки у глаз, складки в уголках рта. Только когда прежде, как бы мельком, глянул: не та девчонка, конечно, но и не шестьдесят, как бы должно было. И — чего никак ожидать не мог — глаза прежние, только иные: взгляд иной; померещилось даже, что как будто и боль в том взгляде. Это все — миг только один...

— Здесь не могу объяснить тебе, — только и сказала она, без предисловия. — Надо только между нами.

Тут бы оказалось к месту его «конечно». Хотел сказать, да осекся — все же не попугай он.

— Поднимемся в номер, — он, как и решил еще на ресепшен, просто «прожить», следовал за ней; без предисловий она, значит — так.

Она кивнула молча.

— Я сначала выпью свой кофе, — все же ему почему-то хотелось чего-то и... от себя.

Лаптев курил медленными затяжками, мелкими глотками смаковал эспresso, «проживал». Так молчали, пока не докурив.

— Пойдем, — встал Лаптев и пошел, на нее не оглядываясь.

Она молча за ним. На террасу тут, им навстречу, пара вошла; в тесном проходе меж столиков Лаптев остановился, чуть в сторону встал; впереди, как положено, женщина шла — пропустить. Кавалер ее тоже посторонился галантно: так то вынуждена была нежданная спутница Лаптева вперед его пройти; прошли-то так с десятков шагов всего!.. Но и за эти пару минут разглядел за чем-то — вот уж точно знал что: ненужное — ее под тонкой тканью сарафана... или как там это сейчас называется?.. фигуру ее. Упругие ягодицы, волнующие бедра... Если бы жил сейчас Лаптев, а не «проживал»...

Когда вышли с террасы, возле бара, обогнал он ее решительно, повел. На ресепшен Имантас — Фабиана ушла уже — честно постарался их не видеть. Пока поднимались по лестнице — он впереди, она за ним, — мелькнула у Лаптева, как последний всполох обреченного костра, дурацкая мысль: войти самому в номер и дверь перед носом этой женщины захлопнуть. А что дальше будет, то уже не ему отвечать. Вспыхнула на миг и в золу обратилась; угасла навсегда.

**Копия архивная
(из личного дела пациента Ё.)**

Лист 1

Дата: Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое

Место: Наш город, областной ПНД

Сопроводительная записка

Гражданин *безымярек* доставлен в приемный покой областного ПНД нарядом милиции. Со слов командира экипажа № 6 ППС ГОВД старшего лейтенанта Иблетова, в дежурную часть ГОВД поступил звонок от жителей улицы Бетонная о том, что в песчаном карьере завода ЖБК находится обнаженный нарушитель общественного порядка. По словам очевидцев, нарушитель, вероятно в нетрезвом состоянии, упал в карьер и теперь предпринимал попытки выбраться оттуда. На предложение об оказании ему помощи нарушитель отвечал молча агрессивным поведением так, что страшно подойти. Сами очевидцы по причине осторожности и моральной порядочности покинули место происшествия голого мужчины. Но, по их утверждению, испытывают большой гражданский долг о том, что голый нарушитель общественного порядка в карьере своими агрессивными и неадекватными действиями может спровоцировать обвал песчаной массы и совсем погибнуть.

Прибыв на место происшествия, обнаружилось, что упомянутый нарушитель в ночное время порядка сумел самостоятельно выбраться из песчаного карьера и лежал тут же, вероятно, по причине обессилевания. На вопросы милиционеров субъект нарушения общественного порядка не отвечал, хотя видно было, что находится в сознании, так как насвистывал мотив музыки неизвестного происхождения. Также на месте опытным путем было определено, что субъект определенно находится не в состоянии алкогольного опьянения, и по соображениям объективного порядка на предмет воздействия иных средств приказом дежурного по городу препровождается в областной ПНД для обследовательных действий силами специалистов психиатрической области.

Подписи: дежурный врач Е. Е.
Ст. л-т Иблетов

Лист 2

Дата: Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое

Место: Наш город, областной ПНД

Предварительный осмотр

По непредвиденным причинам надлежащим образом предварительный осмотр доставленного в приемный покой гражданина *безмярек* не представляется возможным.

Докладываю:

Одновременно с вышеуказанным гражданином в приемный покой было доставлено в состоянии сильного алкогольного опьянения лицо бомж мужского рода. Указанное лицо, согласно установленному порядку, было раздето и препровождено при содействии медбрата Лаптева-младшего первого для первичной обработки в виде принудительной помывки. В душевом помещении, возможно, под влиянием холодной воды, вышеуказанное лицо бомж проявило неповиновение и, вырвавшись из душевого помещения с нецензурными выражениями, вернулось в приемный покой, где тотчас направились к своей одежде. Вынув из одежды граненый стакан, оно потребовало сначала вымыть этот стакан. До этого момента доставленный *безмярек* вел себя спокойно и признаков агрессии не проявлял. Увидев же стакан в руке лица бомж, он резко переменял свое поведение. А именно, набросившись на того, вырвал стакан и откусил от него, при этом нанеся себе рану в области рта. После оказания ему первой помощи был препровожден в изолятор на передержку до утра.

Примерные физические характеристики:

Определены по результатам визуального наблюдения. Рост ниже среднего. Телосложения тщедушного. Члены недоразвиты, что, как и вздутие живота, может указывать на врожденный рахит. Или, что более вероятно, на хроническое недоедание. Волос на голове и на теле нет. Глаз один, посреди лба.

Дежурный врач Е. Е.

Лист 3

Дата: Никоторого числа. День был без числа

Место: Наш город, областной ПНД

Время: дождливое

Первый прием у главного врача

(обработка видеозаписи)

Присутствуют:

Главный врач областного ПНД Е. Е. Ерболов

Оператор аппарата электрической коррекции Лаптев (младший третий)

Медбрат Лаптев (младший второй)

Главный врач:

— Имя? Фамилия? Отчество? Дата рождения?

Неимярек:

— Известны.

— Не возражаете, если для протокола мы обозначим вас, как Ё?

— Как скажешь, гражданин начальник.

— Место рождения? Откуда прибыли?

— Местный.

— Есть ли лица, которые могли бы вас опознать, помочь вас идентифицировать?

— Он может, который меня сотворил. Вон там маячит, среди этих...

(*Ё оборачивается и показывает пальцем на висящую на стене репродукцию известной картины «Султан читает письмо запорожских казаков».*)

— Должен быть; там его видел перед... Прячется, гад!

(*Пытается встать.*)

— Хорошо, хорошо... Садитесь, у нас еще будет время для опознания.

— Нехорошо так говорить, гражданин начальник...

— Ладно... присаживайтесь тогда... Итак, с ваших слов можно понять, что сейчас здесь находится и ваш родитель? Назовите его имя.

— У него тоже нет имени. Ни у кого нет имени.

— Как же вы зовете друг друга, как обращаетесь при общении?

— Я с этими не общаюсь.

— Закончим с этим, пожалуй. Ваша самоидентификация для нас не играет большой роли. Важно, как мы вас идентифицируем.

— Непонятно излагаешь, начальник.

(*Видеозапись остановлена. По условленному знаку главного врача оператор АЭК произвел электрическую коррекцию пациенту Ё; после восстановления физических функций организма пациента Ё видеозапись продолжена.*)

Главный врач:

— Добрый день, уважаемый Ё.

Пациент Ё:

— Добрый день, дорогой доктор.

— Итак, вы хотели нам что-то рассказать...

— Спасибо, что согласились меня выслушать. Понимаете, доктор, я должен объяснить... Позвольте...

— Пожалуйста. Мы не спешим.

— Это Она во всем виновата! Вот.

— Она — это кто? Вы ничего прежде ничего не говорили о какой-либо женщине.

— Доктор, я не знаю женщин! Я говорю о Ней, понимаете? (*Заламывает руки, проявляет признаки крайнего волнения.*) Пожалуйста, прошу вас! Прощу, прошу вас, не перебивайте меня, и тогда...

— Хорошо, хорошо... успокойтесь, пожалуйста. Вот, выпейте водички.

(*Медбрат Лаптев-младший второй подает воду в пластиковом стаканчике; пациент выливает воду, пробует стаканчик на зуб, с разочарованным видом его рассматривает, затем ставит на пол; повторяет свою просьбу спокойно, негромким голосом.*)

— Пожалуйста, не перебивайте меня. Я так долго искал, кому бы рассказать о моей боли... Ну, не этим же (*вновь показывает пальцем на репродукцию*)... Я уже совсем отчаялся, не верил, что найду слушателя, доброжелательного и понятливого, чтобы рассказать... вот.

— Внимательно вас слушаю. Итак?

— Она виновата!

— Да, да... это мы уже слышали. Продолжайте.

— Нет, она, она, конечно, как бы и не виновата. Специальной вины ее нет тут. Но она, если зреть в корень, виновата! Мы все (*вновь показывает пальцем на репродукцию*) хотя напрямую и не ей сотворены, но все же осуществились как сущности именно по ее вине. Именно она ведь сотворила из своей плоти корову, которая, как вам хорошо известно, поддерживает свод небес. И согласитесь, если сотворила, так и ответственность не-

сти должна. Предусмотреть и пресечь на корню, профилактически, так сказать, чтобы творение ее каких безобразий не учинило; научить и предупредить. А она-то пренебрегла: ушла куда-то и — с концами; нет ее. Вот корова и начудила тут же! А что с нее взять? Тупое жвачное животное... Тоже себе возомнила, что, мол, душа у нее. А душа, значит, ну это всем известно из пророчества, понятное дело, творить должна. А что корова-то сотворить может? Как известно, чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лай... Таков первый и получился. И тут же тоже «творить» принялся. Вот все мы так и получились: один от другого. Пожалуй, лучше я вам все поподробнее...

— Извините, мне не хотелось бы вас прерывать... Но понимаете, уважаемый Ё, я же все-таки в первую очередь врач. Поэтому как профессионал и давший клятву Гиппократу не могу оставить без внимания ваши слова о боли, которую вы испытываете. Понимаете?

(Молча кивает головой.)

Позвольте, я быстренько задам вам пару вопросов, а потом мы сразу вернемся к вашему весьма интересному рассказу, милейший Ё.

(Молча кивает головой.)

— Вы говорите о невыносимой боли, которую вы испытываете. Верно?

(Молча кивает головой.)

— Как же проявляются она? Это боль внутренних органов или что-то наружное?

— Нет (раздраженно). Это не физическая боль. Это — боль душевная (ненадолго замолкает; точно раздумывает). Не обижайтесь на меня, пожалуйста...

— Ну что вы! Ни в коей мере!

— Значит, вы — просто врач? Как этот... ухо-горло-нос?

— Нет, я, определенно, не ЛОР-врач.

— Однако я ожидал, что в этих стенах, как записано в направлении, мне будет предоставлен психиатр.

— Обязательно! Вот наш уважаемый профессор, заведующий самым главным институтом психиатрии, лауреат (главный врач указывает на медбрата Лаптева-младшего третьего; тот кивает головой). Пожалуйста.

Лаптев-младший третий:

— Здравствуйте. Готов вас слушать.

Ё:

— Ну наконец-то!.. Извините... Не поймите меня неверно: не душевнобольной я (заметно возбужден теперь). О, если бы... Употреблю другое слово — не боль: «мука»; душевные мучения невыносимые испытываю. Эти (показывает на репродукцию) якобы тоже мучаются. Я от них сбежал. Но видите, они меня выследили, подслушивают. Чтобы вы им тоже...

Лаптев-младший третий:

— Про них мы поняли все. Не беспокойтесь: они надежно обездвижены и даже слышать нас не могут... Так в чем, говорите, суть ваших душевных мук?

Ё:

— Видите ли, в отличие от этих пустых оболочек, кимвалов бряцающих, именно мне передалась душа... Сейчас объясню... Видите ли... Она же бессмертная...

Лаптев-младший третий:

— Душа, конечно, бессмертная, мы это понимаем...

Ё:

— И душа тоже. Но я имел в виду Ее, которая — создала. И вот поскольку Она — особая; не просто бессмертная, как я, да вон даже, как эти (показывает на репродукцию),

потому что, как ни крути, а — пусть опосредованно весьма — но из ее плоти сотворены... А у Нее — душа. И каким-то образом мне передалось... Ну вы же знаете, доктор, как гены порой передаются... весьма произвольно и непредсказуемо. Но коли есть душа, то ее несчастному обладателю требуется так называемый смысл жизни. Вот как, скажите на милость, жить вечно, бессмертным, и не знать: зачем? Быть никому не нужным, бесполезным и, значит, бессмысленным... *(Вновь возбуждается, говорит горячо.)* Это мучительно, это больно! А боль-то измучит так, что на все пойдешь, чтобы от нее хоть как-то отвлечься, забыть хоть на миг. Нужно нечто, что боль перекрыть может... А что лучшее для того средство? Ужас и хаос, как известно. Вот тогда-то что угодно наворотишь. Даже и не захочешь, а боль вынудит — наворотишь ведь. И такого, что *(вдруг меняет интонацию, говорит как бы заученный текст, механически)*... пространство схлопнется, соединятся вновь в единое небесная твердь и земная; и станет, как прежде, тьма в пустоте.

Главный врач:

— Ничего, ничего... Вот таблеточку примите; полегчает вам.

(Пациент Ё жестом отказывается, не оборачиваясь к главврачу, обращается к Лаптеву-младшему третьему.)

Ё:

И я задумал тогда, как считал, хороший план, дабы избежать хаоса и ужаса. Это же ясно, что если найти Ее, по вине которой я так мучаюсь с этой душой моей, и заставить Ее все исправить... Ей-то это проще простого: просто сказать мне, в чем смысл моего существования, для чего я вообще нужен. И — все! Только и тут допустил я роковую ошибку, засомневался я, что станет Она меня слушать И тогда рассказал все вот — им *(показывает)*. Просто помощи попросил, чтобы вместе... вместе-то, всем миром если, я так думал, Она не откажет. А они тут и завопили: мол, у них тоже — души. Врут, сволочи! Вы на них только гляньте *(показывает пальцем, потом грозит кулаком)*. Испоганили все, испортили... а план хороший был у меня! Стали Ее всем кагалом искать; нашли, конечно. И налетели разом, взбесившаяся сволочь... Орут страшно, бьют друг друга *(плачет, говорит сквозь рыдания)*. Страшно мне стало, убежал я тогда от них сам не зная куда *(вдруг прекращает рыдать, точно понял только что нечто)*. А... вот значит... если выследили они меня, то и Ее, наверное, забили там... Вы точно их надежно обездвигили?

Главврач:

— Надежнее некуда!

(Но пациент Ё немного успокаивается, лишь когда медбрат Лаптев-младший третий подтверждает кивком головы.)

Пациент Ё:

Хорошо, тогда, думаю, вы меня хотите спросить...

Главврач:

— Нет, не спрошу *(подает условный знак; оператор АЭК производит электрическую коррекцию; пациент выключается)*. Ну, так и запишем: клиент наш, оставляем! Лечению не подлежит, работать может. Как очнется, отведите в третье отделение; пусть обучат. Им там рабсила нужна: мохеровые шарфы нынче хорошо продаются.

(Главврач и оператор АЭК покидают кабинет; когда пациент Ё вернулся в сознание, попытался запеть: «Этот турок, турецкий султан, он нахал и невежа; третий день я точу свой кинжал, на четвертый — зарезу!», медбрат Лаптев-младший третий пресекает попытку несанкционированного поведения и препроводил его в третье отделение ПНД.)

Текст полностью соответствует.

Подписи:

Гл. врач

Ерболов Е. Е.

Турецкий султан

Султан Турецкий

ЧАСТЬ IV

Ночью

— И вот тогда я и узнала, поняла, что собой представляет настоящий ужас... Тот ужас, который заставил меня на какое-то время окаменеть, потерять от страха разум — был ужасом извне. Тогда они накнулись на меня так неожиданно, внезапно. Вопят, бьют друг друга смертны боем; ужасные, ужасные... Но тогда я быстро оправилась. Я могла сопротивляться, противопоставить внешней угрозе волю мою. Но иной ужас объял меня. Он — внутри меня; ему невозможно сопротивляться. Я сидела на холодном песке, смотрела на свое отражение в стене замерзшей воды и — только плакала.

Лаптев точно фильм смотрел: слова ее каким-то невероятным образом трансформировались в живую жизнь. Она сидит — в своем тонком сарафанчике — на черном вулканическом песке, какой видел он в Исландии, одну ногу вытянув перед собой, другую согнув в колене; телом вперед подалась: долго смотрит внимательно на свое отражение в замерзшей воде. Потом набирает горсть песка, лепит из него; от напряжения прикушен кончик языка. Осторожно вылепляет фигурку по своему образу и подобию человечка... Вот — оживает фигурка в ее теплых ладонях; смеется звонко и что-то лепечет, ручонками что-то показывает. Опускает она бережно человечка на землю, выпускает из ладоней своих — тут же рассыпается прахом фигурка; горстка песка на песке только. И так: за разом раз, в сотнях бессильных повторений.

Вот — и горько, и больно ему — искренне — на это смотреть, но... ведь и смотрит он: съехала тонкая ткань сарафана вниз по бедру согнутой в колени ноги, оголила *там*... Он смотрит, но видит лишь: плачет она — там. Здесь видит, что тяжело ей вспоминать; и ему так жалко ее. Но она не прервет свой рассказ, как надеялся он вначале и чего боялся теперь; почувствовал, что и в ней переменилось нечто. И понял еще: проявляется в нем понемногу своя воля в этой истории и право на участие. Потому решился спросить, что давно уже хотел:

— И сейчас ты скажешь, что в самый отчаянный момент вспомнила пророчество, «что знала, но забыла»? — с каким-то удивлением, точно озадачил он ее, посмотрела длинным взглядом, головой покачала только. — А вообще, есть ли на самом деле — пророчество? Все время так получается... ну, это я так вижу, понимаю из твоего рассказа... Каждый раз, когда ты попадаешь в — как бы — безвыходное положение, всегда вот это: пророчество. Мне кажется, что это ты — сама всякий раз каким-то образом находишь выход, без этой всей... мистики.

Она все смотрела на него, точно пыталась понять в словах ее нечто, что ей непонятно совершенно. Лаптев замолчал, она же все сидела в прежней, напряженной и внимательной позе. Длинное мгновение, как будто чашечки аптекарских весов балансируют, прежде чем замереть окончательно. Ответила потом, зябко передернув плечами:

— Знать мне не дано... Лишь могу вспомнить. А вот есть ли Пророчество, как ты говоришь непонятно: «на самом деле», не знаю.

Но Лаптев был в воле своей и в праве своем тверд:

— Объясни... о пророчестве ты не в первый раз говоришь. О чем оно — если оно все же, допустим, существует, мне, наверное, знать и не надо. Опять же допустим, что ты, как утверждаешь, бессмертная... Поэтому все равно рано или поздно доживаешь до того момента, когда пророчество исполнится. Нет, не вот это конкретно Пророчество — вообще любое, — он махнул рукой, словно за глупость извинился. — Любопытно мне: оно, пророчество, вот точно — точно так исполняется, как сказано в нем было?

— Конечно, — она убрала свой взгляд от него, вновь опустила голову. — Можно сравнить, наверное, после того, как пророчество осуществится; проверить на дословность... А зачем? В этом же нет никакого смысла. *Пророчества ведь для того и существуют, чтобы установить не факты, но смысл грядущих времен*¹. Можно сказать, что ты задал мне глупый вопрос. Но — это был очень нужный вопрос для меня: сейчас и здесь. Я до этого не знала, как объяснить тебе точно: что хочу от тебя, что ожидаю, на что надеюсь. Ты спросил, и ясно мне — в чем зазор между моим и твоим пониманием... всего. Если бы не узнала, могла бы сказать словами, которые пропали бы в том зазоре. Так долго все говорила, говорила — тебе и каждый раз уходила к своему, что тебя не касается; теряла... Теперь буду говорить только для тебя; знаю — как...

Лаптев прервал:

— Тогда я еще спрошу... коротко. А потом, обещаю, только — слушать. Все же объясни мне, как так: пророчество вот, которое знаешь, но не знаешь — откуда или от кого; вообще знаешь ты все время... Черт! Вот понимаю ведь, *что* спросить хочу, *как* — не знаю... Прости...

— Я отвечу: это есть и это не существует.

Лаптев:

— Понял! Оно есть, но оно не существует.

— Не так. Не «оно» — «это». Не «но» — «и».

...Когда они поднялись и вошли в номер, Лаптев зажег в гостиной верхний свет, кивнул головой в сторону стола, сам же — придумал себе на время укрытие — пошел курить на балкон; горькая была сигарета: через пару минут после предыдущей. Она же села за круглый стол посреди гостиной; смотрел на нее из балконной темноты в щелочку меж портьерами. Сначала обвела взглядом комнату, потом поставила локти на стол, опустила голову в ладони. Так он — пальцы на висках — сидел совсем недавно на скамейке под фонарем, там; не знал где и зачем. И она не знает, похоже.

— Не знаю, с чего начать, — произнесла она негромко, не подняв головы, когда вернулся он в номер, — как объяснить, зачем я пришла к тебе.

На что имел Лаптев волю, на что право в этой истории? Может быть, только попытаться дать этой женщине возможность уйти.

— Все еще сомневаешься в том, что правильно поступила? — спросил, не надеясь.

Хотя и затянулась несколько пауза, не надеялся Лаптев. Потом сказала она:

— Сомневаюсь, да. Но — знаю, что слушаешь ты меня.

Как будто была у него воля в этой истории, как будто право было... Он сел напротив, и она рассказала.

Она рассказала, что нечаянно — «открыла глаза, и вот» — создала новый мир. («Пространство» сказала почему-то скучным словом.) Потом все как положено: свет, твари, гармония из добрых побуждений...

Но так получилось — опять «нечаянно», но на этот раз по ее «вине» — пока она занималась сотворением мира и гармонии в нем, появились в ее мире существа, ко-

¹ Мысль А. Ф. Лосева.

торых в правильном *как должно* не должно было быть. Как она, бессмертные и одушевленные. А в правильном *как должно* для счастья и гармонии бессмертной обладательницей души могла быть только она — создатель и творец. Потому что в ее существовании и осуществлении есть смысл: создать мир и сотворить в нем гармонию. Для того и бессмертие, для того — душа. А что в бессмертных одушевленных креатурах, которые не предусмотрены и не знают потому: для чего они нужны? Лишь — хаос. Который погубит ее мир и ее гармонию.

Она рассказала, как накнулись эти «исчадия» на нее, как охватил ее ужас и как справилась она с ним: превратила «уродов» в камни и хотела засыпать их песком забвения. Лаптев, который до той поры только слушал, потому что ничего нового, чего бы он не знал из университетского курса или из книг по мифологии, она не рассказывала.

Он, немного отдышавшись в сознании своем, почти уверен был, что это так повлияли на него впечатления необычного дня, что расслабленность *for myself only*, цвет моря, закат... все это довело его до такой вот мистики; и женщина эта теперь и вовсе не похожа на *ту* (ишь, вспомнилось вдруг!), а — начиталась да свихнулась. А что знает она: Виктор Егорович Лаптев и Снежана Ардугина — одно лицо, так это — всякое бывает. Потому Лаптев внимательно слушал ее, кивал и даже спрашивал что-нибудь время от времени, что не напрягало бы — старался. Но в этом месте рассказа он засомневался в своей догадке: миф пошел *неправильно*...

Когда она превратила «исчадий хаоса» в камни и решила засыпать их песком забвения... Вот в этом месте сбился с пути истинного ее рассказ:

— Я прибежала в гнев в сокровенное потаенное место за песком забвения и быстро вернулась обратно. И такой гнев был во мне, такая ярость жгла душу! Я никогда не поверила бы, что можно такую сладкую радость испытать, если бы сама не испытала ее — когда песок из моей ладони так медленно сыпался на них, засыпал... навсегда! А потом очнулась, разжала пальцы, и песок вытек на берег замерзшей воды: я все еще стояла в сокровенном потаенном месте.

Глаза ее — люстра в пять рожков полным светом висела над столом, над ними — светились так ярко, что тень сомнения накрыла все его умное понимание беспросветно. И он снова убежал на балкон:

— В номере нельзя курить. Ты рассказывай, мне отсюда все хорошо слышно.

— Можно я с тобой выйду? — попросила она; и он понял, что тоже: как он сейчас — она.

Может быть, давно ставший привычным вид с балкона: яркая луна и большие мохнатые звезды над головой, пятна света в черной хвое пиний под балконом, ставший громче после полуночи шум волн издалека ... И глаза ее не светились тут тем светом; смотрела, куда и он: в эту невероятную красоту итальянской летней ночи... все это снова всколыхнуло сомнения. А возможно, и по какой-то иной причине, только теперь так не хотел он, чтобы здесь, на балконе, продолжила она свой рассказ. *Тут много русских, вдруг кто-нибудь услышит это все...*

И она не продолжила, попросила неожиданно:

— Можно мне тоже?

Лаптев вытащил из пачки две сигареты; она прикурила умело из его сложенных ладоней, не закашлялась, затягивалась привычно; курила, как он сам: часто и глубоко. И сразу, как он вытянул из пачки новую сигарету, она протянула руку, прикурила от предыдущей...

Сердце у Лаптева колотилось мимо всяких ритмов, сильно — до задохов, а то бы он и третью сигарету подряд закурил. Но... вернулись за стол. Она смотрела на него, и понял он, что ждет позволения продолжить. Кивнул, и продолжила она:

— Очнулась и — так чувствую облегченно: не было этого! Хаоса, уродов, страха моего, а — пойду сейчас на самую высокую гору и увижу: рай, который создала; льва и агнца, что лежат вместе под солнцем... И сразу, как представила ягненка рядом со львом вместе-то, тут и обрушилось холодом сразу — есть это все *там*.

— Так почему ты не пошла туда и не засыпала их песком, как решила? — взволнованно, как будто он уже в этой истории сам, спросил Лаптев.

— Пророчество вспомнила, что забыла: «Если посеешь в землю семя на смерть его, и если умрет то семя во тьме, тогда даст оно всходы, что принесут плоды». Похороню исчадий хаоса, чтобы умерли они во тьме, какие всходы прорастут? Или отказать мне гневу моему и ярости моей и поступить иначе; не посылать их во тьму на смерть? И что тогда будет? И что-то ведь будет! А за то, что будет, я в ответе! Мне за будущее отвечать. Мне или спасти, что создала, или погубить, мне, если не смогу. Но тогда я не думала, смогу сделать или не смогу сделать... Помню, одно только и мучило: *что* сделать?

— Тогда снова — пророчество? — Лаптев от всей души не желал, чтобы она ответила теперь утвердительно.

И она — отрицая — покачала головой:

— Нет. Нет, я знала, что сама должна найти ответ на этот вопрос. Но... я искала изо всех сил, честно поначалу; потом уже и нечестно... придумывала всякие уловки, чтобы обмануть себя... выпытать любой ценой ответ; если не ответить, то хотя бы угадать. Но в конце концов сдалась. Какое это отчаяние — сдаться самой себе! Не потому что — поняла, что не смогу. Потому — что узнала: нет ответа во мне.

Тут вдруг Лаптев вскочил в крайнем возбуждении, кулаки сжал до белых костяшек, точно голос потерял, прохрипел:

— Ну, понятно же!.. Если нет в тебе самой ответа, нужно его искать — вне себя.

Тут он смутился и даже покраснел от смущения, опустил на стул как-то боком, голову в плечи вжал. А если бы посмотрел на неожиданную женщину эту... Но не увидел он того взгляда. Она же, видимо, тоже смутилась и взгляд тот смигнула быстро и продолжила спокойно:

— Вернулась я *туда*, чтобы у них самих узнать: кто они и что им от меня нужно? — пусть и не увидел Лаптев взгляда ее — того, но доверие понял. — Вернулась, там они все; хоть рассмотреть смогла... не передать! Но не страшные уже, жалкие, противные, смешные. Долго перебирала, пока не выбрала одного — по крайней мере, не столь уродливого среди уродов.

Потерла о живот свой, ожил, от страха дрожит весь... Когда спросила, долго слова вытолкнуть наружу не мог, пока не ударила. Он и рассказал все. И — так все толково вдруг рассказал: и откуда они все, и что им от меня надо. Я поняла тогда: появилась потребность в нем, стал он нужен — пусть ненадолго, просто на мои вопросы ответить — и он преобразился. Слушала его ответы и стала понимать: имеют они право на свой смысл. Обрадовалась так... Думала: придумаю и расскажу каждому, для чего нужен он, и будет, как хотела — согласие... Тут же объявила первому: так и так — будет он отныне богом; имя тут же нарекла: Техути. Дело его определила: быть тому Техути богом знаний и букв, чтобы увековечивать мудрость. Он возопил от радости, какую-то хвалебную песнь в мою честь затянул...

А меня тут точно чем-то тяжелым по голове ударил кто; сама словно окаменела; чувства и разум меня разом покинули...

Как будто глянуть на нее побоялся Лаптев, не спросил, но она поняла:

— Да... дошло до меня: даже и один он, этот новоявленный бог Техути, кому нужен он теперь? Был нужен мне, когда узнать хотела от него; и — уже не нужен, если чест-

но. Могу и нечестно я, чтобы был он как бы нужен: за мной записывать или для меня... А вот всем им, что стоят окаменевшие тут, имя им легион! Имена я придумаю им... А вот зачем они станут нужны, когда оживут? Так вот...

— То есть так ты попала: если смерть им, то вырастет хаос и мир погибнет твой, если жить им... то же самое, по большому счету, — Лаптев пробормотал себе самому. — Бессмертной тебе для чего боги, демоны, духи... все это? Даже если б и придумала каждому... в принципе, бессмыслица; хаос тот же...

Она продолжила оттуда, где осекся он:

— Мне они все — не нужны. Тварям живым, что я создала, не нужны еще больше: они счастливы, потому что нет у них души, из которой вырастает сознание. Где сознание, там горе, страх, страдания... Как боги, демоны, духи, все мои окаменевшие уродцы могли бы быть необходимы сознательным тварям...

— Да, конечно! — оживился тут Лаптев. — Сознание и придумывает разные сверхъестественные существа, чтобы... Ну, они этим всем... заведовали, что ли? — тут он смутился.

— Да вот только эти, иные, сущности, они ведь должны быть — смертными. Сам сказал, что для бессмертных «сверхъестественные» существа не нужны. Только для смертных может быть смысл в их существовании. Если бы могли быть такие... которые смертны и... чтобы у них — душа.

— Так вот же!.. — вскинулся Лаптев.

Но остановила она его порыв резким жестом:

— Не знаю, что в Пророчестве, по которому: здесь жизнь. В том Пророчестве, которое — я, сказано навсегда: есть бессмертные, наделенные душой, и есть смертные, у которых нет души. И не может быть третьего! И нет у меня выхода... Потому я решилась!

...Она рассказывала, а Лаптев наяву видит: вот берет она бога Техути за руку и спешит обратно, в место сокровенное, тайное; не поспевает за ней Техути, волочитися волоком, хрипит. Садится она на песок берега холодной воды в месте том, где встала, как стена, замерзшая вода: одну ногу в колене согнула, другую вытянула по песку, чуть наискось, пристально смотрит в замерзшую воду, как в зеркало, долго.

Техути долго рядом на песке валялся, отдышался когда, сел — смотрит молча.

Она, не оборачиваясь, ему:

— Записывай, — он записывает на песке за ней. — Возможно, не станет меня и не буду я больше. Будут, как прежде, тьма и пустота во тьме. Но пусть останется эта запись решения моей воли по желанию души моей. Нужны мне здесь смертные твари, и их сотворю я сейчас из песка берега замерзшей воды. Не из фантазии моей сотворю я смертную тварь, сотворю я ее для себя по образу и подобию моему, чтобы стала душа в ней, как живет душа и во мне...

И смертные, у которых — душа, они по нужде горя своего, и боли своей, и страдания своего придумают для себя бессмертных, что станут богами, и демонами, и духами для них. Каждому по силе его определяют смертные бессмертным дело его. Станут боги, и демоны, и духи, чтоб обмануть: как устроена жизнь и как жить. Получат ответы от них на свои «почему?». И так будет, пока есть в них нужда, вечно.

И глядя на свое отражение, творит осторожно она из песка человечка, согревает фигурку в теплых своих ладонях — ожила: верещит, смеется... Опускает она человечка осторожно на землю... рассыпался прахом.

— Не так. Не «оно» — «это». Не «но» — «и», — она засмеялась; впервые за все время. Это было так неожиданно. Лаптев уставился на нее в такой растерянности, которую можно было принять и за испуг. И мурашки по коже побежали, холодные, хотя

в жар его бросило... А она все смеялась, и если бы он мог посмотреть на нее, увидел бы, что из всех сил старается она, но не может перестать смеяться.

Задыхаясь судорожным смехом, встала она и жестом попросила у него сигарету, он протянул ей всю пачку и дал зажигалку, но сам остался. У балконной двери обернулась она к нему и сквозь смех протолкнула:

— В комнате курить нельзя.

И как будто эти слова подействовали, перестала смеяться, вышла.

Когда вернулась, сказала:

— Извини. Но ты не представляешь... Так легко на душе!

Она не вернулась к нему, за стол. Прислонилась к косяку балконной двери. Смотрела оттуда — чуть сверху — прямо в глаза Лаптеву своим адриатическим взглядом. И он понял, что теперь она позволит ему, и спросил:

— И теперь ты можешь открыть, зачем ты пришла ко мне?

— И теперь я могу рассказать: почему я искала, как нашла и что хочу от тебя.

Лаптев удерживал ее взгляд в своих глазах, не мигнул, когда сказала ему:

— Мне нужна твоя помощь. За помощью пришла к тебе я. Ты поможешь мне?

— Помогу, — твердо ответил Лаптев.

И не было в нем вопроса: что за помощь нужна ее от него? Не было мысли: может ли он помочь ей?

— Помогу, — ответил он; и теперь больше не нужно было ему удерживать ее взгляд; просто слушал...

— Снова было отчаяние, и снова не было ничего о том в Пророчестве, которое — я. Но — знала уже — если нет во мне, есть вне меня. И стала искать. И нашла — где живут существа, что невозможны для меня: смертные, наделенные душой. Я глядела, видела — пока не поняла, что ты научишь меня, как сотворить тварей таких: смертных с душой. И пришла к тебе. И не могла заставить себя поверить, что верно поступаю. Только знала, что иначе нет мне выхода; и если не будет его и у тебя, то все равно уже. Просто рассказывала тебе, как есть. Ты по-разному... это, — она сглотнула, прикусила на мгновение нижнюю губу, потом улыбнулась, — когда слушал меня. А потом задал такой глупый вопрос, что я сразу поверила, что поступаю верно; ты мне поможешь. В этом.

И Лаптев тогда улыбнулся:

— В этом... это — в чем?

— Я смотрела... тут и поняла, что для того, чтобы были вы, смертные с душой и сознанием, нужно чтобы это... ну, двое были: мужчина и женщина. А у меня нет этого, ничего в Пророчестве про одновременно одинаковых и разных: мужчину и женщину...

— Так у тебя ж там эти... твари твои. Они же — тоже!

— Они не по образу моему и подобию, как есть я, а только из фантазии моей.

«А ведь она даже не знает, что — женщина», — вдруг понял Лаптев. Но не обратил внимания на это, слушал только. И услышал наконец, что так интересовало больше всего, жгуче.

— Ты... один. А сущности две! Ты и мужчина, и женщина; и имя у тебя есть мужское и женское. И вы — ты мужчина и ты женщина — столько сущностей осуществили. И осуществил эти сущности ты один. Научи же меня — как.

И то было тоже невозможно, не могло быть, потому что просто не могло быть; Лаптев согласился. Она права: Виктор Егорович Лаптев и Снежана Ардугина — это два разных пространства, но один мир. Это только в искусственной жизни существуют законы, которые позволяют быть или не быть, случаться или не случаться. В живой жизни может быть все.

— Ты научишь меня? — спросила она со страхом в голосе и — с такой надеждой, что вновь комок подступил ему к горлу.

— Да, — просто сказал он.

Подошел к ней... обнял, притянул к себе, поцеловал. Ни с одной женщиной в прежней своей жизни он такого не испытал: словно горячая ртуть — трепет в руках обнимающих; упругая, как электричество, нежная бесконечно. Кроме — нет ничего! Только счастье, точно эхо для *потом*: «и — без меня невозможно»!

ЭПИЛОГ

...Конечно, ресепшен не проскочить незаметно: на посту — Имантас. Лаптев поздоровался бодро: в зеркале увидел с облегчением, что не покраснел. А латыш, да — заулыбался. Однако как-то по-обычному, без особого *смысла*. Лаптев все же поторопился prospeshit мимо. Но остановил его тот:

— Вам пакет.

— Мне?.. — глупо так удивился Лаптев.

Пакет совсем тонкий, плотной желтой бумаги; в точно таких, когда еще он мыльницей фотографировал и пленку в фотостудию отдавал для печати, выдавали готовые фотографии.. Точно — на конверте фирменный гриф: «FOTO — Morgana. Augsburg».

В конверте:

— неуловимо знакомая женщина на исходе беременности — большой живот, точно из завтра волшебное обещание: прекрасная;

— эта же женщина с мальчиком и с девочкой на руках, улыбаются трое, счастливые;

— нет ни женщины, ни детей ее; да и не фотография это, открытка, какие для туристов печатают: разноцветная толпа возле какого-то храма.

Владимир СПЕКТОР

И ПРАВДУ ПОБЕДОЙ ЗОВУТ...

* * *

Совсем некстати опера слышна...
Каварадосси с Тоской погибают,
И, как тогда, решает все война,
В которой музыка звучит по краю

Искусства жить, души не приоткрыв,
И слышать арию, как в небе птицу.
И сквозь войну угадывать мотив,
Что так случайно и легко струится.

* * *

Казалось, там оркестр, а это — ветер...
И каждый слышал музыку свою.
Совсем не ветер за нее в ответе —
Вся жизнь стоит у бездны на краю.

Все в свой черед — звучали и печали,
И эхом в них — родная сторона.
Орудия внезапно замолчали,
Чтоб «Ода к радости» была слышна.

* * *

Скоропортящийся товар — это все, от зимы до лета,
И гонявший телят Макар не найдет поточней ответа.
Это дымки небесный свет, что, как времени цвет, беспечен...
Это счастье, где «да» и «нет» лишь слова или части речи.

Владимир Спектор родился в Луганске. Редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант». Автор более двадцати книг стихотворений и очерковой прозы, изданных в Донецке, Луганске, Киеве, Москве. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе им. Юрия Долгорукого, им. Арсения Тарковского, им. Сергея Михалкова. В 2015 году стал лауреатом международного литературного конкурса «Открытая Евразия». В 2022 году — обладателем «Гран-при» германского международного литературного конкурса «Лучшая книга года на русском языке». Публиковался в журналах «Слово/Word», «Новый континент», «Новый берег», «Радуга», «Сетевая словесность», «Дети Ра», «Связь времен», «Зарубежные задворки», «Этажи», «Берега», «Чайка», «Золотое руно», «Камертон», «Литературная Канада», «Особняк», «Интер-Фокус», «Новый Гильгамеш», «Клаузура» и других. С 2015 года живет в Германии.

* * *

А кажется, что только позови —
И все откликнется и станет лучше.
Хотя что может лучше быть любви,
Которая всегда — счастливый случай.

А кажется... Но в жизни все не так,
Как в песнях и стихах, где даль туманна,
Где ветром предстает любой сквозняк.
А правда прорастает из обмана...

* * *

Классический сюжет, где Он, Она, Они,
И рядышком — Никто и прочие Другие...
И, как страницы книг, сигнальные огни,
Забытые слова сквозь эхо пандемии.

Как «быть или не быть», наш диалог с тобой,
Где фразы, как в бою, разорваны на части.
Узнать, понять, забыть... И что там — за строкой,
Где первая любовь зовет чужое счастье.

* * *

За мною вдоль линии страха, далеких и близких обид
С какою-то скоростью Маха ракета сомнений летит.
Сомнения душу тревожат. Узнать бы, что там, вдалеке...
Любовь не сдастся? Я тоже, у времени на сквозняке.

* * *

Закончится все — и война, и беда,
Не раньше, не позже. В свой срок.
Но тех, кто ушел в никуда навсегда,
Утешит ли этот итог?

И все же сквозь слезы родни и страны,
Сквозь памяти строгий салют
Виднеется правда осколком луны,
И правду победой зовут...

* * *

А через год все будет в прошлом.
Наступит правда новых мифов,
Таких же точно, но моложе,
Иных порывов и мотивов...

Вдоль улиц, как мороз по коже,
Улыбки те же, но другие.
А вдруг и нам с тобою тоже
Прохожие и мостовые

Подарят радость узнавания
И чувство дивное — мы дома...
А вечер, поздний или ранний,
Узнает как своих знакомых.

* * *

Каждый звучит как оркестр. Кто — струнный, а кто — духовой.
Хаос внутри и окрест. И я посреди — чуть живой.
Кто-то играет «на бис», а кто-то поет «мимо нот»...
Полуоглохшая жизнь молча сквозь слезы поет...

* * *

Плывущему облаку виден просторный пейзаж.
От лета до осени. Это без убыли света.
И наш экипаж там, на облаке, или не наш,
Какая нам разница, вовсе не главное это.

А главное что? Знать, что небо просторно для всех.
И места хватает на облаке и в поднебесье.
И в памяти тоже, где эхо — как взорванный смех,
А небо похоже на общую память в разрезе.

* * *

Увидь меня летящим, но только не в аду.
Увидь меня летящим в том городском саду,
Где нету карусели, где только тьма и свет...
Увидь меня летящим там, где полетов нет.

Юлия ДОЛГАНОВСКИХ

ТЕМНОЕ СИЯНИЕ

Я уже несколько лет слежу за творчеством Юлии Долгановских и пытаюсь сам себе ответить на вопрос: что заставляет меня перечитывать эти суховатые и мрачно-новатые строки и ждать с нетерпением новых слов, строк и строф, таких же царапающих и погружающих в печальные раздумья? Наверное, все дело в том, что это совсем особый мир — тот мир, о котором я знаю, куда боюсь заглянуть, но все равно стремлюсь туда хоть ненадолго — на минуты чтения. Это мир хрупкий и колкий, но гибкий и нежный. Мир темный, но ясно видный на просвет. Мир тихо стрекочущих ночных насекомых, тонкой душистой соломы, низко висящих над головой ласковых — но недостижимо далеких — планет. Мир пустых полустанков, ускользающих видений, мир надежды неизвестно на что, но несмотря ни на что — все равно... «пух железа тяжелее, ночь темнее, ветер злее, цинк гремит, дождем побит, светится окно во гробе, и мертвец в его утробе пуповиной обвит» — виртуозный переход от дачной крыши к грузу-200 и вечному возрождению. Меня как прозаика часто спрашивают: «У вас все такие циничные и подлые? Где ваши положительные герои?» Отвечаю: «Мои положительные герои — это вы, умные, добрые и благородные читатели, которые могут пролить слезу над моими жалкими персонажами». Могу себе представить, что о стихах Юлии Долгановских тоже спросят: «Да, но почему так мрачно, грустно, темно?» Отвечу примерно так же: «Для того, чтобы веселый многоцветный мир в вашем сердце заиграл еще ярче и радостнее».

Денис ДРАГУНСКИЙ

* * *

Хоть святых выносили, они возвращались назад,
разбредались по стенам в лучах оседающей пыли.
Из травы поднимался зеленый солдат,
вырастал, и надкрылья его говорили,
стрекотали одно об другое крыла,
чтоб любимая бросить его не могла.

По мучнистой росе проплывали войска,
увязали по самые дыхальца в пепелице,
здесь сказать бы — на волоске, но волоска
не касались их инопланетные лица,
только жвалы терзали впереди опадающих мертвецов —
и певцов, и отцов, и других храбрецов —

Юлия Долгановских родилась в 1975 году в Свердловске. Окончила Уральскую академию государственной службы и Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Автор двух книг стихотворений: «Латынь, латунь и катехизис» (2016) и «Обреченные» (2019). Стихи публиковались в журналах «Урал», «Prosodia», в Антологии современной уральской поэзии (т. 4.) и др. Живет в Екатеринбурге.

с громким хрустом. Христосуясь, ждали приплод,
яйцеклад разбивали, но, господи, было так пусто,
словно солнце навыворот, наоборот,
поднималась над кожей хитиновой пустула,
рассыхалась, как рама в положенный час,
в оголенном окне отражая не нас.

* * *

Вдоль апрелевского завода
половодьем смыло запруду,
в эту бывшую, мутную воду
рыба, штопанная кетгуттом,

входит грузно, корябая боком
эти прежде звучащие стены,
рыбе хочется о глубоком,
стоя в музыке по колено.

Чешуя ее из грампластинок,
не ресницы — смычковый волос,
проплывай, сестра, под сурдинку,
видишь, память моя раскололась

по диаметру — вогнуто-гнуто —
и иголка царапает кожу.
Тридцать три оборота в минуту,
сорок пять оборотов в минуту —
и запеть бы. Хрипит, не может.

* * *

Ты никогда не вернешься, говорит Мандельштам.
Щурится, прикрывает от солнца глаза Георгий Иванов —
мы увидимся, Осип, скоро, когда-нибудь, где-нибудь, там —
и табак сухим ручейком течет из его карманов.

Этот странный и страшный цветок табака,
этот дым прогорающей, хрусткой газеты
за вчерашнюю жизнь, а пока, а пока,
обжигая гортань, рассыпается лето —

на цветы, на траву, на кусочки земли,
перетянутой стриями, как после родов.
И тяжелой поступью корабли,
заливая глазницы, уходят под воду.

* * *

какая, боже, ночь — снимаешь крест,
а ничего вообще не происходит,
как ночь назад, и латеральный срез
мироточит последней каплей крови,

а в медиально рваную дыру
вплывает пухлый облак стекловаты —
и вот она, платформа Варраватынь —
ссади меня, я все равно умру.

смотри, раскинув руки и плащмя,
лечу, конечно, вниз, куда же больше,
но крест, легко покинувший меня —
ладонь, ступня, ладонь, еще ступня, —
ложится под и отпускать не хочет.

* * *

как будто рождественский ужин,
рот в яблоках крепко зашит,
и ангел, внушающий ужас,
никак его не внушит

в себя завернется, как в шарик
стекла золоченого — в нем
по кругу летит, завершая
полет благодатным огнем

шар, лопнувший надвое, брызнет
изнанкой простого стекла —
прозрачной, как крылышко, жизни,
тарелкой по краю стола

* * *

...пол-луковицы с черным хлебом
жизнь хороша
сказал больной медбрата глебу
и не дыша
пошел над грядками сквозь масло
знойного дня

в палате лампочка погасла
через меня
перешагнул забрал посуду
припал к воде
глеб остающийся повсюду
нигде

* * *

мертвый зверь клубком на голове
был убит и куплен в порто-франко,
раздувает шерсть, и на просвет
на мездre подрагивает ранка

сукровица тянется лица
причаститься, и неповоротлив
мир как недобитая овца
скручивается в тугой апокриф

* * *

— Где твой дар, Бальтазар?
— Я иду по звезде, он везде.

— Каспар, уже не звезда, пожар.
— Мы идем по звезде, он везде,
все проклятый ветер.

— Мельхиор, красный колпак заслонил обзор,
ты сбился с пути.
— Я продолжу идти, —
горя, Мельхиор ответил, —

эта звезда видна раз в семьсот девяносто четыре года.
Я дойду, если мы доживем
и если не подведет погода.

* * *

Когда язык не помещается во рту,
заставленном короткими словами,
я окна затемненные протру
скрещенными наотмашь рукавами,

но станет лишь большее и тесней,
осколки прошлогодние на вате
вскрывают слух, и он лежит на ней,
как в госпитальной умирающий кровати,

и путается в мягких постромках,
и прутья в отъезжающем изножье
толкает, и молчизну на руках
моих уснувшую узнать уже не может.

* * *

домов шпалерная развеска
рифленный мозаичный наст
и с неба на прозрачной леске
свисает ласковая марс

о страх о ужас фобос деймос
две дочери планеты марс
на материнский гнев надеясь
опутывают спящих нас

ударным кратером краснея
качается перед окном
ни эллина ни иудея
не обещающий геном

вползают в уши в сердце в пятки
под кожу впрыскивают яд
и отслоение сетчатки
сужает помутневший взгляд

и вспышка видится разрывом
звезды далекой — дребезжит
вода в стакане
знать бы — живы
и есть ли жи

* * *

Мужчина пилит доски наверху,
а женщина внизу готовит ужин —
замоченную в пиве требуху
кладет на противень и думает — не хуже,
чем из отборной вырезки рагу.

Мужчина пилит доски, как врагу
пилил бы шею — кожа, мышцы, кости.
Чердачный холод, будто на погосте,
бодрит, но примиряет. И лузгу
от мертвого безъяблочного древа
метет мужчина за спину, чуть влево.

От монотонного движения руки
видения как будто далеки,
но странно четки, будто ядра четок —
одно, другое, третье — перед ним
он сам отчасти как гетероним,
как отражение в поплывшей амальгаме,
за зеркалом — средневековый Гамельн,
и он, его уставший эпоним.

Не драма — шапито и балаган.
Поддав ногой невыпитый стакан,
мужчина шьет обструганные доски
и в ящик пусть не женщину — набросок
ее — кладет и пилит пополам
по линии пупочного узла.
Прости, любимая, я вовсе не со зла —
во исправление твоей дурной природы.

И лимфатические гамельнские воды
по желобам, разделочным столам,
по лестнице чердачной споро, вниз
текут на мраморные плитки белой кухни.
Ладони женщины, распарены, распухли,
в стальную раковину опускают нож.
Смотреть бы под ноги, чтоб знать, куда идешь,
да больше нечем. Отклонение реприз
не больше сколотого края у ступени —

и вот их трое на ночной арене.
Из рук жены муж принимает блюдо
с ее покрытой шалью головой.
Сухой, горячий шорох огневой
щекочет пятки, и горит запруда,
и лопаются шов береговой.

* * *

я в загробный мир не верю
и в загробную войну
что за той невзрачной дверью
что за той прозрачной дверью
не тождественной окну

под торжественные речи
что читаю по губам
поплыву я в недра печи
даже знака не подам

но под шепот безымянный
не сгорает посмотри
этот ящик деревянный
с колокольчиком внутри

* * *

Хрусти сухим, срезая звук-бутон,
подхватывая канон закрытым ртом —
живое жалит, мертвое тревожит
тем тяжелее, чем быстрее до дна,
да велика ли улья глубина,
прочна ли бесхитиновая кожа?

Падение смягчит густой ковер —
несобранный целительный подмор,
еще до окончания сезона
нападает порядком хрупких тел
поверх меня, и кто не улетел,
но выжил, не коснутся аллохтона

из суеверия. Варись в одном котле —
что пользы в твоём сухоньком крыле,
что яда в пальцах острых, узловатых —
течет медовый дух, кипит отвар —
и смерть, простой языческий товар,
провизору приносит гонорар,
а может, смятый счет за неуплату

аккордного налога. Хочешь — пой,
и медоносная поляна за тобой
раскроет докрасна больные горла,
а и молчи, катая языком
прополиса прогорклый, клейкий ком,
внутри чужого заколоченного города —

едино все. Подмор, отвар — и ничего
иного или просто своего
в гетероморфном улье не сыграет.
Засахаренный, зачерствевший год,
и капля острием наоборот
над ним встает — живая, кровяная.

* * *

это рай это птица райская
опротивела рифма на -ца
проводница собравшая наскоро
уезжающего лица

пассажиры и по радищеву
и которые наоборот
молчаливому вечному нищему
опускают монеты в рот

и когда он сияньем наполнится
и как выкатится на восток
как прольется на подоконники
хрипловатый его голосок

так поймут все что выше и некуда
так проглотят надсадный глас
и помчит их над холодными реками —
рыбами и человеками —
оцинкованный тарантас

* * *

бредешь в ночи под нос бормочешь
и ни на что надеясь очень
космат разорван полосат
но вдруг навстречу самокат
сбивает с ног всполошным светом
какому не бывать на этом
не рад бы ты свернуть назад

да я бы рад да я б свободе
от налетевшая любви
был бы настолько благороден
что как меня ни раздави
я стал бы цел и снова влюбчив
но исключительно затем
чтоб этот самокатный лучик
меня проехал насовсем

* * *

любимый мой, конечно, нет любви,
и не ее ночами мы качали
как новорожденную в спутанной печали
с неясным цветом глаз, и не в ее крови
лишь просыпался неокрепший гемостаз
и поднимал над нами невесомых нас,
закупорив пробоины былые,
и ставил на весло, и мы — о чудо — плыли,
не разбирая маяков и лунных фаз.

любимый мой, любви, конечно, нет,
есть клетки-жертвы, есть иммунитет,
стекает с ложа ногтевая лунка.
и я не я, а крик с картины Мунка,
и ты его протяжный белый свет.

* * *

Текст начинается с конца,	чтоб мелкосетчатый садок,
но не кончается с начала,	водой наполовину полон,
чтоб форму ржавого кольца	убил все то, что выше строк,
любая форма принимала,	и спас, что тяжелей глагола,

и, распластавшись на песке,
лишенный всякого улова,
ловил плывущий вдалеке,
в зеркально чистом озерке,
пузырь непойманного слова.

* * *

Мы играли, ах, как мы играли	саксофоны, флейты и кларнеты
в ящик — на тромбоне и валторне —	догрызали деревянный остов,
и игрой, как будто из Грааля	улаждая слух пусть не скелета,
кровью, упивались. Как повторно	но почти. И как легко и просто
флюгельгорны, баритоны, тубы	всклянь сошлись тарелки и литавры,
выводили нашу кровь из горла	растеклись с дрожаньем на глазете —
широкомензурного, и губы	сколько музыки прекрасной, о, кадавры,
утирали галстуком. Как гордо	вы услышите еще на этом свете!

А когда вытряхивали ящик —
пыль, труха, лохмотья, туфли, зубы —
говорят, что видели парящие,
вверх смотрящие раструбы.

* * *

как паук на паутине	уплывает быстро-быстро
человек на крестовине	огибая альпиниста
отлетевшего окна	по стеклу как по скале
проплывает чуть заметен	пальцы вакуум-присоски
справа дети слева дети	и сурово по-отцовски
сзади бывшая жена	пяткой трет воздушный след

пух железа тяжелее
ночь темнее ветер злее
цинк гремит дождем побит
светится окно во гробе
и мертвец в его утробе
пуповиною обвит

* * *

Как много смерти, да и мы не живы
один другому. В странных деревнях
на место похороненных сажали
тряпичных кукол с нарисованным лицом,
как можно ближе сходных с человеком.

Их одевали в вещи мертвых, набивали
вещами мертвых, выставляли у окна
с утра, а к вечеру в кровати укрывали
одним с собой прозрачным одеялом,
чтоб звездный свет, сочащийся в окно,
касался куклы так же, как не куклы.

Не куклы уходили. Куклы, куклы
друг друга шили рваным грубым швом
и набивали, зренья не имея,
всем, что под ватные ладони попадалось.
Смешение тряпья в телах тряпичных
породу уравнило, и с тех пор
в деревне — ни убавить, ни прибавить —
все жили счастливо — читай, спокойно.

Но знаешь, иногда в ночи беззвездной
забытые до времени булавки
во мне вращаются, и капли красной краски
текут по снежно-белому белью.

И рифма вспоминается «люблю».
И я ее зашитым ртом пою.

Дмитрий ЛАНКО

АГРАРНЫЙ ВОПРОС И ФИНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО

С самого дна, от самых основ

Намедни исполнилось тридцать пять лет с тех пор, как, пожалуй, величайший финский режиссер всех времен Аки Кауризмьяки снял фильм «Ленинградские ковбои едут в Америку». Кто не смотрел — это комедия о путешествии деревенской панк-кантри-рок-группы через всю Америку по воспетому «Дип Перпл» шоссе 66 к своему успеху, весьма, впрочем, относительно. Интересны, однако, первые семь минут фильма, где рассказывается, откуда эта группа вышла. Режиссер обозначил это место как «где-то в тундре, в безлюдном месте». Фанаты фильма до сих пор спорят, предназначено ли это уточнение «в безлюдном месте» для тех зрителей, кто не знает, что такое тундра, или же Кауризмьяки имеет в виду, что в тундре бывают и людные места.

Также фанаты спорят, в какой стране это происходит. Одни говорят, что это — Россия; вернее, тогда еще Советский Союз. В самом деле, менеджера группы зовут Владимир, ее местного поклонника, увязывающегося в путешествие вместе с группой против их воли, — Игорь, а в первой же сцене фильма музыканты вдохновенно исполняют «Полюшко-поле». К тому же не надо забывать, что фильм снят в разгар перестройки, когда уже не только советские граждане любыми средствами стремились достать пластинки и кассеты с музыкой западных исполнителей, но и на Запад потихоньку начали проникать записи новых советских музыкантов, например, тех, кто входил в Ленинградский рок-клуб. Может, именно поэтому ковбои — ленинградские?

Другие, однако, говорят, что действие в начале фильма происходит в Финляндии. Во всяком случае, снято это было в финской деревне. Просто Кауризмьяки изначально предполагал, что его фильм будет более популярен за границей, чем в самой Финляндии — так оно и на самом деле случилось, — и стремился защитить репутацию родной страны за рубежом. Для большинства финнов репутация родной страны — важная ценность. В Советском Союзе был анекдот про то, как ученые из разных стран пишут книги о слонах. Британские ученые в том анекдоте пишут книгу о слонах и империи, французские — о любви у слонов, американские — о том, как продать двух слонов по цене трех, немецкие — двенадцатитомное «Краткое введение в слоноведение».

Дмитрий Александрович Ланко — кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, автор книги «Процессы глобализации, регионализации и локализации вокруг Балтийского моря». Живет в Санкт-Петербурге.

Советские ученые в том анекдоте в итоге написали книгу «Россия — родина слонов». У финнов тоже есть похожий анекдот, только заканчивается он тем, как финские ученые пишут книгу «Что слоны думают о Финляндии?». Вот и Каурисмяки, то ли посмеиваясь над традиционным стремлением финнов скрывать от иностранцев непрезентабельные стороны жизни в своей стране, то ли не желая, чтобы соотечественники обиделись на него за то, что он показал всему миру финскую деревенскую глубинку без прикрас, снабдил фильм намеками, позволяющими финскому зрителю поместить действие в Россию и успокоиться. Справедливо полагая, что русские зрители, обожающие вздыхать о трудностях своей жизни, и так не обидятся.

А возможно, Каурисмяки в этом месте посмеивался над бытовавшим в те годы на Западе стереотипом, что Финляндия, мол, расположенная на границе с Россией, очень на нее похожа. Примерно в это же время — в 1990 году — финский писатель Арто Паасилинна опубликовал сатирическую повесть «Очаровательное массовое самоубийство», главные герои которой хотят, но не решаются свести счеты с жизнью, а потому ищут помощи от других таких же, как они, находя в итоге поддержку, чтобы жить дальше. Один из ее героев скрывается от закона, поскольку украл деньги у американской киностудии, приехавшей снимать фильм о сталинских лагерях в Финляндию, очень похожую, по мнению продюсеров студии, на Россию. Над этим смеется Паасилинна, и наверняка посмеялся Каурисмяки, когда читал его книгу.

Финляндия и вправду похожа на Россию. В Финляндии тоже холодно, поэтому кукуруза там растет плохо, а большие счета за отопление снижают прибыльность любой экономической деятельности по сравнению с более теплыми странами. Финляндия — огромная страна, по размеру лишь ненамного уступающая Германии, однако в Германии живет в семнадцать раз больше людей. Поэтому в Германии можно построить пятидесятикилометровую дорогу на налоги, собираемые с двухсот тысяч человек, в то время как в Финляндии приходится строить двухсоткилометровую дорогу на налоги, собираемые с пятидесяти тысяч человек. Многим вообще непонятно, как финны умудряются асфальтировать дороги в безлюдной глуши, в то время как в Канаде, например, в таких случаях обходятся грунтовыми.

Наконец, в Финляндии очень уязвимая окружающая среда. В более теплых странах, где когда-то применялось химическое оружие, чтобы извести джунгли и выгнать изпод их сени партизан, пятьдесят лет спустя джунгли выросли заново. В тундре же, если проехать по ней на гусеничном тракторе, а через десять лет вернуться на то же место, мох по-прежнему не будет расти на следах от траков. Поэтому охрана окружающей среды для финнов — не пустой звук. Всю первую половину XIX века, например, там было запрещено строить паровые лесопилки, поскольку финляндский Сенат опасался, что если их разрешить, то в стране вырубят все леса. Кое-кто мог бы сказать, что финны принесли экономическую выгоду в жертву любви к родным березам. Березы, кстати, в Финляндии тоже отлично растут.

Похожесть Финляндии на Россию объясняет и интерес к ней жителей нашей страны, я бы сказал, непропорционально большой с учетом численности ее населения. Возможно, дело в том, что мы — соседи. Во всяком случае, когда я жил в Америке, никто ни разу не спросил меня, как так получилось, что Финляндия — беднейшая провинция Российской империи в начале XIX века — вдруг стала богатейшей страной не только мира, но и Европы к концу XX века. В России же мне задавали такой вопрос не один раз, причем не только жители Санкт-Петербурга, от которого до финской границы можно доехать на машине всего за два часа. Поэтому я и решил написать это эссе.

Каурисмяки снял первые сцены фильма «Ленинградское ковбой едут в Америку» даже не в городских трущобах, которые так ярко показываются в других его фильмах,

но в деревне. Критики Каурисмяки часто говорят, что он, мол, любит снимать самое дно. Но дно — неправильное слово, во всяком случае, в русском языке, где оно ярко эмоционально окрашено, спасибо Горькому. Правильное слово — основа — то, на чем все держится. Например, в Финляндии днем можно повсеместно увидеть чистые и опрятные улицы. Это не означает, однако, что по вечерам, когда тысячи финнов выходят из своих домов, чтобы купить и тут же выпить банку пива, никто из них под покровом ночи не бросает банку на землю в том же месте, где она была выпита.

Это означает, что ближе к утру, когда улицы еще укрыты предрассветными сумерками, на них выходят люди, из которых часть искренне любит эту работу, а часть — просто не может найти другую, и убирают весь мусор, накопившийся за прошедшие сутки. Этих людей часто ненавидят, потому что их машины, двигаясь задним ходом, противно предупредительно пищат, мешая сну тех, кто может себе позволить поспать подольше. Работа этих людей не слишком хорошо оплачивается. И она не слишком престижна, хотя городские менеджеры и пытаются повысить престиж такой работы, называя уборщиков «экологами». Однако благодаря этой работе улицы финских городов выглядят чистыми и опрятными. Люди, которые делают эту работу, находятся в самом основании финского общества. Хотя кое-кто мог бы сказать — на дне.

Кстати, мы неправильно переводим название праворадикальной финской политической партии, которую в России часто называют «Истинные финны». Хотя какая же она радикальная, если ее лидер Рийкка Пурра сегодня занимает пост министра финансов, прежний лидер Юсси Халла-ахо председательствует в парламенте, а Тимо Сойни, который создал эту партию, раньше был министром иностранных дел? Когда эта партия только появилась, американские журналисты перевели ее название как «True Finns», а русские последовали за американцами. Однако по-фински эта партия называется «perussuomalaiset», от слова «perus», что значит «основа». И голосуют за эту партию вовсе не те финны, которые считают себя «истинными», противопоставляя себя «ложным» финнам, переселившимся туда, например, из Афганистана.

Голосуют за эту партию те финны, кто считает себя основой финского общества, включая многих из тех, о ком Каурисмяки снимает свои фильмы и про которых можно сказать, что они находятся «на дне». Правда, сам Каурисмяки эту партию не поддерживает, наоборот, в недавнем интервью он назвал нынешнее правительство, с лидером этой партии в роли министра финансов, «худшим за всю историю Финляндии, начиная с провозглашения независимости в 1917 году». Впрочем, творец и не обязан придерживаться тех же политических взглядов, что и герои его творений, даже если они — реальные люди. В конце концов, Пушкин едва ли симпатизировал пугачевскому бунту.

«Ленинградские ковбои» из фильма Каурисмяки — родом из деревни. Воронежский бард Юрий Клинских, более известный как Юра Хой, дал таким людям путевку в вечность, назвав их «колхозными панками». Их лакированные штиблеты, какие они видели у музыкантов из консерватории, когда выезжали в большой город, но только с гротескно длинными носами, утопают в грязи свежеспаханных полей. Однако именно земля, порождающая эту грязь, дает им вдохновение, чтобы звучать самобытно даже тогда, когда они подражают английским и американским коллективам. Земля дает им силы продолжать, когда все вокруг, кроме Игоря, говорят, что их музыка нехороша. И земля дала Владимиру достаточно денег, чтобы все они смогли купить билеты до Нью-Йорка — города, с которого начинается их путешествие к успеху.

Многие люди путают модернизацию — процесс превращения бедных народов прошлого в процветающие современные нации — и индустриализацию. Мол, люди века-

ми копались в земле и стригли овец, оставаясь бедными и несовременными. Но когда они придумали соединить паровую машину и ткацкий станок — тут-то к ним и пришли богатство и современность. Это правда. Однако из этого не следует, что если все люди, кто сейчас работает в деревне, переедут в город и пойдут работать на завод, все они тут же разбогатеют. Скорее, им всем нечего будет есть, поскольку в деревне не останется никого, кто мог бы выращивать хлеб. Потому что сельское хозяйство — это основа, на которую опираются и промышленность, и сектор услуг, и информационное общество, и что там еще люди придумают за XXI век, если модернизация, как хочется верить, продолжится.

О Баррингтоне Муре и Теодоре Шанине. И немного о Михаиле Шолохове

Большинство книг о модернизации сосредоточиваются на жизни в городе. Мол, модернизация происходила именно в городах, а деревня всегда была отсталой, и те деревенские жители, кто не хотел более прозябать в этой отсталости, перебирались в города, что и доказывает изначальный тезис о том, что модернизация происходила именно в городах. Нельзя все же не обратить внимание на две книги, в которых говорится о модернизации, но основное внимание авторов уделено деревне. В этих книгах мало говорится о Финляндии, однако обе они сослужили мне неоценимую службу, когда я решился обобщить свои знания о пути, который пришлось пройти Финляндии, прежде чем стать процветающей и современной.

Первую из этих книг, вышедшую еще в 1960-х годах, ее автор Баррингтон Мур озаглавил «Социальные истоки диктатуры и демократии». Он обратил внимание на то, что все «великие» революции как на западе — в Англии, Франции и США, — так и на востоке — в Японии, Китае и Индии — победили еще тогда, когда подавляющее большинство населения этих стран проживало в деревне и занималось сельским хозяйством. Но по мере того как очевидцы этих событий уходили в мир иной и жители этих стран, наслаждаясь выгодами модернизации, ставшей возможной благодаря «великим» революциям, в своих знаниях о них начинали все более полагаться на книги, стало казаться, что они совершались, главным образом, в столицах и в других больших городах, где проживали самые прогрессивные люди того времени.

Создалось впечатление, что горожане, составляя меньшинство населения своих стран, смогли поспособствовать тем революционным преобразованиям, которые и заложили основу для будущей модернизации. Что же касается большинства, проживавшего в деревне, то об их отношении к революционным событиям книги давали лишь самые общие сведения. Одни книги, преимущественно марксистской ориентации, опирались на классовый подход; из них выходило, что подавляющее большинство крестьян, мол, приветствовало революцию, а подавляющее большинство землевладельцев ей противилось. Другие утверждали, что большинство сельских жителей, как крестьян, так и землевладельцев, придерживалось консервативных взглядов, а потому не участвовало активно в революционных событиях.

Мур же сумел ярко показать ту роль, которую сыграли в ходе «великих» революций жители деревни, включая и землевладельцев, и крестьян. Выяснилось, что у сельских жителей независимо от классовой принадлежности были очень разные политические взгляды, от которых зависело, какие роли они примеряли на себя в разгар революционных событий. Впрочем, о том, что часть аристократов сочувствовала революции, мы знали и ранее. Английская революция не смогла бы победить, если бы на ее

стороне не выступили вместе с городской буржуазией также и представители нового сельского дворянства — джентри. Список французских аристократов, активно способствовавших революции в своей стране, не исчерпывается Кондорсе и Монтескье. Крупными землевладельцами были и отцы-основатели США.

Однако собственные политические взгляды, как показал Мур, были и у крестьян. Это и неудивительно. Ведь «великие» революции потому и были так названы потомками, что они не просто вели к смене одних политиков на других, но в их горниле выковывалась новая система общественных отношений. А в обществе, где большинство населения были либо землевладельцами, либо крестьянами, это означало в первую очередь появление новой системы отношений между ними. Часть крестьян эти новые отношения приветствовала и содействовала революции в меру своих сил, в то время как другая часть отвергала перемены. Благодаря усилиям первых и вопреки сопротивлению вторых революции свершились, возникли новые системы отношений между землевладельцами и крестьянами, и со временем выяснилось, что они способствуют модернизации, причем как в деревне, так и в городе.

Но в разных странах роли, которые сыграли в революционных событиях землевладельцы и крестьяне, различались. В «великих» революциях в странах Запада — Англии, Франции и США — землевладельцы и крестьяне участвовали на равных. Поэтому революции там привели не только к появлению новых систем отношений между ними, поспособствовавших в дальнейшем модернизации, но и научили их прислушиваться друг к другу. Благодаря этому были заложены основы для формирования в этих странах либеральных демократий. В Индии, где землевладельцы и крестьяне добились провозглашения независимости совместными усилиями, они тем самым создали предпосылки не только для модернизации, но и для либеральной демократии.

В Японии, по мнению Мура, решающую роль в революции Мэйдзи сыграла определенная часть землевладельцев, в то время как крестьяне, в большинстве своем не имевшие собственных политических взглядов, участвовали в противостоянии на той стороне, на которой они оказались в силу обстоятельств. Такая «революция сверху» тоже смогла поспособствовать и созданию новой системы отношений между землевладельцами и крестьянами, и модернизации. Однако она привела к появлению не либеральной демократии, но японского фашизма. Случай Германии, где революция привела к объединению страны, возникновению новой системы отношений между землевладельцами и крестьянами и модернизации, но также и к возникновению нацизма, Мур детально не рассматривает, но представляет схожим с японским.

В Китае же, напротив, землевладельцы в разгар революционных событий сыграли пассивную роль. И крестьянская революция смела их как класс, наделив функцией единственного землевладельца государство, поставив страну таким образом на путь коммунистической модернизации. Случай России Мур также детально не рассматривает, но представляет его схожим с китайским. Причем и Мур, и другие американские ученые 1960-х годов, например, Самюэль Хантингтон, в те же годы опубликовавший свою книгу «Политический порядок в меняющихся обществах», симпатизируя западной модели, предполагающей одновременное возникновение предпосылок и для модернизации, и для появления либеральной демократии, признавали, что коммунистическая модель также способствует модернизации.

Вторая книга, которую я не могу здесь не упомянуть, вышла в Англии через двадцать лет после книги Мура. Ее автор Теодор Шанин родился в Вильнюсе перед Второй мировой войной, когда он был еще польским, в годы Великой Отечественной войны находился в ссылке на Алтае, избежав судьбы тех евреев, кто был убит в Литве,

когда туда вошли немецкие войска. Он успел пожить в советских Узбекистане и Литве, в социалистической Польше, а затем — в только что провозгласившем независимость Израиле. Однако когда он начал писать диссертацию в Англии, темой своего исследования он выбрал русское крестьянство. В 1980-х годах он опубликовал книгу «Революция как момент истины», в которой ярко показал роль крестьянства в русских революциях начала XX века.

После распада СССР Шанин переехал в Москву, где основал Московскую высшую школу социальных и экономических наук, сегодня неформально носящую его имя. Живя в России, он продолжил исследования крестьянского вопроса, в том числе опубликовав несколько работ в соавторстве с белорусским грекокатолическим священником Виктором Даниловым. Его главная книга о крестьянах и революции, переведенная в 1990-е годы на русский язык, прекрасно дополняет книгу Мура, который, признавая ведущую роль крестьян в русской революции, очерчивает ее лишь схематически. Перекликаясь с Муром, который охарактеризовал японскую революцию как «революцию сверху», Шанин назвал одну из глав своей книги «революция снизу», стремясь подчеркнуть революционную роль русского крестьянства.

Книга Шанина адресована тем, кто пребывает во власти заблуждения, что до революции крестьяне в России, мол, не имели собственных политических взглядов. А в революционное движение их, мол, втянула сельская интеллигенция, среди которой было множество социал-демократов. Шанин, напротив, обнаруживает среди русских крестьян не только многочисленные социальные группы, число которых существенно возрастает при движении из Центральной России к национальным окраинам, но и политические взгляды. По его мнению, именно собственные, а не навязанные сельской интеллигенцией взгляды заставили крестьян осознанно встать на ту или иную сторону во время революций. Впрочем, то, что у каждого крестьянина накануне русской революции была своя правда, задолго до Шанина было ярко показано Шолоховым, пусть и не в научной, а в художественной форме.

Книгу Шанина следовало бы прочитать и тем, кто полагает основным препятствием модернизации в дореволюционной России крестьянскую общину, которая, мол, мешала внедрению каких-либо инноваций в сельском хозяйстве. Шанин пишет, что община играла и положительную роль, служа моральным ограничителем для тех своих членов, у кого отсутствовал внутренний нравственный стержень. Переехав в город на заработки и избавившись от контроля со стороны общины, эти вчерашние крестьяне реализовали не свои лучшие способности, но свои худшие устремления. В результате история русских революций и Гражданской войны пестрит рассказами о событиях, подобных расправе Подтелкова над пленным Чернецовым, которая так удручила шолоховского Григория Мелехова.

Финляндия до провозглашения независимости была частью Российской империи, и революция с гражданской войной в этой стране случилась в то же время, что и в России. В результате этой революции сформировалась новая система взаимоотношений между землевладельцами и крестьянами, приведшая в итоге к модернизации. Скромные финны не называют свою революцию «великой». Если почитать финский учебник по истории, то складывается впечатление, что «великими» в Финляндии были лишь трудности, выпадавшие на долю финского народа и, как правило, приходившие извне. Например, огораживания, подобные тем, которые проводились в Англии начиная с XV века и которые в Финляндии начались в XVIII веке, называются здесь «великим переделом».

Кто был раньше — крестьяне или землевладельцы?

Революция меняет систему отношений между землевладельцами и крестьянами, создавая, если повезет, условия для модернизации. И чтобы понять революцию, нужно сначала разобраться с тем, кто до революции считался крестьянином, кто — землевладельцем и какими были отношения между ними. А то многие современные горожане представляют себе средневековое государство похожим на дачный кооператив, где вся земля поделена на примерно одинаковые участки, каждый из которых записан за конкретным человеком, который и является землевладельцем. При этом сам землевладелец на участке не работает, потому что участков меньше, чем желающих их иметь, и те, кому не досталось участка, вынуждены работать на чужих участках, отдавая землевладельцу часть урожая.

Это не так. Хотя бы потому, что участки — неодинаковые. Причем не только по размеру, но и по статусу. Хотя некоторые участки действительно закреплены за конкретными семьями аристократов. При этом сами аристократы не занимаются сельскохозяйственным трудом — это делают за них крестьяне, живущие на этой же земле. Такие крестьяне в Швеции, а вслед за ней — и в Финляндии, которая до наполеоновских войн находилась под властью Швеции, назывались фрельсовыми. Название это происходит от шведского слова «Frälse», которое означает «спасение». Аристократы спасали фрельсовых крестьян от голода, выделяя им участки земли, с которых те могли собирать урожай. Взамен крестьяне отдавали аристократам часть урожая в качестве оброка, а также исполняли барщину, работая в усадьбе.

Аристократы, однако, не были землевладельцами. Единственным землевладельцем в стране был король, который наделял землями аристократические семьи при условии выполнения ими трех условий. Во-первых, аристократ должен был происходить из знатного рода. В Финляндии аристократы были исключительно шведского происхождения, то есть финн не мог стать аристократом. Во-вторых, аристократ должен был присягнуть на верность своему королю. У бунтовщиков, нарушивших присягу, земля отнималась. В-третьих, аристократ должен был служить своему королю, либо на войне, либо при дворе, либо на государственной службе, а чаще — во всех этих местах попеременно. За службу, помимо права на землю, полагалось жалованье, а отказавшийся служить приравнивался к бунтовщикам.

Помимо земель, права на которые король раздавал аристократам, были и собственно королевские земли. Крестьяне, работавшие на землях короля, назывались, соответственно, коронными. За право работать на королевских землях коронные крестьяне должны были часть урожая отдавать королю. Однако король не мог сам ежегодно объезжать все свои земли, лично собирая оброк с коронных крестьян, поэтому свои земли он отдавал в управление тем же аристократам, которые и собирали оброк в пользу короля, к тому же это засчитывалось им за службу. Коронные крестьяне должны были также исполнять барщину. Теоретически она заключалась в общественных работах, вроде постройки дорог, однако на практике они выполняли те работы, которых от них требовали все те же помещики-управляющие.

Пока Швеция была католической, часть земель принадлежала церкви, когда же страна перешла в лютеранство, церковные земли также перешли в собственность короля. Однако священники не остались голодными: им были выделены участки, называемые бостелями. Естественно, сами священники на них не работали, а работали крестьяне, отдававшие за это священникам часть урожая и исполнявшие различные рабо-

ты в приходе. Если священник переводился на новую должность, ему выделялся новый бостель, соответствующий этой должности, а старый бостель передавался новому священнику вместе с крестьянами. Бостели выдавались не только священникам, но и другим служащим короля: капелланам, военным офицерам из незнатных семей, университетским профессорами, чиновникам.

Наконец, часть земли была закреплена за податными крестьянами. За это они должны были платить королю налоги и исполнять общественные работы. Однако размер этих налогов, а также сколько и каких работ они должны были исполнять, определялось теми же аристократами, которых король ставил управлять своими землями. И случалось, что королевские управляющие намеренно завышали размер подлежащих уплате налогов, чтобы крестьянин не смог заплатить; тогда его землю можно было присоединить к своему поместью, а его самого превратить во фрельсового крестьянина. Впрочем, королевские управляющие периодически обманывали не только податных крестьян, но и самого короля, отрезая часть королевских земель в пользу своих поместий и превращая коронных крестьян, живших на них, во фрельсовых.

В 1523 году Густав Ваза провозгласил независимость Швеции от Дании, а себя — королем Швеции. Чтобы не зависеть от прихоти аристократов, которые сегодня могли признать его королем и поддержать независимость, а завтра — вновь захотеть блистать при копенгагенском дворе и сместить его, Густав решил заручиться поддержкой и других сословий. Он решил созвать Риксдаг — еще не парламент (хотя современный шведский парламент также называется Риксдаг), но собрание по примеру древних тингов викингов, на котором представители всех сословий могли бы присягать на верность королю и где обсуждались и объявлялись бы королевские законы. При этом на Риксдаг были призваны представители четырех сословий: не только аристократии, духовенства и горожан, но и крестьян.

Предполагалось, что в крестьянскую палату будет прислано по одному представителю от каждого церковного прихода, которые будут избраны на приходском собрании выборщиков из их числа. Выборщики же должны были избираться на деревенских сходах, в которых участвовали главы крестьянских дворов из числа податных и коронных крестьян. Так король создал себе канал связи, благодаря которому он получал информацию, что кто-то из его управляющих пытается посягать на причитающийся ему оброк, присоединяя к своему имению часть королевских земель вместе с коронными крестьянами, или на причитающиеся ему же налоги, присоединяя к своему имению земли податных крестьян. А крестьяне получили возможность узнавать о новых налогах не от аристократов, которые могли и обмануть, а от самого короля.

Правда, появление палаты крестьян в Риксдаге не спасло Густава от крестьянских бунтов, наиболее страшный из которых в период его правления произошел в 1540-х годах. Зато когда крестьяне не бунтовали, они подчас становились ценными союзниками шведских королей в Риксдаге. Например, когда король Карл XI предложил заменить рекрутскую повинность системой индельты, которая предполагала, что два крестьянских двора будут кормить и предоставлять обмундирование одному пехотинцу, он сначала спросил мнение об этой реформе именно у крестьянской палаты Риксдага, и когда крестьяне поддержали реформу, остальные палаты уже не решились выступить против. Впрочем, военная реформа Карла XI не спасла его сына Карла XII от поражения в Северной войне с Россией Петра I.

Существование в Риксдаге крестьянской палаты прекрасно уживалось с тем фактом, что в некоторых частях Шведского королевства существовало крепостное право. Как не гарантировало оно и того, что крепостное право никогда не будет введено

в Швеции и даже в Финляндии. Впервые о крепостном праве в Швеции заговорили в годы Кальмарской унии, когда страна находилась под властью Дании. Блиставшим при копенгагенском дворе датским и шведским аристократам требовалось все больше денег, которые можно было раздобыть, усиливая поборы с крестьян. Крестьяне бежали, а аристократы усиливали давление на короля, требуя что-то с этим сделать. Однако Дания собралась ввести крепостное право лишь в XVI веке, когда Швеция уже разорвала с ней унию и провозгласила независимость.

При короле Густаве II Адольфе Швеция захватила часть немецких земель и Прибалтики, а также Ингерманландию. Крепостное право там на тот момент уже было, и шведский король не спешил его отменять. Более того, в экономическом плане вновь приобретенные земли были гораздо богаче, чем многие собственно шведские земли, не говоря уже о Финляндии. Шведское дворянство заговорило о том, что крепостное право — это прогрессивно и хорошо бы его ввести и в других частях королевства. Если бы шведские дворяне XVII века знали слово «модернизация», они бы сказали, что введение крепостного права ей способствует. Финляндию спасло то, что Ингерманландия после шведского завоевания обезлюдела, и королю понадобилось переселить часть крестьян из Финляндии туда, а вовсе не закрепить их.

Нельзя сказать, однако, что отсутствие крепостного права, то есть права перехода от одного помещика к другому, делало шведских и финских крестьян свободными. Формально крестьянин мог уйти от помещика, но он должен был точно знать, куда он уходит. Можно было уйти в город, но только если какой-то из городских ремесленных цехов был готов принять вчерашнего крестьянина. Можно было поселиться на необрабатываемых королевских землях и умолять короля даровать права податного крестьянина или просить ближайшую общину коронных крестьян принять в свои ряды. Можно было перейти в бостельные крестьяне или к другому помещику, но только если у держателя бостеля или нового помещика не хватало рабочих рук. Но уйти в никуда было нельзя.

Принадлежность к любому сословию нужно было доказывать. Чтобы быть аристократом, нужно было иметь знатное происхождение. Чтобы быть священником, нужно было получить благословение епископа. Чтобы быть горожанином, нужно было попасть в бюргерские списки. Но это не значит, что все, кто не принадлежал ни к одному из трех перечисленных сословий — а таковых в Финляндии было подавляющее большинство, — автоматически записывались в крестьяне. Чтобы быть крестьянином, нужно было работать на земле, которая могла быть либо податной, либо коронной, либо помещичьей, либо бостельной. Кто не работал на земле, считался не крестьянином, а бродягой. А по закону наказанием за бродяжничество была тюрьма.

Говорят, что крепостное право приводит к снижению урожаев, а его отмена — к росту сельскохозяйственного производства. Может быть. Однако в Швеции и Финляндии XVII века, несмотря на отсутствие, формально, крепостного права, сельскохозяйственное производство снижалось на протяжении всего XVII века. Шведские короли Карл X Густав и Карл XI попытались компенсировать сокращающийся приток денег в казну, прирезав к королевским землям часть земель, находившихся в распоряжении аристократов. Тем более что дворянская кавалерия перестала играть в европейских войнах решающую роль, уступив ее состоявшей, главным образом, из наемников пехоте, для оплаты которой и требовалось увеличить размер королевских земель, из доходов с которых пополнялась казна.

Новая земельная реформа получила название редукции. Однако перераспределение земли между дворянами и королем не могло привести и не привело к увеличению

урожаев. К тому же в начале XVIII века Швеции пришлось уступить России наиболее плодородные земли в Прибалтике и Ингерманландии. В результате Швеция из экспортера зерна превратилась в его импортера. На протяжении всего XVIII века страна неоднократно пыталась вернуть себе земли, отошедшие к России по итогам Великой Северной войны, однако воинская удача всякий раз изменяла Швеции, заставляя терять все новые земли. Наконец в начале XIX века в результате очередной неудачной для Швеции войны с Россией она потеряла всю Финляндию.

Финляндские аристократы выбирают Россию

Интерес к Финляндии у российских читателей, о котором я писал выше, еще больше возрастет, если напомнить им, что в начале XIX века эта страна, выбирая между Швецией и Россией, выбрала именно Россию. А то среди российских читателей встречается слишком много пессимистов, которые верят, что Россия, мол, всегда отставала от ведущих стран Запада. И поэтому сделать выбор в пользу России могут только те, кто здесь родился, и то это будет выбор сердцем, но не разумом. Опыт Финляндии подвергает такие воззрения сомнению. Ведь в 1809 году финляндские аристократы, выбирая между шведским королем и русским императором, добровольно сделали выбор в пользу последнего. И представляется, что выбор этот был продиктован именно разумом, а не сердцем.

В марте 1809 года император Александр I, чьи войска к тому времени, как и в каждую русско-шведскую войну XVIII века, привычно захватили всю территорию Финляндии и начали угрожать уже собственно шведскому побережью, созвал Риксдаг Финляндии. По примеру Густава Ваза он пригласил глав аристократических родов, чьи поместья находились в Финляндии, глав епархий лютеранской церкви, действовавших на территории страны, представителей финляндских городов, а также по одному представителю от податных и коронных крестьян каждого церковного прихода Финляндии. В российской историографии финляндский Риксдаг известен как Сейм — по аналогии с польским Сеймом — ведь царство Польское в Российской империи было создано практически одновременно с Великим княжеством Финляндским.

Сейм созывался для того, во-первых, чтобы император объяснил жителям Финляндии, как они будут жить, если согласятся перейти к нему в подданство, во-вторых — если жители Финляндии согласятся, — чтобы жители Финляндии могли присягнуть на верность российскому императору, а в-третьих — после присяги, — чтобы жители Финляндии могли обсудить между собой, как им теперь с этим жить. Сейм был созван в городе Порвоо, а не в Турку, который считался центром Финляндского герцогства при шведском владычестве, но располагался слишком близко от Стокгольма, чтобы собираться там было безопасно — ведь Россия и Швеция все еще находились в состоянии войны. В историографию он вошел как Боргоский сейм — по шведскому названию города Порвоо.

Время созыва Сейма также было выбрано не случайно. 13 марта шведский граф Георг Адлерспарре с группой офицеров совершили военный переворот, арестовав короля Густава IV Адольфа. Для того чтобы шведы смогли присягнуть на верность новому королю, в Стокгольме должен был собраться новый Риксдаг. Одновременно в Порвоо созывался финляндский Сейм, на котором шведским аристократам предлагалось присягнуть на верность российскому императору, который становился одновременно великим князем Финляндским. Таким образом, жителям Финляндии не предлагалось изменить присяге, данной ранее шведскому королю; король был низложен, причем

самими шведами, а жителям Финляндии предлагалось выбрать, кому они хотят присягнуть: новому шведскому королю или собственному великому князю.

Выбор был трудным. Некоторые финляндские аристократические семьи на всякий случай даже послали двух представителей: одного — в Порвоо, второго — в Стокгольм. Но Сейм в Порвоо собрался раньше, чем Риксдаг в Стокгольме — уже 22 марта (по русскому стилю — десятого). 28 марта на нем выступил Александр I, пообещав сохранить все ранее действовавшие в Финляндии законы, а для провозглашения новых законов собирать Сейм и впредь. 29 марта шведский король Густав IV Адольф отрекся от престола. И в тот же день финляндский Сейм присягнул на верность российскому императору. А шведский Риксдаг присягнул на верность новому королю Карлу XIII только 10 мая. Представители финляндских аристократических семей, отправившиеся на всякий случай на это мероприятие, заблаговременно вернулись домой.

После отъезда императора заседания Сейма продолжались до июля — представителям финляндских сословий было что обсудить. И лишь в сентябре был подписан Фридрихгамский мирный договор, по которому Швеция признала Финляндию российской. Если бы у императора не было на руках решения Боргоского сейма, шведские дипломаты могли бы торговаться: например, предложить уступить Порвоо, но оставить за собой Турку. В конце концов, союз Александра I с Наполеоном, который помог России победить Швецию в этот раз, не был особо прочным, и возможности затягивать переговоры у российских дипломатов не было. Теперь же пришлось уступить все земли, чьи представители приехали на Боргоский сейм. Великое княжество Финляндское заняло свое место на политической карте Европы.

Скептически настроенные читатели могли бы сказать, что во время заседания Боргоского сейма территория Финляндии была занята русскими войсками. Поэтому у тех, кто собрался на заседание Боргоского сейма, мол, не было другого выхода, кроме как присягнуть на верность российскому императору, вне зависимости от того, что он там им пообещал в своей речи накануне. Однако другой выход у них был. Великое княжество Финляндское не зря регулярно сравнивают с царством Польским, а финляндский Риксдаг называют Сеймом — по аналогии с польским. В 1794 году, сразу после второго раздела Речи Посполитой, в польских землях началось восстание, вошедшее в историю под именем его лидера Тадеуша Костюшко. Восстание было подавлено, а бунтовщики среди польских аристократов наказаны.

В качестве наказания Екатерина II повелела арестовать земли тех дворянских родов, кто поддержал бунт или не присягнул на верность российской короне. Причем когда присяга была принесена, некоторым из них часть земель была возвращена. Можно предположить, что та же кара ждала бы и те финляндские аристократические семьи, кто отказался бы приехать на Боргоский сейм и присягнуть на верность Александру I. Так что эти семьи вполне могли и не посылать своих представителей на Сейм, а подождать заключения мира между Россией и Швецией. И уж тогда те, чьи земли отошли бы к России, могли бы решать, следует ли им, подобно крестьянам, перейти вместе с землей в российское подданство или же уехать в Швецию, где король наверняка наградил бы их за верность новыми землями.

Финляндские аристократы предпочли третий путь: не уподобляться крестьянам, но и не лишаться своих поместий. Прислав своих представителей на Боргоский сейм и сделав таким образом создание Великого княжества Финляндского следствием всенародного волеизъявления, они не лишились своих поместий, но и не поставили себя на одну доску с бостельными крестьянами, которые служат тому господину, которому выделяют их бостель. Напротив, прислав своих представителей на Сейм, они по-

ставили себя на одну доску с самим императором, который, понимая деликатность момента, согласился сначала дать свои обещания Сейму (на самом деле он просто ждал отречения шведского короля, которое должно было произойти со дня на день), а уж затем принять у него присягу.

Помимо кнута — конфискации поместий в случае несогласия присягнуть ему на верность — император предложил финляндским аристократам и пряник. Он предложил им право собственности на их поместья. Под властью Швеции дворяне должны были обязательно служить своему королю, а кто отказывался служить или чья служба королю не нравилась — лишался своих земель. Причем если решение отнять у дворянина земли принимал сам король — это было еще полбеды. Но иногда такие решения принимал и регент при несовершеннолетнем короле, то есть такой же дворянин, как и тот, у кого отнимались земли, а такое обращение не каждый аристократ был готов терпеть. Примером здесь может служить судьба Густава Армфельта — некогда фаворита шведского короля Густава III, которому пришлось начать новую жизнь после его гибели.

После убийства Густава III и восхождения на трон тринадцатилетнего Густава IV Адольфа власть в Стокгольме сосредоточилась в руках регента Густава Рейтерхольма, чья семья, как и семья Армфельтов, тоже располагалась поместьями в Финляндии. Рейтерхольм постарался удалить фаворита бывшего короля из Стокгольма, а тот в отместку составил заговор с целью изгнать уже Рейтерхольма, а регентом стать самому. Заговор был раскрыт, имущество Армфельта конфисковано, а самому ему был вынесен приговор. Армфельт отказался идти в тюрьму по приказанию незаконного, по его мнению, регента и бежал в Россию. Отсюда, возможно, в Швеции и пошли разговоры, что, мол, заговор против Рейтерхольма был составлен в пользу России, а Армфельт вовсе не радел за интересы Швеции, а был обычным предателем.

В Санкт-Петербурге, в отличие от, например, другого финляндского дворянина Георга Спренгпортена, который, будучи оппозиционером Густаву III, перешел на службу российским императорам еще при его жизни, Армфельт не получил должности при дворе. Однако Екатерина II и не выдала его в Швецию. Даже когда Рейтерхольм пригрозил расстроить обсуждавшуюся тогда возможную свадьбу внучки императрицы великой княжны Александры Павловны и несовершеннолетнего шведского короля, Екатерина II предпочла расстроить свадьбу, но не выдавать Армфельта. Так Армфельт остался жить в России как частное лицо, причем жил он не в Санкт-Петербурге, а в Калуге. А когда Густав IV Адольф стал совершеннолетним, он отменил приговор Армфельту, восстановил его в правах и пригласил вернуться в Швецию.

Время, проведенное в Санкт-Петербурге и в Калуге, не прошло для Армфельта даром. Вернувшись в Финляндию, он рассказывал другим финляндским аристократам не только о том, насколько двор в Санкт-Петербурге блистательнее двора в Стокгольме, но и насколько русская провинция — та же Калуга — богаче шведской провинции. Выше уже упоминалось, что к концу XVII века Швеция впала в затяжной экономический кризис, выразившийся в том, что из экспортера зерна страна превратилась в его импортера. К тому же кризис усугублялся бесконечными войнами с Россией, в которых последняя всегда выигрывала. И по экономическим показателям Россия в XVIII веке также намного обгоняла Швецию.

Если бы Армфельт знал слово «модернизация», то его рассказы вполне можно было бы свести к выводу, что Россия открывает для Финляндии гораздо больше возможностей в плане модернизации, чем Швеция. Несомненно, эти рассказы оказали влияние на позицию тех глав аристократических родов, кто в преддверии Боргоского сейма сомневался, следует ли туда ехать. Однако главная причина, почему финляндские ари-

стократы на Боргоском сейме сделали выбор в пользу России, заключалась в том, что им — в соответствии с дарованной Екатериной II российским дворянам еще в 1785 году Жалованной грамотой — больше не нужно было служить, чтобы продолжать распоряжаться своими поместьями. Отныне поместья переходили в собственность финляндских дворян, которые становились, таким образом, землевладельцами.

Огораживания по-фински

Положение крестьян после Боргоского сейма тоже изменилось, хотя произошло это не по причине того, что Финляндия стала частью России. Александр I обещал на Боргоском сейме ничего в Финляндии не менять, и поначалу имперские власти и не собирались ничего менять. И уж точно у Александра I не было планов вводить в Финляндии крепостное право, хотя в других частях России оно все еще существовало. Наоборот, Александр I сделал то, что не сделали ни шведские короли в XVII веке, когда эта земля входила в их королевство, ни Петр I и другие русские императоры в XVIII веке — на полвека раньше, чем это произошло в основной части России, было отменено крепостное право в Прибалтике.

Тогда же, когда финляндские аристократы превратились в землевладельцев, податные крестьяне превратились в собственников земли. Правда, они все равно были обязаны платить налоги, размер которых, теоретически, должен был устанавливать Сейм. Но поскольку Сейм после 1809 года почти полвека не собирался, то размер налогов устанавливал финляндский Сенат. Этот орган власти Великого княжества Финляндского объединял в себе функции исполнительной и судебной власти, ради чего он был поделен на экономическую и юридическую комиссию. В перерывах между сессиями Сейма Сенат выполнял также функции законодательной власти. Состоял Сенат из жителей Финляндии, однако его решения становились законными только после утверждения назначаемым из Санкт-Петербурга генерал-губернатором.

Регламент финляндского Сената написал сам Михаил Михайлович Сперанский — ближайший сподвижник Александра I до Отечественной войны 1812 года, попавший в опалу после окончания войны. По этому регламенту аристократы должны были составлять не более половины членов Сената, однако в этой части регламента никто не придерживался, так что в те почти полвека, пока Сейм не собирался, Сенат состоял практически полностью из аристократов. Тем более что если император назначал членом Сената представителя какого-нибудь другого сословия, то этот сенатор довольно скоро возводился в дворянство. При этом он, как правило, не увольнялся из Сената ради соблюдения предусмотренного регламентом баланса между сословиями.

Так что Сенат состоял по большей части из аристократов, и именно они решали, сколько налогов должны заплатить в казну, которую расходовал Сенат же по своему усмотрению, собственники податных земель. Сами же аристократы, ставшие в одночасье собственниками имений, пожалованных им прежде шведским королем, были освобождены от уплаты налогов: увеличивая налоги для податных крестьян, они не увеличивали автоматически налоги и для себя. Сенат же определял размер оброка, который должны вносить крестьяне, живущие и работающие на коронных землях. Эти земли, которые в Швеции считались собственностью короля, при переходе Финляндии под власть России стали считаться собственностью Великого княжества Финляндского; управлял и распоряжался доходами с этих земель также Сенат.

В своих поместьях аристократы сами устанавливали размеры взимаемого оброка, а также обязательную к исполнению барщину. На босельных землях размеры взима-

емого оброка и обязательную к исполнению барщину устанавливали держатели бостелей. Единых правил, определявших размеры оброка и особенности барщины, не существовало, поскольку Финляндия — очень большая по площади страна. В разных ее частях особенности климата и почвы различаются, и установить единые оброк и барщину на всю страну означало бы уморить голодом крестьян на менее плодородных участках и сделать их жизнь на более плодородных участках слишком легкой. Морить голодом крестьян Сенат, состоящий, главным образом, из землевладельцев, не собирався. Как, впрочем, и облегчать им жизнь.

Чем ближе поместье находилось к Турку на юго-западе страны, где самый мягкий в Финляндии климат и самые плодородные почвы, тем меньшими по площади были поместья, тем большим был оброк и тем труднее была барщина. На юго-западе дворянин и с небольшого поместья получал достаточно средств, чтобы нести службу своему королю. Один крестьянин здесь мог собрать со своего надела большой урожай, чем в других частях страны, а значит, и отдать помещику он должен был больше. Наконец, в небольших поместьях крестьянин, даже если он жил не вблизи господской усадьбы, мог хоть каждый день приходить в усадьбу, чтобы исполнять барщину. Однако в огромных поместьях в других частях страны крестьянину требовалось несколько часов, чтобы дойти до усадьбы и исполнить барщину. Поэтому и призывали его в усадьбу нечасто.

Положение финляндских крестьян в XIX веке начало меняться не из-за перехода страны под власть России, а из-за того, что заработала земельная реформа, которую задолго до этого планировали шведские власти, но осуществляться она начала лишь в XIX веке. Реформа получила название «великого передела» и была схожа с английскими огораживаниями, во всяком случае, по своим результатам. В Англии, как мы знаем благодаря Томасу Морю, огораживания привели к тому, что «овцы... стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей». Если бы Томас Мор жил в Финляндии в XIX веке, он мог бы написать, что людей начали поедать коровы. Автором реформы стал шведский ученый, землемер и чиновник Ян Фаггот, составивший в свое время первую кадастровую карту Шведского королевства, включая и Финляндию. Эта карта потом очень пригодилась шведским аристократам, когда они превратились в полноправных землевладельцев.

До реформы крестьяне на коронных землях жили общиной. Каждая семья, входившая в общину, обрабатывала несколько небольших по площади участков земли, подчас весьма удаленных друг от друга территориально. Один такой участок идеально подходил под распашку — там и была пашня, второй больше годился для устройства огорода и так далее. Однако из-за этого, особенно в тех районах страны, где небольшое число семей, чтобы прокормиться, должно было обрабатывать весьма обширные по площади участки земли, крестьяне были вынуждены тратить много времени на перемещение между участками, от чего страдал их урожай. Фаггот сумел убедить короля и Риксдаг, что если каждая семья получит один, но больший по площади земельный надел, то это поможет собрать в стране в целом больше зерна.

Реформа и вправду помогла увеличить количество собираемого в Финляндии зерна, однако воспользовалась этим уже не шведская казна, а финляндский Сенат. Увидев, что на коронных землях реформа дает реальную выгоду, аналогичные изменения на своих землях начали производить и помещики. Среди крестьян же реформа породила неравенство. И дело здесь было даже не в том, что одни финские крестьяне, получив личный надел, проявили свои лучшие качества, а другие, подобно переехавшим в город крестьянами из книги Шанина, лишившись контроля со стороны общи-

ны, поддались своим худшим устремлениям, хотя такое, конечно, тоже встречалось. Дело в том, что в результате «великого передела» один крестьянин получил кусок пашни, а другой — огорода.

Конечно, можно было работать по старинке, распахав часть бывшего огорода под пашню или, наоборот, устроив на части бывшей пашни огород. Однако на огороде, переделанном в пашню, плохо рос хлеб, а на пашне, переделанной в огород, — овощи. А кому-то из крестьян и вовсе достался участок в пойме реки, где вообще ничего хорошо не растет, кроме травы. И если такой крестьянин не собирался умирать с голоду, то он и начинал выращивать траву, меняя часть заготовленного сена у соседей на хлеб и овощи и постепенно откладывая на покупку второй коровы. Так среди крестьян волей-неволей возникла специализация, а значит, им пришлось научиться меняться. Меняться как самим, так и друг с другом.

Поначалу среди крестьян процветал натуральный обмен, однако со временем крестьяне начали продавать ту часть урожая, которую они не оставляли себе и которая не шла в оброк помещику, на рынке. Тем более что специализация возникла не только среди крестьян одной деревни, но и между деревнями, между церковными приходами и между целыми провинциями. Возникла своя специализация и у всего Великого княжества Финляндского. В 1830-е годы в поместье Вуойоки близ Пори провели первый эксперимент по устройству заливных лугов; эксперимент оказался настолько удачным, что вскоре заливные луга стали устраивать по всей стране, резко выросло поголовье молочных коров и постепенно Финляндия прославилась на всю Российскую империю своими молочными продуктами.

Тем более что сам Пушкин прославил финских молочниц, написав бессмертные строки: «С кувшином охтенка спешит». Постепенно внедрялись технические новинки: начиная с элементарных, но очень удобных решетчатых бортов для саней и телег, чтобы перевозить сено, до электрических сепараторов и пастеризаторов для молока, которые, правда, можно было использовать только там, куда было проведено электричество. Но главное — появилась возможность доставлять молочные продукты в Санкт-Петербург не только с Охты, но и из самой Финляндии. В результате у финских крестьян появились деньги. У некоторых. Некоторые же, напротив, лишились всего и вздыхали, перефразируя Томаса Мора, что коровы, мол, начали есть людей.

Еще больше, чем сами крестьяне, появлению у крестьян денег обрадовались землевладельцы. Постепенно на смену барщине и натуральному оброку пришел денежный оброк. Оказалось, что если не заставлять крестьянина каждый вечер приходить в имение колоть дрова и топить баню, то он заплатит больше денег, чем нужно, чтобы нанять специального мужика, который будет постоянно жить в имении, колоть дрова и топить баню. Таким образом, из крестьянина, который должен был платить оброк и исполнять барщину, крестьянин превратился в фермера-арендатора, за плату берущего у помещика в аренду участок земли. Такой участок по-шведски назывался «торп», а арендаторов, соответственно, стали называть торпарями.

Превращение крестьян в арендаторов сделало их более открытыми к экспериментам. В самом деле, если крестьянин каждый год в качестве оброка должен приносить помещику мешок ржи, то он и будет сажать рожь. Потому что сажать, например, клубнику, потом ее продавать, покупать рожь и относить ее помещику — это слишком сложно. А вот если арендатор должен помещику в качестве арендной платы ежегодно отдавать определенную сумму денег, то можно попробовать и клубнику, если есть вероятность, что она принесет больше денег, чем рожь. Кстати, клубника в Финляндии отлично растет до сих пор. Выражаясь современным языком, произошла мо-

дернизация сельского хозяйства, благодаря которой его производительность к концу XIX века существенно выросла.

Одновременно выросло неравенство среди крестьян. Кто-то смог собрать достаточно денег, чтобы выкупить у помещика «свой» участок земли — ведь теперь поместья можно было продавать, хоть целиком, а хоть и частями — и начать называть этот участок своим без кавычек, перейдя из фрельсовых в податные крестьяне. А кто-то лишился своего участка земли и оказался вынужден наниматься в поместье — тем самым мужиком, который колет дрова и топит баню — или к другим более удачливым крестьянам, кому требовались рабочие руки. Постепенно среди крестьян начали складываться социальные группы, как в книге Шанина. А вскоре у крестьян появились и политические взгляды. У землевладельцев же они были и раньше. В общем, возникла типичная революционная ситуация. И революция не заставила себя ждать.

Почему финны не считают свою революцию «великой»

Теодор Шанин обращает внимание на то, что крестьяне не всегда бунтуют тогда, когда им нечего есть. Например, в 1860-х годах в Финляндии был голод из-за нескольких неурожайных лет подряд, а бунтов не было. В начале же XX века голода в Финляндии не было. А революционная ситуация возникла. В научной литературе чаще всего встречается мнение, что виной тому стала торпарская система. Может быть. Во всяком случае, к концу XIX века все больше финских крестьян сообразили, что взять у помещика участок земли в аренду — разумеется, если нет своего — это гораздо выгоднее, чем наниматься на работу за деньги к тому же помещику или к другому арендатору. Желающих взять участок в аренду стало больше, а значит, арендная плата выросла.

К тому же морской транспорт развился до такой степени, что зерно и мясо в Финляндию начали привозить с другого конца земли. Даже с учетом транспортных расходов эти зерно и мясо оказывались дешевле, чем произведенные в Финляндии. Арендаторам земельных участков приходилось снижать цены, и заплатить помещикам все возрастающую плату за аренду земли стало еще труднее. Получается, что финские крестьяне провели модернизацию сельскохозяйственного производства, значительно нарастили производство продуктов, а денег у них при этом стало меньше. Историк финской экономики Рита Хьерппе утверждает, что между 1860 и 1890 годами сельскохозяйственное производство в Финляндии выросло вдвое, но совокупная стоимость произведенных продуктов при этом даже снизилась.

В результате когда в основной части России началась первая русская революция, финские крестьяне тоже взбунтовались, хотя причины для недовольства у них были иные, нежели в прочих частях империи, где не было торпарской системы. Как и в основной части России, революция была подавлена, но в ее результате Николай II решил даровать своим подданным парламент. В России он получил название Государственной думы, в Финляндии его называли «представительным собранием», по-фински — Эдускунта. В старом Сейме представители четырех сословий заседали отдельно и имели примерно равное представительство, хотя голос палаты аристократии все равно «весил» больше. Новая же Эдускунта стала однопалатной, и все жители страны получили равное право голосовать на выборах. Даже женщины.

Голосовать пошли и крестьяне, и землевладельцы. Те крестьяне, кто был недоволен ситуацией в стране, пошли голосовать за социал-демократическую партию. Те же, кто считал, что жить можно и так, пошли голосовать за аграрную партию. Землевладельцы же изначально делились на партии по национальному признаку. При

этом большинство землевладельцев в Финляндии были дворянами, а большинство дворян — кроме тех, кто получил дворянство при Российской империи — были шведами. И те из них, кто считал, что все хорошее, что есть в Финляндии, появилось здесь благодаря шведам, голосовали за шведскую партию. А те, кто считал, что при шведской власти в Финляндии не было ничего хорошего и что нужно поскорее выучить финский язык и забыть о шведских корнях, голосовали за финскую партию.

Позднее финская партия разделилась на старую и младофинскую: «старые» финны считали, что лютеранская вера — основа Финляндии, младофинны же утверждали, что чем скорее страна освободится от попов, тем лучше. Русской же партии, то есть партии тех, кто считал, что Финляндия многим обязана России, не сложилось. В этих условиях едва ли следовало ожидать, что император окажется доволен выбором финского народа. Он и не был. Впрочем, в основной части России император тоже не был доволен работой Государственной думы и часто ее распускал. В Финляндии же, где в десятилетие накануне 1917 года на выборах каждый раз побеждали социал-демократы, император тем более не был доволен работой Эдускунты. И распускал ее даже чаще, чем Государственную думу.

Впрочем, на новых выборах социал-демократы получали еще больше голосов. Представляется, что так происходило потому, что право голоса в Финляндии изначально имели женщины. Женщинам в начале XX века жилось труднее, чем мужчинам — им и сейчас труднее живется, — поэтому тогда они чаще голосовали за левые партии. Наделение женщин избирательными правами в Великобритании привело к власти лейбористов, которые до сих пор остаются одной из двух наиболее популярных партий в стране. В Финляндии же женщины привели к власти социал-демократов. Кое-кто мог бы сказать, что если бы в основной части России женщины имели право голосовать, то большевики победили бы на выборах в Учредительное собрание, и им не нужно было бы устраивать Октябрьскую революцию.

После Февральской революции в России Временное правительство первым делом потребовало от Финляндии провести новые выборы в Эдускунту. На них привычно победили социал-демократы. Когда же Октябрьская революция привела к власти в России большевиков, Эдускунта провозгласила независимость Финляндии, и Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным ее признал. Однако после этого социал-демократы в Эдускунте потребовали передачи всей власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, вышли из состава Эдускунты и захватили власть в Хельсинки, Тампере. Выборге и вообще на юге и востоке страны. Запад и север остались под властью Сената и оставшейся части Эдускунты, которые бежали из охваченного революцией Хельсинки в город Ваза на берегу Ботнического залива.

В отличие от России, в начавшейся вслед за этими событиями Гражданской войне в Финляндии победили белые. Эдускунта — все еще в усеченном составе, без социал-демократов — вернулась в Хельсинки, где первым делом приняла закон о земельной реформе: все арендаторы помещичьих земель получали право выкупить свои наделы, причем по кадастровой стоимости 1913 года — то есть сильно дешевле рыночной цены. За принятие этого закона ратовала аграрная партия, которая убедила партии землевладельцев согласиться с этим. Правда, землевладельцы выторговали поправки к закону, по которым выкуп запрещался тем арендаторам, которые арендовали не часть поместья, а все поместье целиком, а также тем, кто будет осужден за преступления, совершенные в месяцы Гражданской войны.

Целью любой крестьянской революции является изменение системы отношений между землевладельцами и крестьянами. Финская революция не стала здесь исклю-

чением. О значимости земельного вопроса для финской революции говорит хотя бы то, что закон о земельной реформе был принят Эдускунтой сразу после окончания Гражданской войны. Лишь после этого были объявлены новые выборы. На которых, кстати, опять победили социал-демократы, а аграрная партия финишировала второй. Вместе они смогли избрать первым президентом страны автора финляндской конституции Карла Столберга, противником которого на выборах был сам Карл Маннергейм — командующий белых войск в Гражданскую войну.

Также социал-демократы и аграрии совместными усилиями отменили поправку к закону о земельной реформе, запрещавшую арендаторам, взявшим в аренду дворянские поместья целиком, выкупать их, оставляя аристократов безземельными. А ставший президентом Карл Столберг, понимая, что даже объединенных сил социал-демократов и аграриев в Эдускунте для этого будет недостаточно, личным указом амнистировал участников Гражданской войны, наделив их таким образом правом — как более невиновных — выкупить ранее взятые у помещиков в аренду участки земли. Так уже не некоторые, но многие финские крестьяне стали землевладельцами. Революция, которую финны до сих пор отказываются называть «великой», свершилась.

Революция не могла не оставить следов. Конечно, сразу после революции новый лидер социал-демократов Вяйне Таннер объявил, что его партия отныне отказывается от требования передать всю власть Советам, но будет бороться за власть в парламенте наравне с другими партиями. Однако это не значит, что все финские крестьяне, кто еще вчера симпатизировал красным, немедленно с этим согласились. Они продолжали собираться и говорить о том, что земельная реформа сделала землевладельцами многих крестьян, но не всех и даже не большинство и что в стране все не так хорошо, как об этом пишут в газетах. За это те финские крестьяне, кто симпатизировал белым, ловили их и били. Иногда — даже убивали. А суды, в которых заседали землевладельцы, в таких случаях редко обнаруживали достаточно улик, чтобы осудить убийц.

Популярным развлечением стало вывозить тех, кого подозревали в симпатиях к красным, на автомобилях — у финских крестьян, правда только у самых богатых, уже появились автомобили — к советской границе и пинками отправлять на ту сторону. Постепенно среди тех крестьян, кто был исполнен ненависти к красным, созрела мысль, что бить их нужно не по одному, а системно, с привлечением всей мощи репрессивного аппарата государства. Воодушевленные примером итальянских фашистов, они прошли маршами по улицам финских городов, требуя от «беззубого», по их мнению, финского государства срочно нарастить клыки. Но тут уже землевладельцы испугались, а поскольку именно они составляли большинство армейских офицеров, армия отказалась поддержать требования фашистов и разогнала их марши.

Неизвестно, когда потомки бывших красных и бывших белых в Финляндии примирились друг с другом. То ли в годы Второй мировой войны, а то ли уже после войны. А может, они и не примирились до сих пор. Ведь кто-то до сих пор время от времени пишет по-фински слово «мясник» красной краской на памятниках Маннергейму — командующему белых войск в Гражданскую войну. Но это необязательно потомки красных. Ведь войска Маннергейма убивали не только красных, но и тех, кто просто оказался в неправильном месте в неправильное время. Например, русских, потомков тех, кто переехал в Выборг еще при Петре I и кого едва ли можно было заподозрить в симпатиях к красным. Однако на то она и революция, чтобы вместе с революционерами и их оппонентами гибли невиновные и возвышались непричастные.

Сначала село кормит промышленность, потом — наоборот

А как же промышленность? — спросит проницательный читатель. Неужели же финны разбогатели и создали себе современное государство, выращивая клубнику и делая сыр? Конечно же, нет. Промышленное производство во всех странах приносит больше денег, чем сельское хозяйство, и Финляндия не является здесь исключением. И конечно, без появления промышленности Финляндия ни за что бы не стала богатейшей страной мира и Европы к концу XX века. Важно, что промышленность в стране появилась в условиях, когда у землевладельцев было достаточно денег, чтобы на них можно было построить промышленные предприятия, а у крестьян было достаточно денег, чтобы покупать товары, которые будут производить эти предприятия. Хотя здесь я, конечно, преувеличиваю. Денег никогда не бывает достаточно.

Если деньги есть только у землевладельцев, то промышленность может и не возникнуть. Например, у испанских землевладельцев благодаря серебряным рудникам Южной Америки денег было достаточно. Однако промышленность появилась в Англии, которой досталась лишь та часть Америки, где не было богатых залежей золота и серебра. Иногда промышленность может возникнуть даже там, где денег нет ни у землевладельцев, ни у крестьян. Например, благодаря иностранным инвестициям. Однако если у крестьян нет денег, чтобы покупать товары, производимые на фабриках, построенных на эти инвестиции, то инвестиции уходят так же быстро, как и приходят, о чем свидетельствуют многочисленные остовы заброшенных промышленных предприятий, украшающие пейзажи даже и тех стран, которые не знали ни коммунизма, ни его краха.

Финляндия же стала богатейшей страной мира и Европы раньше, чем в 1990-х годах там произошла либерализация и в страну пришли иностранные инвестиции. И промышленность там появилась исключительно за счет финских крестьян и землевладельцев. Иногда сами крестьяне создавали промышленные предприятия, например, Антти Альстрем, который основал стекольное производство, известное сегодня в Финляндии и за рубежом под торговой маркой «Иитала». Иногда промышленные производства создавали землевладельцы, например, Адольф Тернгрэн, унаследовавший от отца обширные земли, однако прославившийся в первую очередь как удачливый промышленник, построивший в Тампере множество предприятий легкой и тяжелой промышленности.

Часто промышленные предприятия строились на деньги финляндского Сената в XIX веке и правительства в XX веке. Например, шотландец Джеймс Финлейсон, построивший в том же Тампере первую ткацкую мануфактуру по английскому образцу, названную его именем, получил на это кредит от Сената. Деньги же Сенат получал главным образом из налогов, которые платили крестьяне и землевладельцы. Когда в XX веке Финляндия стала республикой и землевладельцы из числа аристократов утратили свои привилегии и были обязаны платить налоги наравне с крестьянами, индустриализация в стране пошла быстрее. И когда крестьяне выяснили, что электрический сепаратор много лучше механического и им потребовалось провести в свои хозяйства электричество, правительство построило для них электростанции.

Наконец, в Финляндии были и банки, которые с удовольствием предоставляли кредиты тем, кто хотел открыть промышленное производство. Правда, до либерализации 1980-х годов деятельность этих банков строго контролировалась Банком Фин-

ляндии. Однако когда Вильгельму Валфорссу, будущему основателю «Вяртсиля» — сегодня это крупнейший в мире производитель двигателей для морских судов, — понадобились деньги, чтобы купить текстильное предприятие в Турку — его первый самостоятельный бизнес, — он взял кредит в банке. У банков же деньги были главным образом благодаря землевладельцам, которые — поскольку денег никогда не бывает достаточно — охотно помещали полученные от арендаторов земли деньги на депозит под проценты.

Особенно быстро индустриализация в Финляндии пошла после Второй мировой войны. Проиграв войну, Финляндия была вынуждена платить репарации Советскому Союзу, который не хотел брать репарации клубникой и сыром. СССР были нужны промышленные товары: станки и тракторы. Причем станков и тракторов требовалось столько, что даже если бы правительство Финляндии потребовало от всех промышленных предприятий и от всех крестьянских хозяйств немедленно продать ему по фиксированной цене все имеющиеся в наличии станки и тракторы — а оно так и сделало, — этого бы все равно не хватило. Конечно, у Банка Финляндии было золото. И поскольку до войны Финляндия всегда выплачивала свои долги, то можно было занять еще у американских банков и купить на эти деньги недостающие станки и тракторы.

Однако правительство Финляндии решило, что раз уж все равно нужно опустошать запасы и влезать в долги, то лучше купить целые заводы по производству станков. Произведенные на них станки частично везли в СССР в качестве репараций, а частично — на вновь строящиеся заводы по производству тракторов. В свою очередь, трактора также частично были поставлены в СССР, а частично были куплены финскими крестьянами для модернизации своих хозяйств. Тем более что благодаря быстрой индустриализации многие вчерашние крестьяне перебрались в города и нанялись рабочими на модернизирующиеся старые промышленные предприятия — ведь на них все старые станки были в приказном порядке заменены на современные — и активно строящиеся новые. И оставшимся в деревне крестьянам понадобились трактора, чтобы в одиночку обрабатывать поля, на которых раньше работали десять человек.

Эпоха, когда большинство финнов были рабочими, продлилась недолго и захватила всего одно поколение. Поэтому в фильмах Кауризмаки, большинство из которых посвящены рабочему классу, так мало рабочих династий. Хотя Тайсто Касуринен, главный герой его фильма «Ариэль», в начале фильма работает на той же шахте, что и его отец. Причем его отец за годы работы успевает скопить на белый «кадиллак». Однако отец Тайсто не успевает даже выйти на пенсию, как шахта закрывается, из-за чего он кончает жизнь самоубийством. Дед Тайсто был крестьянином, однако сам Тайсто после смерти отца и потери работы на шахте не возвращается в деревню к сельскому труду, вместо этого постепенно скатываясь в криминал.

Лишь меньшинство финских рабочих, лишившихся работы, когда промышленные роботы заменили людей на заводах и фабриках, а сами заводы и фабрики из центров городов переехали в промышленные зоны на окраинах, ушли в криминал. Большинство нашло себя в быстро развивающемся секторе услуг. Однако лишь единицы вернулись в деревню. Наоборот, возникла опасность, что последние оставшиеся в деревне крестьяне со временем переберутся в город, финские поля останутся необработанными, а продукты питания придется завозить из-за рубежа. Иной читатель скажет, что это не беда, раз промышленность и быстро растущий сектор услуг давали Финляндии достаточно денег, чтобы купить любое количество продуктов. Однако финский президент Урхо Кекконен решил иначе.

Кекконен оставался президентом на протяжении четверти века — с 1956-го по 1981 год. Его политическая карьера оказалась столь долгой по множеству причин, среди которых важнейшей было то, что он был из аграрной партии. Финские крестьяне не забыли, какая именно партия избавила их от непосильных поборов землевладельцев и сделала хозяевами на своей земле, и всегда поддерживали аграрную партию. Даже после того как дети бывших крестьян, мечтая заработать на белый «кадиллак», перебрались из города в деревню, и партию пришлось переименовать в центристскую, поскольку большинство ее сторонников больше не жило в деревне. А Кекконен, мечтавший оставаться президентом как можно дольше, стремился поддерживать крестьян.

Для этого Кекконен создал сельскую политику. Сельская политика — словосочетание, непривычное для русского уха, — это совсем не то же самое, что сельскохозяйственная политика. Целью последней является повышение производительности труда на селе. Чтобы в стране выращивалось все больше хлеба и клубники и производилось молоко и сыра. А вот целью сельской политики является создание комфортной жизни в деревне. Чтобы там было приятно не только работать, но и жить. И чтобы сельские жители уезжали в города не от отчаяния, но лишь потому, что видели в этом свое призвание. И чтобы городские жители, которые видели свое призвание в сельском хозяйстве, например в модном сегодня производстве органических продуктов, не боялись переезда в деревню.

Сельская политика Финляндии при Кекконене осуществлялась по двум направлениям. Во-первых, в деревне следовало создать то, что раньше было только в городе, в то время как деревенские жители были этого лишены. Например, библиотеки. Однако держать библиотекаря в каждой деревне невозможно. Даже если в бюджете хватит денег им на зарплату, во всей Финляндии не хватило бы людей, чтобы нанять столько библиотекарей. Так появились вахтовые библиотеки, открытые по понедельникам в одной деревне, по вторникам — в другой и так далее. Хоть они и работали всего один день в неделю, зато в них можно было заказать книгу из любой библиотеки по всей Финляндии, и ровно через неделю, когда библиотека открывалась вновь, книга доставлялась своему читателю. Сельские библиотеки в Финляндии до сих пор так работают, только каталог из бумажного стал электронным.

Во-вторых, финских крестьян следовало поддержать материально. Ведь благодаря внедрению более продуктивных сортов растений, ирригации, использованию минеральных удобрений и пестицидов, а также внедрению новых методов культивирования, в том числе механизации, резко увеличились урожаи в странах Азии и Латинской Америки, благодаря чему эти страны не только смогли отодвинуть от себя угрозу голода, но и начали активно экспортировать продовольствие на мировой рынок. Как и в конце XIX века, мировые цены на продовольствие резко упали, и финские крестьяне рисковали обеднеть. Однако государство за счет бюджета — в котором было много денег благодаря созданной после войны промышленности — начало скупать у крестьян продукты по более высоким ценам, чем в магазинах.

Третье направление сельской политики появилось уже после смерти Кекконена, когда финские крестьяне, также активно использовавшие минеральные удобрения и пестициды, начали представлять угрозу для окружающей среды. Ведь если промышленные предприятия сливают свои стоки в реки через одну трубу и достаточно поставить на этой трубе фильтр, чтобы минимизировать экологический ущерб, то с крестьянских полей дожди смывают удобрения и пестициды равномерно и нет такого места, где можно было бы поставить фильтр и предотвратить загрязнение. Поэтому тем финским крестьянам, кто использует меньше пестицидов и минеральных удобрений, начали выплачивать дополнительные деньги из бюджета.

В целом можно сказать, что сельская политика Кекконена, продолженная и после его смерти, удалась. Когда я жил в Хельсинки в начале нулевых, у меня был приятель, чьи родители жили в деревне и занимались сельским хозяйством. Однажды он взял меня с собой в деревню познакомиться со своей семьей. Потому что даже при наличии вахтовой библиотеки развлечений в деревне маловато — а тут целый русский, да еще и говорящий по-фински. Его родители очень гордились им; ведь они — простые крестьяне, а вот их сын окончил в Хельсинки университет. Но и он очень гордился ими; ведь он не сбежал из деревни от тягот сельской жизни, но отправился туда, где он видел свое призвание, и его родители, работая на земле, создали для этого основу.

И напоследок

Здесь хотелось бы закончить, потому что последние пятнадцать лет Финляндия не демонстрирует выдающихся экономических успехов. Легко было говорить про финское экономическое чудо двадцать лет назад, когда у каждого второго слушателя был сотовый телефон «Нокиа». Кстати, некоторые из телефонов, купленных тогда, прекрасно работают до сих пор. Сегодня же читатели, знакомые с экономической статистикой, могут возразить, что слухи про финское экономическое чудо сильно преувеличены, иначе непонятно, почему финская экономика за последние пятнадцать лет не выросла. Правда, сами финны на это отвечают, что не выросла она только в долларах, а вот в евро экономика Финляндии выросла в полтора раза, просто евро за последние пятнадцать лет упал, и тоже — вот ведь совпадение! — в полтора раза.

Было бы интересно понять, как это связано с тем, что Финляндия, присоединившись к Европейскому союзу, отказалась от собственной сельскохозяйственной политики, доверив брюссельским чиновникам решать, по каким правилам должны жить и работать финские крестьяне. Непонятно, довольны ли этим финские крестьяне. Вроде они не перекрывают тракторами шоссе, подобно испанским крестьянам. Зато они начали изменять центристской партии, которой были верны почти сто лет. Причем с той партией, которая так не нравится Каурисмяки и которую я тоже буду называть «Истинными финнами», коль скоро в России их повелось так называть. Видимо, слова лидеров этой партии, с которыми они обращаются к тем людям, кто находится в самой основе финского общества, находят отклик в сердце финских крестьян.

Однако цыплят мы посчитаем по осени. Пока же более важным представляется понять, что модернизация — это не замена сельского хозяйства на промышленное производство. И не переселение вчерашних крестьян из деревни в город. Модернизация — это в первую очередь модернизация сельского хозяйства. Чтобы крестьянин перестал балансировать на грани голода и повез излишки продуктов на рынок. Чтобы у него завелись наконец деньги. Потому что сначала сельское хозяйство кормит промышленность, и лишь потом — наоборот. Чтобы на эти деньги крестьянин провел на свою землю электричество, купил себе электрический сепаратор и заработал еще больше денег. Потому что иной путь — это ждать, пока электричество в деревню проведут большевики. Финские крестьяне в свое время так и не дождались, пока им проведут электричество большевики, пришлось самим.

А вслед за электричеством — провести в деревню газ, водопровод и канализацию. А затем — и Интернет. Чтобы постепенно деревенский быт перестал существенно отличаться от городского. Разве что библиотеки, которые в городе открыты каждый день, в деревне открываются лишь раз в неделю. Впрочем, при наличии Интернета библиотеку, открывающуюся лишь раз в неделю, можно пережить. А еще в деревенских

кафе редко подают лавандовый раф. Многие деревенские вообще до сих пор уверены, что РАФ — это старый микроавтобус, сделанный в советской еще Латвии. Подобно старым телефонам «Нокиа», некоторые такие микроавтобусы до сих пор живы и служат своим хозяевам в финских деревнях.

Опыт Финляндии показывает, что сделать крестьян богатыми за счет крестьянского труда — это правильный путь. Потому что труд крестьян — пусть при определении показателей валового национального продукта он и не играет сегодня важной роли — находится в основе всего остального. А опыт стран, которые, как пел Юрий Визбор, делают ракеты, в то время как их крестьяне не могут вырастить достаточно зерна, чтобы испечь хлеб для всех сотрудников конструкторских бюро, в которых делаются те самые ракеты, и зерно приходится импортировать, показывает, что такие страны разваливаются. Даже если большинство населения этих стран против. И даже если ракеты настолько хороши, что по старым чертежам их продолжают делать и полвека спустя.

Опыт Финляндии учит тому, что если какая-то страна хочет стать богатой и современной, она не должна смотреть на то, что богатые и современные страны делают сейчас. Нужно смотреть на то, что они делали в прошлом. В самом деле, бессмысленно, видя, как богатый покупает себе белый «кадиллак» — раз уж Кауризмаки в 1988 году именно его сделал символом богатства, пусть так и остается, — влезать в долги и покупать себе такой же, думая, что это принесет богатство. Правильнее будет узнать, что богатый делал до того, как разбогател. Правда, богатые часто преувеличивают и недоговаривают, если им задать этот вопрос напрямую. Так же и со странами. Не смотри, что богатые страны делают сейчас, смотри, что они делали раньше. А то можно, подобно шведским дворянам XVII века, подумать, что крепостное право способствует прогрессу.

А еще опыт Финляндии учит, что не нужно стесняться того, что все мы вышли из деревни. В первом ли поколении или в десятом — все мы оттуда. Пригласить заграничного приятеля познакомиться со своими родителями, которые живут в деревне и занимаются сельским хозяйством — трудно. Еще труднее пригласить своего деревенского отца жить к себе в город. Даже для финна. В 2014 году финский режиссер Доме Карукоски снял про это фильм «Ворчун». Кто не видел — обязательно нужно посмотреть. Хотя бы для того, чтобы увидеть, что городские всегда считают, что между ними и деревней — пропасть. Даже в современной Финляндии. Город — всегда современный, деревня — всегда на шаг позади. Финны смогли сделать так, чтобы деревня была позади только на один шаг. Но это легко потерять, если забыть, что лежит в основе всего.

Александр МЕЛИХОВ

ХОРОШИЙ ПОВОД ВСПОМНИТЬ

2025 год щедр на литературные юбилеи, он дает хороший повод вспомнить сразу нескольких классиков.

АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ

«Горе от ума» и сегодня блистательно по естественности и, так сказать, народности языка, а в начале двадцатых годов XIX века этот язык был просто-таки революционно новаторским. И притом речь барина Фамусова не слишком отличается от речи служанки. Да и сам Грибоедов, чтобы достичь такой языковой виртуозности, должен был провести годы и годы в народной среде. Тогдашняя русская аристократия и не отрывалась от народа, от мамок-нянек и дворовых, да и от настоящих крестьян.

В шесть лет вундеркинд Грибоедов знал три европейских языка, в юности шесть, а впоследствии изучил еще и арабский, турецкий, грузинский и персидский. В тринадцать лет Грибоедов окончил словесное отделение университета, затем получил степень кандидата прав и остался в университете для изучения математики и естественных наук. К тому же он был пианистом-виртуозом и одаренным композитором.

При этом долг русского аристократа не позволял ему по-обломовски лежать на печи. Начинается война — юный Грибоедов идет в армию.

Долг личной чести для этого обличителя предрассудков тоже не был пустым звуком. После одной тяжелой дуэльной истории Грибоедов принял вызов знаменитого бретера Якубовича и достойно выдержал его выстрел. Пуля Якубовича изуродовала ему кисть левой руки, но он все-таки ухитрился играть на рояле при помощи чехольчика, надеваемого на мизинец, — именно по этому увечью впоследствии опознали его тело, когда осатаневшие фанатики разгромили русское посольство в Тегеране.

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023). Премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (2024).

Дипломатом Грибоедов был вполне успешным, да и вообще дельным работником — недаром с февраля 1822 года Грибоедов служил секретарем по дипломатической части при легендарном генерале Ермолове. Но честь аристократа требовала проявлять и военную храбрость, в дипломатическом деле, в общем-то, излишнюю: заметив в себе страх под выстрелами горцев, Грибоедов в наказание заставил себя довольно долго оставаться на открытом простреливаемом месте.

Можно сказать, его и погубило чувство чести. При заключении мирного договора с Персией на Тегеран налагалась обязанность не препятствовать возвращению в Россию уроженцев областей или изначально российских, или отошедших к России по условиям этого договора. А ведь многие «полонянки» уже были чьими-то женами... А один из пленников, евнух, занимал высокий пост при дворе...

Принять их означало оскорбить и власть, и церковь. Но не принять означало отступить от своего долга.

Невольник чести, Грибоедов не отступил.

Из всего посольства спасся лишь один человек.

ВСЕВОЛОД ГАРШИН

Гаршин ушел из жизни в возрасте Иисуса Христа, промучившись три дня после своего прыжка в лестничный пролет. Его нога застряла между печью и перилами, но удар головой о стену решил дело.

Гаршина всю жизнь влекло страдание. В первом же рассказе «Четыре дня» он изобразил раненого, изнывающего от мук жажды и мук совести в соседстве с разлагающимся трупом убитого им турка. Но как заметил историк литературы Венгеров, «трудно было определить, где кончается высокий строй души и где начинается безумие».

По окончании гимназии в 1874 году Гаршин поступил в петербургский Горный институт. Там он сблизился с кружком молодых художников-передвижников, представителей «передового» направления в живописи, почти задушившего ее как искусство: у Гаршина есть рассказ о двух художниках, один из которых пописывает «пейзажики», а другой мечтает изобразить страдания клепальщика, засунутого в пустой котел. При господстве таких идей было почти невозможно развиваться русскому импрессионизму.

Разумеется, он отправился добровольцем в балканский поход, чтобы разделить народную участь. И впоследствии написал об этом слова, поразительные для народного заступника: «Для них, простых солдат, физические беды были настоящим горем, способным наводить тоску и вообще мучить душу. Те же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдат из простых людей, — вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и проч., — но душевно были спокойнее. Душевный мир их не мог быть нарушен избитыми в кровь ногами, невыносимым жаром и смертельной усталостью. Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды и шел под пули убивать людей».

Вот к чему стремилась народническая интеллигенция — к душевному миру.

Гаршин еще более откровенно описал счастье слияния с массой на императорском смотре.

Люди шли быстрее и быстрее, шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было принаравливать к общему такту: усталость прошла. Точно

крылья выросли и несли вперед, туда, где уже гремела музыка и раздавалось оглушительное «ура!». Не помню улиц, по которым мы шли, не помню, был ли народ на этих улицах, смотрел ли на нас; помню только волнение, охватившее душу, вместе с сознанием страшной силы массы, к которой принадлежал и которая увлекала тебя. Чувствовалось, что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и все уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды, и всякий хотел найти в слове этого одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. «Ты ведешь нас, — думал каждый, — тебе мы отдаем свою жизнь; смотри на нас и будь покоен: мы готовы умереть».

И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности. Он сидел на сером коне, недвижно стоявшем и насторожившем уши на музыку и бешеные крики восторга. Вокруг была пышная свита; но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо, истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми, блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорящие что-то, должно быть приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией, когда я, задыхаясь не от бега, а от нечеловеческого, яростного восторга, пробежал мимо него, подняв высоко винтовку одной рукой, а другой — махая над головой шапкой и крича оглушительное, но от общего вопля не слышное самому мне «ура!».

Гаршин вырастает в большого писателя, только сталкиваясь с неразрешимым спором разных правд. Однако же есть жанр, которому точная психология, точные живописные детали и не требуются, — это сказка, притча. Гаршинская пальма, разбивающая социальные оковы оранжереи и столкнувшаяся со смертоносным холодом мироздания («Attalea princeps»), безумец, ценой жизни уничтожающий мировое зло, воплотившееся для него в невинном алом маке («Красный цветок»), вошли в число вечных образов русской культуры.

И конечно же, лягушка-путешественница: «Это я, это я придумала!»

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

Зощенко населил советское мироздание невероятно забавными куклами, как и у Гоголя, лишенными внутреннего мира, — лишенными теплых и горьких воспоминаний, любви к родителям и детям, ночной тоски, тревог за будущее, — что позволяло потешаться над ними, не испытывая сострадания. Хотя если бы мы увидели в них существа, подобные нам самим, нами бы овладел ужас: все их жизненные силы отданы борьбе за хоть какое-то подобие нормального («мелкобуржуазного») человеческого существования. Но если им выпадают два билета в театр для развлечения приглянувшейся дамочки, то они непременно оказываются с нею в разных местах, а в антракте у них не хватает денег на пирожные. В бане у них «смывается» привязанный к ноге номерок, по которому им должны выдать пальто в гардеробе. В больнице их укладывают

в одну ванну с неизвестной старухой — словом, они всегда смехотворно проигрывают, но при этом *никогда не приходят в отчаяние*: советский абсурд для них в порядке вещей.

Можно подумать, что и самого Зощенко интересовала исключительно бытовуха — уж такие заземленные у него герои. И почти никто даже из его почитателей не читал ранних зощенковских миниатюр, в которых юный штабс-капитан предстает наивным эпигоном символизма, тяготеющим скорее даже к Оскару Уайльду, чем к Метерлинку, — уж больно много там бижутерии.

«Костюм маркизы» (*Ноктюрн*): «Я увидел тебя в этом костюме цвета твоих глаз и понял, что люблю тебя, люблю, как редко кто умеет любить... Я хочу тебя, голубую маркизу опять увидеть в музыке... Фу, какая ты смешная в этих голубых тряпках...»

«Каприз короля»: «На окраине города — белый замок... Замок вассала Огумы... Ковры и шкуры, камни-бриллианты и золото всюду... Ночью из замка Огумы бежала красавица Геда...»

Огума, Геда — как это, должно быть, звучало в весеннем Петрограде 1918 года!

«И тени росли, и вытягивались, и сплетались в причудливые фигуры. И в каждой тени была нежная печаль по уходящему солнцу», — кто бы, уважаемые товарищи граждане, угадал на литературной викторине автора этих строк — Михаила Зощенко?

Его письма революционной эпохи тоже дышат романтизмом — стремлением высизиться над обыденностью.

Будущей жене В. В. Кербиц-Кербицкой в январе 1918-го: «Это был месяц, когда я думал, что вот еще миг — и я взойду на высоту, может быть, на Голгофу, где Мудрость небожителей и истина богов, где счастье...»

Той же В. В. Кербиц-Кербицкой в августе 1924-го: «И мы должны любить ложь. И мы верим ей, ибо как можем мы поверить правде, если правда всегда скучна и часто уродлива, а ложь нежна, красива и таинственна».

В марте 1920-го: «Пока я посылаю тебе 2 любимейшие мои книги — конечно, Блок и, конечно, Ницше».

«Нездешний» Блок («Было так ясно на лике его: Царство мое не от мира сего») и гиперромантик Ницше («Что такое обезьяна по сравнению с человеком? Посмешище либо мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для Сверхчеловека — посмешищем либо мучительным позором»). Таковы были кумиры молодого Зощенко, о котором столько десятилетий спорили, представитель он мещанства или обличитель оногo. А царство его между тем было не от мира сего.

Мне кажется, Зощенко десятилетиями пытался раздавить свой собственный романтизм и надорвался именно в этой борьбе.

Письмо матери из Архангельска (декабрь 1917-го) о предложении выгодно жениться, чтобы выбраться из нищеты: «Но мудрость такая пригодна кроту! Я вижу здесь женщин: многие из них обезьяны со смешными ужимками и обезьяньими ласками»; «И пока я дерзко смеюсь всем в лицо. Всем...»

И с тайным страхом спрашиваю себя: «Силен ли ты? Не лучше ли сразу? Ведь помни: чем сильнее борьба, тем больше мучений».

Человек живет не только в миру, но и в мироздании, и социальные унижения так глубоко нас ранят именно потому, что открывают нам глаза на нашу мизерность перед безмерностью вселенной, нашу беспомощность перед смертью, старостью, болезнями, утратами, и Зощенко переживал этот экзистенциальный ужас с не меньшей пронзительностью, чем Толстой и Бунин. Его угнетала не столько власть хамов и тиранов над телом, сколько неизмеримо более страшная и унижительная власть материи над духом. Изображая простачка, он оскорблялся вещами более чем серьезными:

почему, например, человек главным образом состоит из воды, что он, гриб или ягода? Да и все остальное в человеке в высшей степени посредственное, уголь, кажется...

Ослепительный юмор Зощенко — это глумление над собственным отчаянием.

И как же была примитивна советская критика, когда приняла его за глумление над советскими людьми...

В августе 1946-го в докладе партийного босса А. Жданова Зощенко был назван пошляком и подонком, проповедником гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, лишен «рабочей» продуктовой карточки; издательства, журналы и театры стали разрывать заключенные с ним договоры, требуя возврата авансов...

Писатель-орденоносец перебивался переводами, распродал вещи и даже пытался подрабатывать в сапожной артели. Стараясь хоть немного «отмыться», он написал Сталину письмо, поразительное по искренности и наивности.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в Красную Армию и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.

...Меня самого никогда не удовлетворяла моя сатирическая позиция в литературе. И я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это было нелегко сделать — так же трудно, как комическому актеру играть героические образы.

...Прошу мне поверить — я ничего не ишу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверю Вас.

Однако никакой ошибки не было: Сталин и не предполагал, что Зощенко трудится на благо помещиков и банкиров — достаточно было того, что мироощущение Зощенко не совмещалось не только с коммунистическим, но и *ни с каким другим пафосом*: «Жизнь, на мой ничтожный взгляд, устроена проще, обидней и не для интеллигентов».

В этой жизни нет места ни подвигам, ни иностранцам. И надо же судьбе было подстроить такой поворот сюжета, чтобы заключительный удар певцу провинциальной затхлости нанесли англичане...

После смерти Сталина положение Зощенко начало чуть-чуть налаживаться, однако в мае 1954-го во исполнение лозунга «Запад нам поможет!» туристическая группа английских студентов, за кого эти провокаторы себя выдавали, попросила устроить им встречу с Зощенко и Ахматовой. Во время встречи эти мерзавцы задали двум истерзанным гениям вопрос, согласны ли они с инквизиторским постановлением. Ахматова гордо сказала «да» (ее сын находился в ГУЛАГе), а Зощенко ответил, что с политическими претензиями он согласен, но насчет того, что он трус и подонки, постановление слегка погорячилось.

Новая волна травли ввергла его в глубокую депрессию, которая, в сущности, и свела его в могилу. Незадолго до смерти на юбилее Евгения Шварца Зощенко произнес печальные слова: когда-то я хотел от людей доблести, потом хотел порядочности, а сейчас хочу только приличий.

Он хотел малого, но и этого не получил...

Зато его герои, пропустив над головой все идеологические цунами, не позволили идеократии проникнуть в глубину бытия. Можно сказать, что именно они в гораздо большей степени, чем интеллектуалы, подготовили явление демократии и либерализма.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

«Тихий Дон» был козырем советской власти — паренек из освобожденных низов преподносит миру гениальный роман. Устраивающий всех: либеральной интеллигенции и Нобелевскому комитету нравились ужасы революции, почвенникам — страдания народа, а власти — кара, постигшая Григория и Аксинью за безыдейность. Но — литературных героев мы любим не за правильность, а за красоту.

Григорий и Аксинья не менее прекрасны, чем Ромео и Джульетта, зато с первых же страниц физически ощутимы, особенно Аксинья: березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги, пятнышко уроненной во сне слюны, бурые круги слинявшей под мышками рубахи — это не первый бал Наташи Ростовской... Кто из классических женских образов представал перед публикой изваянным в золе?

Шолохов не боялся показать своих героев ни звероватыми, ни вульгарными: «Иди свою толстозадую учи!», «Сучка не захочет — кобель не вскочит» — любовь все равно выжжет любовь грязь.

Она пробьется сквозь семейный долг, измены, войны, голод, тиф, и ее трудно назвать высоконравственной — она почти без жалости растаптывает прелестную Наталью, и в защиту свою она может сказать только одно: я стихия. На берегах этой великой реки, неудержимой, как сам тихий Дон, и разворачивается история — история поглощения многокрасочного и раздрызганного серым и сплоченным. Там, где появляются большевики, не только язык — тускнеет даже пейзаж. И серое в конце концов побеждает. Захватив своей химерой самых озлобленных (Валет) и самых доверчивых (Кошевой) из мира многокрасочных.

Но на чьей же стороне сам автор? Жена Шолохова вспоминала, что, завершив роман, писатель встретил ее с лицом, залитым слезами. И эти слезы и есть подлинный ответ на вопрос, кто хорош, а кто плох: если Гражданская война истребляет так полубившихся нам людей, значит, будь проклята эта война.

С обаянием главного героя советская критика боролась десятилетиями, объявляла Григория отщепенцем, оторвавшимся от народа и за это понесшим справедливое наказание. Сам же Шолохов очень долго помалкивал, но незадолго до смерти в телеграмме литературоведу С. Шешукову высказался с предельной ясностью, назвав «концепцию» (кавычки шолоховские. — А. М.) об отщепенстве Григория Мелехова построенной «на антиисторизме, незнании правды жизни». Это был запоздалый, но очень достойный ответ.

Правда, выраженный тоже столь казенными словами, что в душе невольно в сотни раз возникает изумление: почему великий мастер слова за пределами своего романа предстает едва ли не партийным работником — ну, чуточку более живым, умеющим в общении с народом иной раз отпустить простецкое шутовское словцо.

Ведь все — не говорю великие, просто крупные писатели, рассуждая о литературе, всегда умеют сказать что-то оригинальное, открывшееся им одним в их личном опыте. Но страницу за страницей вчитываясь в статьи и речи Шолохова, не можешь отыскать ничего, кроме народности и партийности.

Гениальный художник, на деле показавший, какая все это чушь — и разрушительная чушь! — политические химеры в сравнении с вещами вечными — жизнь, смерть, любовь, дети, — этот же самый художник желает подчинить служение вечному какой-то политической однодневке (а в политике и не бывает ничего, кроме однодневок).

Раздражало и то, что Шолохов выглядел любимцем власти — только после его смерти сделались известны его почти безумные по безоглядности письма Сталину

о зверствах, творимых во время коллективизации, об искусственном голоде 1933-го, о репрессиях 1937-го. Эта унижительная картина даже у самых страстных почитателей грандиозного романа — а может быть, именно у них в первую очередь — вызывала желание отделить великую книгу от ее автора. В основном Шолохову вменялось в вину, что он был слишком молод и недостаточно образован, чтобы так хорошо знать Гражданскую войну и, особенно, дореволюционную жизнь.

Но особого знания образованного общества Шолохов и не демонстрирует, описание офицерства, хуторской интеллигенции отдает стилизацией — почти все мы где-то еще читали. Больше смущают в его военных и послевоенных вещах огромные дозы казенной серости.

Но... Это многих славных путь. Сравните «Разгром» Фадеева с его «Черной металлургией», сравните «Хулио Хуренито» Эренбурга с его же «Бурей», сравните начало и конец Федина, Тихонова, Александра Прокофьева, — даже таких свехоригинальных гениев, как Заболоцкий, Зощенко, Платонов, советская власть сумела сдвинуть в сторону ординарности.

Зато если перечитать «Донские рассказы» и «Поднятую целину», в них обнаруживается ровно та же рука: многие фрагменты можно перенести в «Тихий Дон», и никто не заметит. Все определила *мизерность замысла*: в одном романе изображалась гибель вселенной — в другом успехи колхозного строя. Похоже, на свою беду, Шолохов поверил, что партия такая же величественная, вечная стихия, как природа или народ.

Серое, однако, на наше счастье, стирается первым. Зато многоцветное сквозь толщу лет сияет все ослепительнее.

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

Иосиф Соломонович Гроссман родился в год Первой русской революции в классическом Бердичеве в просвещенной еврейской семье. Его отец, Соломон Иосифович (Семен Осипович) Гроссман, был инженером-химиком, выпускником Бернского университета и в течение нескольких лет состоял членом Бунда и РСДРП. Долгое время работал инженером в Донецком угольном бассейне и других шахтах. Мать, Екатерина Савельевна Гроссман (урожденная Малка Зайвелевна Витис), тоже происходила из состоятельного семейства и получила образование во Франции. Она преподавала в Бердичеве французский язык до своей гибели в 1941 году во время холокоста. Родители писателя оформили брак в 1900 году в Турине, но скоро развелись, и маленький Йося воспитывался матерью. Именно из Йоси родился будущий Вася, Василий Гроссман.

После развода Екатерина Савельевна с сыном жила в семье своей сестры в Бердичеве, а когда Иосифу было шесть лет, они с матерью переехали сначала в Женеву, затем в Лозанну, а незадолго до начала Первой мировой перебрались в Киев, где жил его отец. Там Гроссман поступил в реальное училище, где учился до 1919 года. В годы Гражданской войны они с матерью снова вернулись в Бердичев, где будущий писатель учился и работал пильщиком дров. В конце концов в 1929 году он окончил химическое отделение физико-математического факультета Первого Московского государственного университета. Затем в течение трех лет он работал инженером-химиком в Макевском научно-исследовательском институте по безопасности горных работ и заведовал газоаналитической лабораторией на угольной шахте в Донбассе, затем сотрудником химической лаборатории в Донецком областном институте патологии и гигиены труда и ассистентом кафедры общей химии в Сталинском медицинском институте.

В 1933 году он переехал с женой в Москву, где «дорос» до заведующего лабораторией и помощника главного инженера на карандашной фабрике имени Сакко и Ванцетти.

Иными словами, Гроссман «знал жизнь» не понаслышке.

В апреле 1934 года в «Литературной газете» он дебютировал с рассказом о Гражданской войне «В городе Бердичеве», где женщина-комиссар в духе романтики тех лет оставляет новорожденного младенца и уходит в бой. В том же году при поддержке Максима Горького опубликовал в газете «Литературный Донбасс» имевшую успех повесть из жизни шахтеров Донбасса «Глюкауф» (пожелание шахтеров выбраться из-под земли живым и здоровым). Так что в его первой революционной эпопее конца тридцатых «Степан Кольчугин», написанной в манере горьковской «Матери», видно хорошее знание донбасского производственного быта.

Затем война. Как специальный корреспондент «Красной звезды» Гроссман всякого повидал на многих фронтах, а во время битвы за Сталинград оставался в городе все страшные дни и ночи, в том числе и на передовой. Виктор Некрасов впоследствии вспоминал, с каким уважением бойцы относились к Гроссману, державшемуся подчеркнуто по-штатски, хотя многие военные корреспонденты любили изображать прожженных окопных волков.

Гроссман лишь после освобождения Бердичева узнал, что его мать еще в сентябре 1941-го была расстреляна нацистами, и тема холокоста осталась его личной болью до конца его дней. После войны вместе с Эренбургом они составили «Черную книгу» свидетельств и документов о холокосте, но в Советском Союзе книгу издать отказались, опасаясь, что трагедия евреев заслонит общенародную трагедию.

Однако общенародной трагедии Гроссман посвятил грандиозную дилогию «За правое дело» и «Жизнь и судьба», над которой он работал с 1946-го по 1959 год. Даже и первая книга, напигигованная всеми положенными славословиями Сталину и партии, проходила в печать с трудом и подвергалась опаснейшим наездам, но во второй, «оттепельной» Гроссман дал себе волю. Там были и лагеря, и доносчики-комиссары, и холокост — но и богатырский образ народа, великое Мы, сломившее самую могучую военную машину мировой истории.

Должен, правда, сказать, что в своем могучем романе Гроссман все же довольно-таки ученически воспроизводит схему «Войны и мира» вплоть до того, что, наткнувшись на неодолимое сопротивление русских при Бородине, Наполеон утрачивает свое сверхчеловечество и понимает, что незащищен перед случайным ядром или отрядом противника, и впервые со страхом смотрит на тела убитых, а Гитлер, ощутив свое бессилие в Сталинграде, начинает понимать, что ему может выстрелить в спину каждый часовой, и со страхом вспоминает технические устройства для уничтожения людей, которые еще недавно обсуждал с олимпийским спокойствием. Подобно Толстому, Гроссман тоже усматривает источник воинской доблести в «роевом» начале — в чувстве «мы»: когда «мы» начинает распадаться на отдельные «я», распадается и воинский дух армии.

Роман мог выйти в журнале «Знамя» года на два раньше солженицынского «Ивана Денисовича» и наверняка сделался бы еще большей мировой сенсацией, но — рукопись романа оказалась в КГБ. Была ли это инициатива главреда Вадима Кожевникова, или к этому привел общий порядок контроля, но роман был арестован вместе со всеми разысканными экземплярами.

Гроссман требовал «вернуть свободу» главному труду его жизни, но верховный идеолог Суслов четко разъяснил, что роман может быть напечатан в СССР не раньше, чем через 200–300 лет.

Гроссман ненадолго пережил эту катастрофу, а вот роман, сохранный и вывезенный за границу, многими признается «Войной и миром» XX века.

По «широте охвата» и по силе воздействия «Жизнь и судьба» вполне тянет на национальный эпос, только изображение Страны Советов очень уж жестко и бескомпромиссно, умилиться нечему. И все-таки там нет ни намека на какую-то равноценность сталинизма и гитлеризма: все, кто сражается с немцами, — безоговорочные герои, в романе нет и намека на какое-то снисхождение к предателям. Политическая обслуга — да, она путается у героев под ногами и в любой миг готова устроить им какую-то пакость, чтобы выслужиться, но ее подловатость не отбрасывает тени на невероятное мужество и жертвенность тех, чьим коллективным подвигом добыта победа.

И в конце концов, при всей жестокой правде, которую политические прохвосты называли очернительством, роман в итоговом прочтении звучит настоящим гимном.

Гимном Народу-победителю.

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

Его отец был профессиональным революционером из казаков: подполье, тюрьмы, ссылки, в Гражданскую высокие военно-политические посты, затем высокие хозяйственно-политические, в 1938-м расстрел. Мать — зоотехник, инженер-экономист и детская писательница Евгения Лурье тоже была репрессирована, но осталась жива. Будущего писателя воспитывала бабушка, в прошлом тоже революционерка и участница Гражданской войны с высокими политическими связями, более опасными, чем полезными.

Так что Трифонов прошел суровую советскую школу. При всей тяге к литературе потруился на авиационном заводе слесарем, дослужившись до диспетчера цеха. Весной—осенью 1945-го редактировал заводскую газету, уже будучи студентом-заочником Литературного института. Потихоньку начинал печататься, а его дипломная работа — повесть «Студенты», в 1950 году опубликованная в «Новом мире», принесла молодому автору шумную славу и Сталинскую премию третьей степени. Правда, после этого он чуть не вылетел из института за сокрытие ареста отца.

«Студенты» на тогдашнем фоне и правда подавали заметные признаки жизни, хотя все соцреалистические каноны там были соблюдены: профессор-космополит изобличен, блестящий молодой человек оказался прохвостом, а простой, не хватающий звезд с неба парень — надежным и «нашим» и т. п.

Роман 1963 года «Утоление жажды» о строительстве Каракумского канала художественными качествами был изрядно выше, но не настолько, чтобы привлечь внимание интеллигентных ценителей литературы. Документальная повесть 1967 года «Отблеск костра» затрагивала острую по тем временам тему репрессий, но на основы не покушалась: романтизация реабилитированного отца воспринималась общепринятой тогда романтизацией революционеров и героев Гражданской войны, комиссаров в пыльных шлемах, на чьих лицах лежит отблеск костра истории.

Высочайший авторитет у советской интеллигенции Юрий Трифонов завоевал тогда, когда с 1969-го по 1976 год одна за другой начали выходить его «московские повести»: «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной». Точная живопись, лиризм, тонкий психологизм — это была действительно превосходная проза. К тому же для тех времен, требующих оптимизма и героев без страха и упрека, сквозная тема «обмена» юношеского романтизма на мешанский комфорт была сама по себе пикантной. Мало кто обращал внимание, что упреком изменившим себе персонажам служат проходящие на дальнем плане все те же старые революционеры...

Мария ЧЕРНЯК

«ОГЛОХШИЙ КОМПОЗИТОР» ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

24 февраля 2025 года исполняется 130 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Вячеславовича Иванова. Вс. Иванов, активно присутствующий в литературном процессе 20–60-х годов, считался «советским классиком», произведения которого постоянно переиздавались, а сам автор неизменно награждался различными премиями в области литературы. Но такое благополучное на первый взгляд существование было одним из многочисленных советских мифов. Творчество писателя оказалось не только беспощадно урезанным (любимые и значимые для Иванова романы «Кремль», «У», фантастические повести и др. оставались в письменном столе) — нарушилась иерархия «проходных», подчас написанных в угоду времени и особенно важных для самого автора произведений; последовательность «разрешенных» произведений не соответствовала истинной последовательности их создания, нарушилась художественная преемственность, целостность творчества писателя. Об этом очень точно писал В. Шкловский: «Его меньше издавали, больше переиздавали. Его не обижали. Но, не видя себя в печати, он как бы оглох. Он был в положении композитора, который не слышит в оркестре мелодии симфоний, которые он создал. <...> В театре шел „Бронепоезд“. В столе лежали написанные, непринятые пьесы. Всеволод был заключен в своем прошлом, при жизни произведен в классики. У входа в его жизнь поставили каменные ворота из лабрадора... Лабрадор загораживал жизнь». Эти слова В. Шкловского заставляют задуматься о том, сколько в послереволюционной литературе таких судеб «оглохших композиторов». «Для людей моего поколения он остался водителем „Бронепоезда“»¹, — писал о Всеволоде Иванове французский писатель Л. Арагон.

Т. В. Иванова, вдова Всеволода Иванова, много лет занимавшаяся подготовкой к печати не изданных при жизни произведений писателя с недоумением писала: «...удивляет полное невнимание к впервые посмертно опубликованным произведениям. <...> Чем объяснить этот как бы заговор молчания вокруг ставших доступными читателям лишь после смерти автора его романов, рассказов, пьес? <...> Так ли уж неисчерпаемо богата наша литература сегодня, чтобы можно было закрыть глаза на ее былые, но лишь теперь ставшие известными достижения?!»² Если долгие годы слова Тамары

Мария Александровна Черняк — доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена, публикатор архивных материалов семьи Ивановых.

¹ Большой художник, певец революции. Зарубежные друзья о Всеволоде Иванове / Подг. Л. Копелевым // Интернациональная литература. 1963. № 10. С. 271.

² Иванова Т. В. Мои современники, какими я их знала. Очерки. М., 1987. С. 244.

Владимировны были без ответа, то последние годы уже XXI века дают возможность говорить о новом рождении Всеволода Иванова пусть пока не для массового читателя, но для истории литературы XX века точно. И связано это с довольно репрезентативным количеством опубликованных серьезных научных изданий.

Так, в 2006 году в Институте мировой литературы (ИМЛИ РАН) была создана научная группа под руководством члена-корреспондента РАН Н. В. Корниенко и поддержке академика Вяч. Вс. Иванова, включавшая ученых из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова, которая начала систематически работать по возвращению имени Иванова в большую русскую литературу и в большую науку. В течение нескольких лет в ИМЛИ РАН силами ученых-исследователей и при поддержке наследников писателя были подготовлены и вышли в свет «Дневники» писателя (сост. М. В. Иванов, Е. А. Папкина, отв. ред. А. М. Ушаков; 2001) и сборник «Неизвестный Всеволод Иванов: Материалы биографии и творчества» (сост. Вяч. Вс. Иванов, Е. А. Папкина, отв. ред. Е. А. Папкина; 2010).

Литературные юбилеи становятся уже не просто данью памяти и поводом для празднований, но мощным культурным катализатором, влияющим на состояние исторической памяти. Действительно, 120-летие со дня рождения в 2015 году, а ранее, в 2013-м, — 50-летие со дня смерти Вс. Иванова способствовали ряду культурных инициатив, сплотив ученых и исследователей разных городов. Так, например, с 2013 года, в Новосибирске по инициативе заведующей Городским центром истории новосибирской книги Н. И. Левченко и при поддержке Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской областной научной библиотеки проходят литературно-краеведческие Ивановские чтения.

Работа, направленная на публикацию произведений из семейного архива Всеволода Иванова, а также из архивов Сибири, на переиздание преданных забвению с 1920-х годов бдительными цензорами его книг, создавшая серьезную источниковедческую базу, неизбежно должна была повлечь за собой следующий этап — появление обобщающих литературоведческих трудов, где возвращенное наследие стало бы объектом научной рецепции. В разделе «Сибирский период творчества Всеволода Иванова 1915—1921 гг.» в издании «Неизвестный Всеволод Иванов: Материалы биографии и творчества» было републиковано более семидесяти не печатавшихся с 1910-х годов стихотворений, рассказов, сказок, легенд, прозаических миниатюр и очерков начинающего писателя. Часть этих текстов, включенных в самодельные сборники Иванова «Зеленое пламя. Рассказы и сказки. 1916—1917 гг. Курган—Омск», «Рассказы» (1919) и первую печатную книгу «Рогульки» (1919), исследователям, работавшим в семейном архиве, была известна, однако сами произведения до 2010 года не переиздавались.

Среди изданий последних лет особое место занимает издание сборника рассказов Всеволода Иванова «Тайное тайных», подготовленное внучкой писателя Е. А. Папковой в «Литературных памятниках» в 2012 году. Книгу рассказов «Тайное тайных» Вс. Иванов обоснованно считал лучшим своим достижением в этом жанре. «Говорят, мать из всех своих детей наиболее любит самого уродливого. Если верить критике, самой уродливой моей книгой было „Тайное тайных“, и я очень любил ее», — писал Иванов незадолго до смерти. Входящий в литературу накануне революции, идеологии которой поставили своей глобальной задачей изменить исторический путь страны, Иванов стремился отразить в книге разрушение национальных идеалов и святынь и его страшные последствия для судьбы народа. Яркие, новеллистически заостренные, написанные блестящим психологом и стилистом рассказы Иванова раскрывают перед читателем «тайное тайных» души человека: его отчаяние и веру, любовь и разочарования, утраты и спасение.

Книга «Тайное тайных» подводила итоги десятилетней писательской деятельности Вс. Иванова, в 1915 году в Сибири начинавшего свой творческий путь со стихотворений, очерков, рассказов, сказок и легенд, часто основанных на региональном фольклоре, — тенденция, сохранившаяся в художественной практике писателя на долгие годы. В идейной самостоятельности Иванова и несходстве его прозы с господствующим каноном была одна из причин нелегкой издательской судьбы сборника рассказов и повестей «Тайное тайных». Он впервые был издан в 1927 году, в том же году переиздан, а дальше в полном виде не издавался и был объявлен вредным и ошибочным. Против Иванова и его рассказов в официальной советской прессе начала сталинского периода шел шквал критических статей с самыми тяжелыми идеологическими и политическими обвинениями. Немногочисленные рассказы из этого сборника, которые удавалось переиздать отдельно, часто подвергались стилистической правке редакторов. Уникальность издания 2012 года состоит в том, что впервые рассказы опубликованы без поздних редакторских и цензурных искажений текста, что представляет собой несомненный текстологический интерес. В сборник включены рассказы практически неизвестные, впервые опубликованные в 1916—1921 годах, подготовившие появление книги «Тайное тайных», и переписка 1924—1928 годов писателя с А. М. Горьким. Комментарии и представленный в книге литературный контекст дает возможность понять тягу Вс. Иванова к совсем необычному писательству, с одной стороны, а с другой — осознать то непростое время, в которое создавались эти рассказы. Уникальным дополнением к этому тому «Литературных памятников» стала монография Е. А. Папковой «Книга Всеволода Иванова „Тайное тайных“: на перекрестке советской идеологии и национальной традиции» (М.: ИМЛИ РАН, 2012). Эту книгу можно считать важным историко-культурным комментарием к творчеству писателя. И это связано с тем, что в последнее время в научный оборот введено большое количество документов, открывающих неизвестные страницы массовой народной жизни первых послереволюционных лет и периода нэпа. Недоступные ранее архивные материалы по истории Гражданской войны и «нэповской оттепели» в Советской России дали возможность рассмотреть литературу этого периода и, в частности, творчество Иванова в совершенно ином историко-политическом контексте. «Процесс осмысления рассказов „Тайное тайных“ нельзя считать завершенным и сегодня, когда сама неисчислимость вариантов их прочтения служит подтверждением истины о том, что каждому времени художественное произведение поворачивается новыми сторонами и у каждого смысла есть свое время пробуждения», — справедливо пишет о книге Иванова Л. П. Якимов, сибирский ученый, доктор филологических наук, исследователь творчества Вс. Иванова.

Книга Л. П. Якимовой «При жизни возведен в классики: Всеволод Иванов в историко-литературном контексте 20—30-х годов XX века» (Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2019) объединяет статьи, посвященные исследованию произведений, созданных Вс. Ивановым в основном после цикла партизанских повестей и отмеченных актуализацией авторского кредо «тайное тайных». Подвергнутые неистовой критике «рапповцев», цензурным гонениям и запретам, многие из них, как «Кремль», «У», «Вулкан», «Проспект Ильича», увидели свет только после смерти писателя. Прочитанные заново, они составили в книге раздел «запрещенных романов». Особый раздел представлен статьями, рассматривающими художественные искания Вс. Иванова 20—30-х годов прошлого века в сопоставлении с творческим опытом его современников — Л. Леонова, К. Федина, Б. Пильняка и др. Глубокий и всесторонний анализ не только творчества Вс. Иванова, но и широкого литературного контекста эпохи позволил Л. П. Якимов-

вой доказать точность слов Д. С. Лихачева о том, что словесность «имеет дело прежде всего с человеком, стоящим за текстом». Творческий опыт Всеволода Иванова подтверждает сказанное в абсолютной степени безоговорочности. И не только объективной сутью своего творческого наследия, но и личными высказываниями он подтверждал эту истину: «Все реально в этом мире... — размышляет он в романе „У“. — Выдумка, миф, роман, сказка созданы человеком и в человеке. Материя, организованная человеком, есть время. Движение материи есть пространство. Материя и человек — вот главная сказка». Творческая отдача Вс. Иванова 20-х годов потрясает своей интенсивностью. И коллеги-писатели, и читатель не перестают удивляться его феноменальному дару воспроизводить бурный поток наступившего времени в неисчислимом многообразии лиц, характеров, типов, жизненных историй и судеб. Применительно к произведениям Вс. Иванова Л. П. Якимов справедливо выдвигает на первый план идейно-эстетический концепт «тайное тайных», который «выходит за пределы проявления в рамках одной книги и предстает как общая почва развития творческой мысли писателя в целом».

В контексте нового «иванововедения» XXI века нельзя не назвать очень важное для осмысления творчества писателя издание: «Всеволод Иванов „Бронепоезд 14-69“: Контексты эпохи» (сост. Е. А. Папкова. М.: ИМЛИ РАН, 2018). В этом издании впервые представлено классическое произведение русской литературы, выполненное в жанрах повести, пьесы и литературного сценария. Эти варианты «Бронепоезда 14-69» создавались на протяжении более 40 лет (1921—1963), но были известны в основном в искаженном цензурной правкой виде. Публикуемые тексты сопровождаются реальным комментарием и аналитическими статьями, в которых на основе новых исторических документов, сибирской периодики, воспоминаний, дневников, писем и других материалов рассказывается о Гражданской войне в крупнейшем регионе России — Сибири. Важно отметить, что в подготовке книги участвовали историки, филологи и краеведы из Москвы и двух городов Сибири, с которыми связан сибирский период биографии писателя, — Омска и Новосибирска. Изучались документальные материалы в фондах ГАРФ, РГАЛИ, НИОР РГБ, Государственного исторического архива Омской области, Центра изучения истории Гражданской войны (Омск), Государственного архива Новосибирской области, Городского центра истории Новосибирской книги, семейного архива Вс. Иванова; в РГБ, РНБ, Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина обследовалась региональная периодика.

Рассматривая события Гражданской войны в Сибири сквозь призму одной писательской биографии, составители книги стремились с максимально возможной на сегодняшний день полнотой рассказать о жизни Вс. Иванова периода 1917—1921 годов. Представляя по-разному главные моменты сибирской биографии Иванова: членство в партиях, участие в обороне Омска во время мятежа Чехословацкого корпуса летом 1918 года, сотрудничество в газете «Вперед», поддерживающей правительство А. В. Колчака, эвакуацию и отъезд на восток в ноябре 1919 года, — все эти материалы, поставленные рядом и подкрепленные реальным комментарием, образуют достаточно объемную картину жизни Омска советского, Омска как столицы Автономной Сибири и как столицы «белой» России в течение 1917—1921 годов. На протяжении ряда лет Иванов не просто являлся свидетелем и участником Гражданской войны, но видел «правду» и заблуждения разных противостоящих друг другу сил и постарался передать их в «Бронепоезде 14-69». Это делает его уникальным произведением литературы XX века, где противоборствующие силы художественно представлены практически с равной степенью глубины и полноты. В воспоминаниях Г. Дружинина, К. Урманова,

Б. Четверикова Вс. Иванов предстает также далеко не идеальным, но зато живым и многогранным. Эти абсолютно новые материалы дают возможность пролить свет и на «белогвардейское» прошлое писателя. Вообще, составителям книги удалось показать заинтересованному читателю, что «проследить «дорогу» «Бронепоезда 14-69» — это значит во многом понять историю русской революции и Гражданской войны, своеобразно преломившуюся в одном, ставшем классическим для литературы XX века произведении.

Живой и многогранный портрет писателя рисует в своих воспоминаниях сын писателя, выдающийся ученый Вяч. Вс. Иванов³. Рисуя далеко не парадный облик автора «Бронепоезда 14-69», он вспоминает, что у Всеволода Иванова «было ощущение не-всамделишности того, что с нами происходит в жизни, очень сильное».

Важно отметить и книгу В. Н. Яранцева «Всеволод Иванов. Жизнь неслучайного писателя», которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в 2024 году. Учитывая все новые исследования и архивные публикации, автор биографии создает сложный портрет «человека эпохи», отношения которого с «официальной литературой» постоянно усложнялись: от «буржуазных» рассказов, составивших книгу «Тайное тайных», Иванов двигался в сторону сотрудничества с властью — вплоть до участия в освещении строительства Беломорканала и организации первого съезда советских писателей. Яранцев показывает, как непросто было не погубить себя как личность в напряженной атмосфере второй половины 30-х. Но, по мнению автора, Иванову все же удалось сохранить в душе то сокровенное, что отличает лучшие его произведения, сочетающие реализм и «орнаментальную» образность, наследующие поэзии фольклора, имажинистов и футуристов.

К сожалению, лишь сегодня в полной мере мы можем осознать горькую правоту слов В. Шкловского, признававшегося: «Я в долгу перед Всеволодом, не написав прямо и внятно, какой он большой писатель и как в нем время не узнало свое же собственное будущее. Время мало дорожило такими людьми, как он. Казалось времени, что оно будет рождать гениев непрерывно». Очевидно, что представленные публикации последнего времени доказывают, что творчество Вс. Иванова, рассмотренное без изъятий и купюр, взятое в целостном контексте эпохи, позволяет не только постичь своеобразие творческого пути талантливого прозаика, но и представить некоторые обобщенные черты литературного процесса 20—50-х годов, его внутреннюю конфликтность, сложность и неоднозначность.

В 130-ю годовщину со дня рождения Вс. Иванова остается актуальным и значимым вопрос о жизнеспособности эстетических экспериментов писателя, о его месте не только в читательской аудитории (рецепция многих возвращенных в конце XX века произведений малоизучена), но и в сознании современных читателей. Интерес зачастую вызывает не фигура конкретного писателя с его индивидуальным творческим путем, а общие маршруты экспериментов, поисков, жанровых трансформаций. Как вспоминала вдова писателя Т. В. Иванова, особенностью его творческой работы было то, что он не мог вносить в текст какие-либо даже небольшие изменения. Садясь править, Иванов в 30–50-е годы просто переписывал заново все произведение, учитывая многочисленные требования, предъявляемые временем, издательством, театром. Т. В. Иванова рассказывала: «Часто я спрашивала Всеволода: — Зачем ты сам, своею рукой, портишь то, что тобою создано? Он отвечал мне в зависимости от настроения. Чаще всего он был уверен в тот момент, что не портит, а улучшает. Но бывало и так, что с уверенностью говорил: — Первый-то вариант останется. Потом разберутся.

³ «И Бог ночует между строк...». Вячеслав Всеволодович Иванов в фильме Елены Якович. М.: АСТ Corpus, 2019.

Он был убежден, что *это потом настанет*» (выделено мной. — М. Ч.)¹. Можно с уверенностью сказать, что это «потом» наступило: качественные, текстологически выверенные издания произведений Вс. Иванова и прокомментированные архивные материалы, безусловно, в какой-то мере восстанавливают историческую справедливость.

«Он верен себе в таком смешении цирка и богоискательства, карнавала и мистики, самых удивительных фантазий и описаний тогдашнего чуть ли не средневекового кочевого быта», — писал Вяч. Вс. Иванов, представляя творчество своего отца как одного из самых оригинальных писателей XX века. Выскажем надежду, что в год 130-летия со дня его рождения современный читатель найдет в творчестве Вс. Иванова близкие своей душе страницы.

Елена ПАПКОВА

ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ: ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

История во многом определяет развитие искусства, в свою очередь деятели искусства дают свои ответы на вопросы, поставленные эпохой. Писатели, чей творческий путь складывался в первой половине XX века, в своих произведениях размышляли о тех ценностях и смыслах, которые им предложило время, принимали их или, напротив, создавали свою систему ценностей, им противостоящую. Одним из таких писателей был Всеволод Вячеславович Иванов, 130-летие которого отмечается 24 февраля 2025 года.

Кратко охарактеризовать время, в которое Иванову выпала доля жить и творить, можно, используя две формулировки. Одна из них принадлежит политику. В 1925 году известный политический деятель Г. Зиновьев использовал знаковые слова: «Эпоха войн и революций». Так называлось письмо Исполкома Коминтерна (III Коммунистического интернационала) X съезду Коммунистической партии Германии, которое открывалось словами: «Формула „Эпоха войн и революций“ родилась в начале 1900-х годов. В то время весь марксистский лагерь сходил на том, что именно эта формула определяет надвигающиеся мировые события»². Вторая формула принадлежит писателю. В стихотворении «De profundis» 1944 года А. Ахматова писала о том историческом времени, в котором формировались мировоззрение и творчество писателей, входивших в литературу на рубеже веков и в начале XX века: «Две войны, мое поколение, освещали твой страшный путь».

Елена Алексеевна Папкина — доктор филологических наук, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, Москва, внучка Всеволода Иванова, публикатор архивных материалов писателя.

¹ Иванова Т. В. Мои современники, какими я их знала. Очерки. М., 1984. С. 48.

² Зиновьев Г. Эпоха войн и революций. Письмо Исполкома Коминтерна X съезду Коммунистической партии Германии. Ростов-на-Дону, 1925. С. 1.

В 1915 году, когда Всеволод Иванов входил в литературу, сначала сибирскую, региональную, со своими стихами, легендами об ушедшей Сибири, рассказами о крестьянской жизни, уже второй год шла Первая мировая война и оставалось два года до Февральской и Октябрьской революций. Статью Иванова «Война и отражение ее в частушках» (1917) открывают слова, где дана двойственная характеристика мировой войне: это «гигантский мертвый шаг человечества к гибели, как говорят пацифисты, и к лучшему будущему, как говорят идеологи войны». Из приведенных в тексте частушек (например, «Нынче год какой тяжелый, / Стал германец воевать. / Мне, семейному молодчику, / Идти — не миновать»³ — и др.) и комментария автора видно, что жителям деревни, да и автору статьи, уроженцу села Лебяжье Семипалатинской губернии (ныне — Казахстан), ближе первое определение.

По-другому, как шаг к лучшему будущему, как начало борьбы «за правду, мир, справедливость»⁴ («История моих книг»), оценит начинающий писатель Февральскую революцию 1917 года, и это определит его поступки на ближайшие десять лет. Творчеству этого периода будут присущи и принятие великих целей революции, и отрицание средств ее осуществления, носящих разрушительный характер, и попытка предложить революционной России другой путь, в основе которого будут лежать или духовные ценности Древнего Востока (повесть «Возвращение Будды», 1922–1923), или надежды и чаяния народа, прежде всего крестьянства (повесть «Бегствующий остров», 1926). Путь Иванова от героических «Партизанских повестей» (1921–1923) к «упадочной», как писали советские критики, книге «Тайное тайных» (1926) точно определил критик русского зарубежья Марк Слоним: «Путь, проделанный Ивановым, — от внешнего бытовизма к изображению внутренней драмы человека, от радостного опьянения борьбой и движением революции к невеселому взвешиванию ее ценностей, — соответствует всему развитию советской литературы, за пятнадцать лет своего существования сменившей натурализм героического стиля на психологизм и моральную тревогу»⁵. Конечно, это путь не одного Иванова.

Назовем основные вехи пути писателя. В марте 1917 года он вступает в партию социал-революционеров. Летом избран членом Курганской городской думы от «группы объединенных социалистов». С конца 1917-го или начала 1918 года в течение недолгого времени — член партии меньшевиков-интернационалистов группы «Новая жизнь». Однако смена властей в Сибири на протяжении 1918–1920 годов: Советская власть, Временное Сибирское правительство, Уфимская Директория, Российское Правительство адмирала А. В. Колчака, восстановление Советской власти — порождает скептическое отношение к политике, партиям и властям, не защищающим интересов народа. А общение с представителями различных социальных слоев (мужиками-солдатами, казаками, творческой интеллигенцией), партий и политических направлений — от участников большевистского подполья до областников и убежденных сторонников «белой» идеи — приводит Иванова к стремлению объективно показать правоту и заблуждения разных сил, противостоящих друг другу в Гражданской войне.

«Партизанские повести» писателя трактовались на протяжении всей советской эпохи как произведения революционные, а многочисленные исправления, которые вносили сам автор, редакторы и режиссеры при переизданиях и в театральных постановках, еще более укрепляли читателей и исследователей в их характере. Между тем первые варианты этих текстов показывают, что Ивановым была создана гораз-

³ Неизвестный Всеволод Иванов. Материалы биографии и творчества. М., 2010. С. 117.

⁴ Иванов Вс. История моих книг // Наш современник. 1957. № 3. С. 126.

⁵ Слоним М. Портреты советских писателей. Paris, 1933. С. 72.

до более сложная картина русской революции. «Здоровый, свежий» мужик Селезнев («Партизаны») становится начальником партизан. «Смутно мужику-то, – говорит о нем крестьянин Соломиных. – Медвежья душа у человека, никак своей тропы не найдет». «Мается, мается народ и сам не знает почто», – заявляет еще один партизан, Горбылин. Да, они сражаются и погибают за «советскую власть», но для всех героев Иванова это прежде всего «власть хрестьянская», к которой они стремятся, ради которой умирают, но в возможность обретения которой как-то не очень верят. В самой наиреволюционной повести «Бронепоезд 14-69» по контрасту с ни в чем не сомневающимися председателем ревкома Пеклевановым и рабочим Знобовым показаны герои-мужики, которые задают времени и революции свои незатейливые вопросы. Напомним лишь один диалог:

Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.
 – Ну вас к черту! Никто не знат, не понимает... разбудили, побежали, а дале что? <...> Броневику-то брать. Миру побьет много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей.
 Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.
 – Жалко тебе? <...>
 – Чего? – спросил Знобов.
 – Люди мрут.
 Знобов сунул бумажонку в папку и сказал:
 – Пустяковину все мелешь. Что народу жалеть? Новый вырастет.
 Вершинин сипло ответил:
 – Кабы настоящие ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьями дверь-то открыть надо.

Далеко не случайно один из критиков русского зарубежья, Р. Гуль, отметит в произведениях Иванова подлинное «ощущение гражданской войны»: «Изумительно верно и тонко передал Иванов *тоску* этой войны и в капитане Незеласове, и в Никите Вершинине, в Обабе, в солдате „в голубых обмотках“, в беженке, „подпоясанной бечевкой“»⁶.

О последствиях «эпохи войн и революций» писал в 1928 году критик Ермилов: «На войне „преклонился разум“ не одного Агейки (персонаж романа Л. Леонова «Вор»), а сотен тысяч Агеек, Петров, Васильев, Иванов. <...> И если в отношении *социальной психики* война явилась огромным революционизирующим фактором, то в отношении *индивидуальной психики* тех сотен тысяч людей, которые были оторваны от привычных условий жизни, война не могла не явиться причиной самых разнообразных и причудливых изменений и отклонений. Она опустошила многих и многих»⁷.

Мотивы тоски, опустошения души, а также темы и мотивы бездорожья, утраты пути, блудного сына, богооставленности человека нашли отражение в лучшей книге Иванова «Тайное тайных», составленной из рассказов 1925–1926 годов, в которых отчетливо прослеживается кризис народной жизни и народной души в пореволюционное время. Заглавие книги Иванова, как отметил выдающийся ученый, сын писателя Вяч. Вс. Иванов, представляет собой грамматически измененное название восходящей к арабскому оригиналу VIII–IX веков книги «Тайная тайных», известной в Древней Руси с конца XV – начала XVI века. О тайнах человеческой души Иванов заговорил в эпоху социальной борьбы и утверждения классовых ценностей, когда популярный

⁶ Новая русская книга. Берлин, 1922. № 11–12. С. 11.

⁷ Ермилов В. За живого человека в литературе. М., 1928. С. 67–68.

журнал «Безбожник» утверждал: «...как принять понятие о бессмертной душе — частице духа божьего, если мы знаем, что наши проявления неразрывно связаны с веществом мозга и самую душу можно расписать по клеточкам, как географическую карту»⁸. Менее всего это применимо к главным персонажам книги Иванова. Автор подчеркивает чувство вины и тоску, причины которых они не могут объяснить ни желанием «доспеть до общества», создав в деревне партию («Плодородие»), ни страхом перед судом товарищей за насилие над «буржуазными женщинами» («Смерть Сапеги»). Бывшие крестьяне, ныне красноармейцы, тянутся к земле, вернуться к которой в «святое время» посева мешает служба в Красной армии («Поле»). К ним приходит любовь, воспринимаемая как болезнь или наваждение, у Тимофея Смокотинина («Жизнь Смокотинина»), Афоньки («Ночь»), Мартына («Плодородие») вызывающая желание оскорбить, ранить дорогую женщину. Отказ от веры «отцов» и тоска без нее приводят к ощущению себя потерянными, чужими в родной деревне, да и в мире в целом. Эти и другие чувства волнуют героев Иванова, крестьян или бывших крестьян. В заключительной повести книги, «Бегствующий остров», в основу которой положена русская народная утопическая легенда о праведной стране Беловодье, автор как бы предлагает скорректировать новый революционный общественный идеал народным идеалом правды и справедливости. Однако финал повести и книги в целом показывает, что если такая смена ценностей в России и возможна, то путь к ней еще очень неблизкий: «Мука-то не отсюда начинается, мука начинается с другого... Поживешь, поездишь, посвистит тебе ветер в уши, ну, глядишь и поймешь».

Не будем останавливаться на сложном периоде истории страны и творчества Иванова в последующие годы. Скажем лишь несколько слов о тех новых ценностях, которые активно обсуждались в преддверии Второй мировой войны и в начале 1940-х годов деятелями искусства, в том числе и Ивановым. В определенном смысле вопрос об этих ценностях стоит и в современном мире.

Еще во время Первой мировой войны русский художник Н. К. Рерих начал работать над Пактом о защите культурных и исторических ценностей во время войны и в мирное время. Договор «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», составленный Рерихом, был подписан 15 апреля 1935 года. «Культура есть утверждение добра — во всей его действительности. <...> Культура утверждается в сердце народа и создает стремление к строительству. <...> Культура защищает историческое достоинство народа»⁹, — писал Рерих в статье «Оборона» (1936). В 1931 году в Брюгге (Бельгия) состоялся первый Конгресс по пакту Рериха; в ряде стран началось движение за его принятие на государственном уровне¹⁰.

Весной 1935 года СССР не подписал этого пакта.

Однако 21 июля 1935 года в Париже открылся международный Антифашистский конгресс писателей в защиту культуры, во многом инициированный СССР. В предисловии к изданию, вышедшему по итогам конгресса, говорилось: «...в условиях реальной фашистской угрозы культуре и все более и более надвигающейся угрозы новой мировой бойни — с одной стороны, и великого примера социалистического строительства в СССР — с другой, естественно назрела необходимость для всех антифашистски настроенных писателей организованно выступить на защиту культуры»¹¹. На кон-

⁸ Безбожник. 1926. № 16. С. 1.

⁹ Рерих Н. К. Огонь — на меня! Избранные очерки (1936 — 1941). Новосибирск, 2020. С. 6.

¹⁰ Шапошникова Л. В. Н. К. Рерих как мыслитель и историк культуры // Рерих Н. Шамбала. СПб., 2023. С. 77–82.

¹¹ Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж. Июнь 1935. Доклады и выступления. М., 1936. С. 9.

грессе присутствовали представители 35 стран, в том числе и Вс. Иванов. Предложил ему поехать туда А. М. Горький, с которым, начиная с 1916 года, у Иванова сложились теплые, почти дружеские отношения. Как известно, культура являлась для Горького одной из базовых ценностей.

Через год после начала Великой Отечественной войны в Москве стал выходить журнал «Славяне», в котором, кстати, печатались и Рерих, и Иванов. «...Мы боремся не только во имя защиты своей свободы и независимости; мы сражаемся и во имя величайших завоеваний культуры и прогресса всего передового человечества¹², — утверждал академик Н. Державин в статье „Четверть века славянской культуры“, опубликованной в журнале в 1942 году. — Не потушить гитлеровским зверям светоча славянской культуры».

Из приведенных нами высказываний вырисовывается сущность культуры, на которую мы возлагаем чаяния и сегодня, хотя, наверное, меньше верим в их осуществление: созданная человечеством культура не только нуждается в защите, но и сама может противостоять зверству и дикости того же человечества.

Трудно сказать, было ли обращение Иванова в конце 30-х годов к ценностям культуры, к искусству закономерным на его творческом пути, или здесь оказали влияние внешние обстоятельства. Так или иначе, 22 мая 1939 года он записывает в дневнике: «Я, наверное, совершенно зря пропустил в своих писаниях тему искусства. А между тем какой это могучий и настоящий материал! Надо написать пьесу, роман, — и вообще много об искусстве. <...> Это настоящее»¹³. В 1939—1940 годах создаются пьесы «Битва в ущелье» и «Кесарь и комедианты», роман «Вулкан», во время войны — роман «Проспект Ильича» (1942), в 1945 году — «При взятии Берлина». В этих произведениях, действующими лицами которых являются художники, архитекторы, артисты кино, певица, утверждается (иногда даже навязчиво) идея о том, что культура, искусство не только обладают могущей созидательной силой, но и могут бороться со злом.

Однако и в данном случае ответ Иванова на вопрос, поставленный эпохой, историей, оказался не таким простым, и, как в период 1917—1927 годов, радостная вера сменилась невеселыми раздумьями. Свидетельство тому — роман писателя «Эдесская святыня», над которым он работал с 1946 года (Т. В. Иванова вспоминала, что первую редакцию Иванов заканчивал осенью 1946 года, после публикации постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград») до начала 60-х годов. В романе, отчасти автобиографическом, героем которого становится арабский поэт X века Махмуд иль-Каман, тесно переплетаются искусство и политика. Духовный путь главного героя символизирует дорога из родного ему Багдада, столицы сильного Багдадского халифата, в Эдессу, где хранится убрис — Эдесская святыня, а затем в Византию, столицу могущественной империи. Три государства, описанные в романе: Багдад, Византия и Русь (в других редакциях добавляются еще Болгария и Рим), — связывают сложные политические отношения, в которые волей-неволей вовлечен поэт. В редакции 1946 года роман заканчивался трагической гибелью героя, павшего жертвой «государственных соображений», которыми он в какой-то момент своей биографии стал руководствоваться.

Вряд ли стоит отождествлять ивановские Багдад, Византию и Русь с реальными государствами середины XX века, однако, несомненно, такие переключки присутствуют: «Отношение к вещам в Багдаде, Византии, Риме. Все три страны, вернее, их пра-

¹² Славяне. 1942. № 6. С. 35.

¹³ Иванов Вс. Дневники. М., 2001. С. 44.

вительства, стремятся к тому, чтобы создавались орудия войны, наилучшие: оружие, корабли, невольники. Они испытывают друг у друга — кто, как и чем это делает?»¹⁴ И рассказывая в романе о религиях разных стран (мусульманстве, христианстве, язычестве), Иванов, очевидно, имеет в виду не столько их, сколько идеологические расхождения между различными реальными государствами. Дневник писателя периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени показывает, что Иванов много размышлял об этом. И это размышления не баловня судьбы, а человека, много повидавшего и в эвакуации в Ташкенте в 1942 году, и на Орловско-Курской дуге в 1943 году, и при взятии Берлина в 1945 году. Приведем лишь одну запись: «...наши идеи состарились. Не из-за боязни перед Америкой мы говорим о России, <...> о Родине даже, о славянах, почти умалчивая о социализме и коммунизме. Что же нужно, чтобы идеи ожили? Омоложение! Оно возможно при том условии, если будут найдены новые формы, новые слова, при которых эти состарившиеся идеи заиграют» (8 сентября 1942 года)¹⁵.

Можно предположить, что ответ на свои сомнения и вопросы Иванов пытается найти для себя, и в каком-то смысле для писателей своего поколения, в третьей редакции «Эдесской святыни», работа над которой велась в 50-е — начале 60-х годов и в которой связь политики, веры и судьбы поэта еще более подчеркнута: «Халиф заигрывает с россам, которые ему не столь важны, как болгары, дружащие с россам»¹⁶; «Русские хотят использовать Свавольда в качестве человека, ведущего переговоры с Византией»¹⁷. И т. п. И ответ этот не радостный. В третьей редакции в судьбе поэта меньше акцентируются совершенные им ошибки («придворное поведение»), на первый план выходит бессилие среди политических интриг и религиозных споров и его самого, и искусства в целом.

Еще в 1922 году, обращаясь в письме к А. Н. Толстому, двадцатисемилетний Иванов писал о своей системе ценностей:

Я глубоко верю в Россию, оттого-то м. б., и работаю, что нужно. Я ведь казак, лентяй, писать заставляю себя силой, и в мирное время в год я написал бы 2 листа, а теперь 30. И не потому, что нужны деньги, а вот — скучно, надо утвердить что-то и, м. б., на самом себе — поверить в кого-то... В социализм я не верю, в науку тоже, в Бога тоже, а человек — человек пыль. Попробуем <в> искусство и в национальную Россию (17 июля)¹⁸.

Как видно на примере романа «Эдесская святыня», вера в искусство — его силу и роль в обществе — в последние годы жизни писателя была сильно поколеблена. Пройдя через все войны и революции XX века, Иванов не потерял веры только в одно — в Россию. Любовь к родине, пусть несовершенной, несправедливой и небогатой, лежит в основе произведений писателя последних лет: пьесы «Ломоносов» (1951), романа «Мы идем в Индию» (1959), очерков «Хмель, или Навстречу осенним птицам» (1962).

¹⁴ Иванов Вс. Эдесская святыня. Черновые автографы, машинопись. НИОР РГБ. Ф. 673. К. 10. Ед. хр. 1. Л. 109.

¹⁵ Иванов Вс. Дневники. С. 132.

¹⁶ НИОР РГБ. Ф. 673. К. 10. Ед. хр. 1. Л. 40.

¹⁷ Там же. Л. 102.

¹⁸ Папкова Е. А., Погорельская Е. И. Всеволод Иванов и Алексей Толстой в 1920-е гг. // Алексей Толстой: Диалоги со временем. Вып. 3. М., 2019. С. 459.

Всеволод ИВАНОВ

ПЕГИЙ БЕРЕГ

Рассказ

I.

Началось это с вазы. Ваза с апельсинами... Ваза как морская волна, и апельсины как китайские рифы...

Вошел в кафе красноармеец. На хаки — звезда, брит, и одна губа слегка косит, как облако под ветром.

Молча взял апельсин, тиснул слегка ногтем — на заусеницы брызнул сок — и, отставив губу, апельсин съел.

Бритый кафежник соединил губы — () — и сказал:

— Мильен.

Красноармеец расставил губы —) — (— и ответил:

— Нету.

И ушел.

О вазе рассказывали позже (она не была разбита — хотя каждая волна доходит, куда ей нужно), — но раньше сообщили, что на Невском и углу Казанского прошел городской. Лаковые сапоги, мундир и прочее вооружение.

II.

«Посылает сладкие весны Аллах...»

III.

Когда-то от камней рассыпавшегося города Каракорума великий Монгол подымал каменные орды и вел их на Московию. Московит коротконог, потлив и любит баню, а Монгол в баню не ходит.

«Я приехал в Петербург — назад тому год и 4 месяца. В бане не был (и не потому, что их нет), а потому, что не хочу. И не пойду!»

От сладких волн Желтого Моря, через седую Монголию потрясли мы Московита и выгнали в Европу. И к пегим берегам Невы пришли Монголы... Камень. Юрты.

IV.

«Набирают почки душистого сока».

V.

Бывший генерал Трушин, содержатель кафе на Невском, вечером ныл над кассой.

— Это начало! Вы посмотрите, начнется с апельсина, а потом в один день придет и го-ло-ву сорвет! Очень просто! Взошел, съел и мо-о-олчит!.. А мне-то сегодня...

И, вытянув руки — прямо, как пол, сладостно сказывал:

— Шел, говорили, по Казанской и на углу Невского остановился и ка-ак гаркнет: Сми-рно!.. Партуея на нем — зеркало; шашка и револьвер. Тут: трамваи — стой! По телефону — туда и сюда. Чека и еще Чека, автомобили, аэропланы, народ — городской на Невском!..

— Городовой! Кто видел?

— Ага?.. Но почему апельсин? Почему молча? Этак-то...

Так, некогда в ставке Батыя Московиты говорили о мучениках и мнасях являвшихся. В татарских юртах — князья Московиты...

«Подымается желтое солнце с Востока...»

Может быть, спекулировать туда-сюда по трестам ходил с утра гражд. Трушкин. Портфель под локтем, как подушка от стула, на бритой беспечальности от 1914 года сохранившиеся глаза. А вокруг, по Невскому и в переулочках дальше к зачесанным в волосы ушам, к ушам гладким, как волосы — шепот, шепотунчики о сине-зеленоватом мундире и о гулком шаге Прошедшего. И за этими шепотками в ушах пищит далеко где-то — едят апельсин без спроса, без денег... Все может случиться. День над проспектиками, как промысленная бумага, Нева в пегих берегах одичало царапается и ехидная ползет в Европу. Прошел шаг, не оставит следа — может, и не было его. Однако говорили, однако почему-то съели апельсин? Гражд. Трушкин — слушал по трестам, по ресторанам — валюта, иноземные пароходы, молодые люди, организующие банки, и старики, варящие картофельную шелуху. Видал светлейшую княгиню Тигинцеву, передавала — видели, прошел и на Дом Книги против Казанского ухмыльнулся. На Обуховском канале у мусорной ямы ковырнул сапогом, через час приехал кто-то и три раза раздавил это место грузовиком. Заметили его на Бассейной и в полчасе второго ночи козырял он долго статуе Александра, что в деревянном клозетике сидел у Николаевского вокзал... Смозолил ступню Трушин, по рынкам прошелся, там верили шагу мало, все больше удивлялись, почему картошка с 60 000 фунт спала до 50-ти.

У церкви, что-на-кровях некий гражданин с бородашкой, как клочок навоза, и с мешком, поморгал бровью — словно теряя ее — и сказал: «У Невы видали, у Николаевского моста идет...» Заспешил туда гражд. Трушин.

Под арками густые и неповоротливые воды. Под камнем — вода и ветер, на камне с железом, в острокопечном шишаке — Монгол. Нет того, который вышел...

Куда скрылся вышедший по Казанской к Невскому — никто больше не говорит. Только спросит Трушин:

— Позвольте осведомиться?..

Подымут вопрошаемые палец к носу и губами водят взад и вперед, взад и вперед, а что на губах — неизвестно.

Ночью перед сном пощупал гражд. Трушин мозоль и, уверенно снимая с плеча подтяжки, сказал жене:

— Может быть, он и не выходил?

— Кто?.. Павел-то?.. (Был такой у Тришина сын)...

— Да нет... с Казанского...

— Шоколада партию предлагают... — жена щелкнула кнопкой платья. — А я думаю, лучше сахара купить. Кто с Казанского? А?..

Вздыхнул Трушин. Никто ничего не понимает.

Кафе, открывается с 11 час. дня.

...Кафе как банка с вареньем — тесно, сладко и стеклянно...

И только в 11 открыл крючок Трушин, вошел тот, что три дня съел апельсин. Такое же хаки, губы в скобку скошены.

Опотел изобильнейше — от затылка до мозоли — гражд. Трушин, тронулся к вазе...

А тот уже подле стекла, что похоже на волну, и, подхватив пальцами два апельсина, сначала подложил их под локоть, затем расстегнул пуговицу френча и — сунул туда апельсины.

Под жилеткой у Трушина — болото, челюсть, как развинченная и слова из горла, отчаянно:

– Де-евятьсот пятьдесят... штука...

Опять у того рука к пуговице френча, заскрежетали и отсчитались бумажки:

– Девятьсот пятьдесят. Девятьсот пятьдесят. Мильен за вчерашнее...

Опотело подтвердил Трушин:

– За черашний — мильен...

Приняв в кассу два мильена девятьсот, вытер лоб и, дрыгая рукой, спросил:

– А... а... как вы думаете... война?..

На что френч кашлянул, повел рукой и сказал:

– Россия, в течение семи лет отрезанная от всего остального мира, разоренная империалистической и гражданской войнами, доведенная до полного истощения железной блокадой...

Вздыхнул Трушин и спросил:

– Больше ничего не прикажете?..

У пегих берегов Невы перед Европой лагерь. Юрты.

В юртах мычит скот — козы... Монголы ловят в Неве бревна, жгут очаги, а пленные московитские князья — коротконогие и потливые — продают кумыс и туркестанские фрукты. Монголы одеты в шкуры.

В кожу одета Нева и камень на мостах — с собой такой камень что ли привезли монголы?.. Камнем таким мостится гнилое московитское небо.

(Современное обозрение. 1922. № 1. С. 1. Подп.: Всев. Иванов)

Вера КАЛМЫКОВА

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ — КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА

Статья вторая. Проза. Движение

Гениальная голова Валерия Брюсова полнилась замыслами, которые он разрабатывал одновременно, и так было всегда. В 1896 году он писал:

Я так привык к миру начатых работ, из которых 9/10 не будут кончены, что мне было бы бесконечно тяжело заняться чем-нибудь одним. Устал я переводить — бросаю Вергилия, забываю о нем и пишу свою трагедию, потом меня зовут обедать, я возвращаюсь и критикую французских поэтов — но, когда вернется прежнее мое настроение, мне ничего не будет стоить развернуть прежнюю рукопись и продолжить начатое с полуслова, я опять стану тем собой, который писал предыдущие строки день, неделю, месяц тому назад. Разве я скажу, чтоб я любил свой перевод «Энеиды» больше, чем своего Нерона или чем свою Повесть. Никогда — но я не могу писать только трагедию, писать ее месяц, а потом, окончивши, думать о другом. Пусть создается образ круговорота — я в нем буду чувствовать себя много спокойнее, чем герой Эдгара По в Мальстреме.

С ранних лет дисциплинировав свой обширный ум, этот интеллектуал-универсал, образованностью и обширной памятью приводивший в изумление даже современников (а ведь среди них были выдающиеся мыслители!), постоянно фиксировал новые идеи. Иные наброски так и остались в черновиках, с трудом поддающихся расшифровке. Другие тексты были начаты и доведены до некоторой степени, после чего оставлены. Многое, к счастью, завершено. Если говорить о поэзии, то Брюсов — безусловный новатор; в прозе, однако он совершил не меньше, хотя зачастую его открытия не так бросаются в глаза.

Написанное Брюсовым в прозе можно разделить на несколько групп. Остановим внимание только на том, что имеет отношение к авторскому художественному процессу; соответственно, придется исключить критику и литературоведение при всей их важности. Итак, первая группа — дневники, записные тетради, письма, главным образом сохранившиеся в тетрадях черновики. Вторая — разного рода автобиографические сочинения, иногда носившие заказной характер, а иногда писавшиеся по собственной инициативе. К ним примыкают воспоминания. Третья — эссе (терминология не общепринятая, но как еще определить, например, «О искусстве?»). Малая проза (новеллы, рассказы). Наконец, повести и романы.

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

Верный общей эстетической установке на безоглядное погружение в глубины собственной личности и художественное исследование всего, что там хотя бы намечалось, Брюсов отразил в прозе чрезвычайно широкий спектр человеческих переживаний и состояний (впрочем, и в поэзии все эти темы звучат крещендо). Жанровая палитра его как-то избыточно богата — буквально от пасторали до самого черного хоррора. Именно в связи с анализом сборника брюсовских рассказов появился термин «проза поэта». Его предложила Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945) в рецензии на книгу рассказов Брюсова «Земная ось» (1906). В тексте она отметила различие между прозой того, кто пишет стихи, и того, кто не пишет, но критерии оценки, увы, не обозначила, поэтому нам приходится формулировать самостоятельно. И мы догадываемся, что поэт, постоянно имея дело с «теснотой стихового ряда» — смысл этого ученого термина Ю. Н. Тынянова без всяких объяснений понятен любому, когда-либо пытавшемуся вставить в строку неконгруэнтное слово, — приучается экономить лексические средства. Достаточно сравнить стиль «Капитанской дочки» с «Преступлением и наказанием» или «Анной Карениной». Опыт людей, уверенных, что строка может длиться, пока автор не посчитает нужным завершить период, — иной, чем у того, кто привык быть ограниченным количеством слогов и ударений.

Почему разговор о прозе Брюсова предлагается начать с дневников? Ведь дневник не направлен внешнему читателю, а предназначен для общения с самим собой. В собраниях сочинений дневники, как и письма, публикуются в последних томах и носят как будто справочный характер как информация о «жизни», а не о «творчестве». Однако дневник Брюсова — тот самый текст, в котором он последовательно и осознанно формировал свою будущую *литературную личность*. Наедине с собой он полагал себя гением, что могло бы выглядеть нескромным, если бы имелась в виду публичность. Без дневника неясна принципиальная для Брюсова связь всех важнейших составляющих личности, от высоких («гений литературы») до самых низменных, табуированных в культуре.

Дневник Брюсова был издан в 1927 году его вдовой, с купюрами, и в 2002 году переиздан Е. В. Ивановой, с теми же купюрами. В 2004 году Н. А. Богомолов в отдельной публикации («Новое литературное обозрение», № 1) восстановил пропуски и показал эти фрагменты в контексте печатной версии.

Не станем мусолить общенную лексику, использованную Брюсовым, повторяю, в разговоре с самим собой. Обратим внимание на то, как он мыслит. В 1892—1893 годах ему к двадцати, и он *страстно* желает трех вещей: иметь любовницу, войти в литературу, вырваться за пределы обыденного, сняв завесу между явью и сном, бывшим и небывшим. Эти векторы для него неразрывны.

Словом, задача — перейти границы, в том числе и *личные*.

Первое и третье желания сбылись благодаря знакомству и близости с Еленой Андреевной Масловой. В семье ее матери, носившей фамилию Краскова по второму мужу, Брюсов бывал часто, ибо там устраивались спиритические сеансы. Елена Маслова, некрасивая, со странными, «несколько безумными» глазами, склонная к лунатизму, сразу после начала их отношений представилась Брюсову будущей спутницей во всем — как в сексуальных наслаждениях, так и в литературных достижениях. Дневниковая запись о необходимости быстрого успеха в литературе, об объединении декадентства и спиритизма для создания нового искусства и о собственной роли в этом процессе после слов: «А этим вождем буду я!» — продолжается так: «Да, Я! И если у меня будет помощником Елена Андреевна. Если! Мы покори́м мир».

Начинающий поэт, кажется, обрел то, что искал: любовные утехы и параллельно спиритические сеансы для него — не только источник наслаждения, но и методы... на-

учного познания. Брюсов, со всей страстью поглощавший разного рода информацию, чтобы ее запомнить и переварить, а в качестве досуга решавший математические задачи, не делал различий между университетскими занятиями и спиритическими сеансами. Но более того: *познать* женщину было для него одной из целей и в интеллектуальном плане. Слова из стихотворения «Женщине» (1900):

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый стих.

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток.
Он жжет огнем, едва в уста проник... —

не только красивая метафора: она имеет под собой представление о женщине как вечно ускользающем, недоступном *объекте* познания и как о *субъекте*, владеющем своими методами познания, недоступными мужчине.

Безусловно, эта мыслительная конструкция *для нас* выглядит громоздкой, но мы ведем речь о человеке, созидавшем новую эпоху в искусстве и разрабатывавшим для нее новые правила.

Без спутницы Брюсов не мыслил литературных занятий; сойдясь с Масловой, он начал строить планы, как они рука об руку пойдут к олимпу творчества. Увы, Маслова очень скоро умерла: 18 мая 1893 года ее не стало, дневниковая запись Брюсова сделана 20 мая. Можно сказать, что желанную подругу-помощницу он обрел в жене, Иоанне Матвеевне, в девичестве Рунт, добровольно служившей его секретарем многие годы и публикатором — до конца дней (1876—1965). Но, к счастью или к несчастью, Жанна Матвеевна (так звали ее знакомые) не была склонна ни к какой потусторонности и комфортно ощущала себя в границах нормы. Что же касается тех женщин, которые стремились «за пределы», то с ними такого общения у Брюсова не получилось, ибо они жаждали и ждали от него совсем другого.

Откровенность дневниковых записей, превосходившая, как заметил Богомолов, «большинство известных нам дневников», — явная дань декадентству. Снятие речевых табу хотя бы в разговоре с самим собой есть поиск способа говорить о самых потаенных сторонах жизни человеческой души... и *тела*. Для Брюсова духовная, душевная и телесная стороны жизни в равной степени ценны, он не выстраивает иерархию сакрального и профанного. Декадентство — упадочничество лишь по отношению к норме морали; в области эстетики оно обеспечило взлет, действительно произвело обновление в области языка искусства (вспомним не только французских поэтов, но и англичан Оскара Уайльда или Обри Бердсли).

Для нас, воспитанных на единстве этики и эстетики, провозглашенном Иосифом Бродским, все это выглядит несколько пугающе. Но не забудем, что фундамент гуманитарных катастроф XX века закладывался в *бель-эпок*, представлявшей собой причудливый конгломерат научного прогресса, идеи величия человека и буржуазной собственнической морали...

В позднейшем брюсовском сочинении (литературном, рассчитанном на публикацию, но незавершенном) «Моя юность» (1900) «очень мало осталось от собственно „декадентских“ переживаний начинающего поэта», — отмечал Богомолов, продолжая:

<...> в повести вовсе нет тех языковых поисков, которые с такой отчетливостью прослеживаются в дневнике. Любовные переживания передаются [в дневнике] то

языком бульварного романа («Могучим усилием воли я сдвинул свои чувства и овладел своей душой»), то заимствованными из классики условными формами («Вот три тени предо мною: Верочка, Варя, Елена» и т. п.; этот слой, кажется, особенно значим), то намеренно «декадентской» лексикой («...я лепетал какое-то бессвязное декадентское объяснение, говорил о луне, выплывающей из мрака, о пагоде, улыбающейся в струях, об алмазе фантазии, которая сгорела в образе юной мечты»), то предельно откровенным и предельно сниженным, до «непристойности» языком мужских бесед. И все это делается явно нарочно, Брюсов сам подчеркивает грубость или «декадентскость», даже «переводит» слова из одного речевого пласта в другой <...> Сама закрытость дневника, его полная интимность позволяют проводить те эксперименты, которые было безнадежно даже пытаться осуществлять на страницах печатных изданий. Отчасти нечто похожее Брюсов проделывал в стихах, так и не покинувших пределов рабочих тетрадей. <...> эротические переживания первой серьезной любви открывали обширное поле для эстетических поисков <...> автора [дневника]. <...> Из этих оставшихся в рукописях фрагментов, где автобиографическое соседствовало с фикциональным, постепенно выковыливался тот Брюсов, который оказывал сильнейшее воздействие не только на «простые души» своих читателей, но и на сознание русских поэтов, ныне кажущихся нам стоящими куда выше Брюсова.

В тексте «Моей юности» автор решал две задачи: во-первых, не погрешить против требования искренности; во-вторых, не вызвать отвращения у добропорядочного читателя. И все-таки повесть после смерти писателя вышла с купюрами, восстановленными лишь в издании 1994 года В. Э. Молодяковым. Публикатор писал:

Пришла пора распрощаться с юностью, написав о ней искренно и честно. Автобиография «декадента» будет с великим интересом встречена читающей публикой — и наверняка разочарует ее: ведь Валерий Брюсов не «осужденная жрица», не сын солнца и не царь Ассаргадон. <...> Брюсов работал <...> увлеченно и серьезно. Боясь что-либо пропустить, постоянно исправлял и дополнял написанное, так что обилие вставок доставило немало хлопот публикаторам. Он мечтал о полной откровенности, но остерегался впадать в смакование своих пороков, как Руссо. Думается, это ему вполне удалось. Между тем И. М. Брюсова исключила из первого посмертного издания целый ряд фрагментов, показавшихся, видимо, «рискованными».

* * *

Так же интересно посмотреть на письма Брюсова, причем даже не на те, что были отправлены адресатам. С. И. Гиндин исследовал и в 1991 году опубликовал письма из записных тетрадей. Даже если поэт не отправлял их, все равно он имел в виду того, к кому обращался, ведя диалог, пускай мысленный, с конкретной персоной и отчасти перевоплощаясь в адресата, во всяком случае, домысливая его реакцию. Здесь нет эпатирующих интимных откровений — тетрадные письма почти сплошь посвящены литературе или анализу собственной душевной жизни. Брюсов, исследуя себя, ищет способ *рассказать душу* собеседнику. В поэме «Мцыри» Лермонтов задал риторический вопрос: «А душу можно ль рассказать?», подразумевая отрицательный ответ. Такие же ответы давали и Тютчев, и Фет. Брюсов осознанно ломал эту ситуацию, и здесь снова, как и в поэзии, на помощь ему приходила работа с художественной речью. О важности писем свидетельствует один из нереализованных замыслов поэта — издать книгу «Мои письма».

Чаще всего в записных тетрадях он обращался к четырем людям: поэтам-символистам Александру Добролюбову и Константину Бальмонту, Евгении Ильиничне Павловской и Петру Петровичу Перцову (1868—1947) — критику искусства и публици-

сту, в 1890-е годы издававшему сборники, посвященные нарождавшемуся в России модернизму. Он потихоньку и последовательно приучал русского читателя и критика к новой литературе, исподволь преодолевая предубеждения. На этой почве Брюсов и Перцов сблизились.

Что можно сказать о тетрадных письмах? Брюсов над ними скрупулезно работал, оттачивая формулировки. В те годы, когда молодой поэт еще не вошел в литературный процесс, эти тексты среди остальных записей — имитация присутствия в литературе. Ну и, наконец, они свидетельствуют о важнейшей черте характера Брюсова: он страстно желает *быть понятым*. Он ждет собеседника, мечтает вступить в диалог. И совсем не собирается *управлять литературой*. Та «почти нечеловеческая страсть» к познанию, которую отмечал в натуре Брюсова К. И. Чуковский, в неотправленных письмах проявляется через стремление познать себя, «стать тем, кто ты есть» — буквально по Ницше, которого в 1890-е годы Брюсов уже знал.

Вот так и получается, что черновики писем, казалось бы, маргинальный источник, нужный лишь исследователям и малоинтересный обычному читателю, оказываются не только ценнейшим источником знаний о формировании манеры Брюсова, его замыслах, душевном состоянии после выхода скандальных «Chefs d'oeuvre» и др. Выясняется, что в них постепенно возникает *образ автора художественных произведений Валерия Брюсова*, сформированный им самим как *некоторый художественный объект*.

Для Серебряного века этот вопрос первостепенен. Не следует сбрасывать со счетов вторую по важности после собственно литературы линию развития его эстетики (и этики, пусть и несколько скользящей по границе нравственной нормы) — это *жизнетворчество*. Собственную личность художнику предлагалось *созидать* как своего рода произведение. Декадентство предполагало разного рода эпатаж в поведении и рассчитывало на скандал (в этом смысле поведение раннего Маяковского типично декадентское!). Символисты же искали новые формы социального бытия и новые способы реализовать стремление к свободе во всех сферах жизни. Брюсова современники назначили «магом», и он с удовольствием стал им — себе на горе, потому что эта маска пагубно сказалась впоследствии на восприятии и его сочинений, и его самого. Но ведь не только Брюсов был вовлечен в драму масок, когда границы между искусством и жизнью взрывались и на их месте в реальной жизни оставался *образ человека*, не имевший права утратить эстетическую природу ни в какой ситуации. Модест Александрович Дурнов (1867—1928), как будто архитектор, и художник, и поэт, никакими сочинениями не прославлен (акварели его, впрочем, хороши), но о его присутствии в обществе, манере держаться, одеваться слагали легенды. Бальмонт назвал Дурнова создателем «поэмы из своей личности». Жизнетворческая модель распространялась на семьи — и если домашним Вячеслава Иванова или Дмитрия Мережковского изящные комбинации на грани современной морали особого вреда не нанесли, то Любовь Дмитриевну Менделееву-Блок они сделали глубоко несчастной. Наиболее преуспел в этом направлении Андрей Белый, вылепивший из себя идеальную фигуру человека-артиста. Следующее за символистами поколение предпочло создавать единичные образы, используя как материал свои данные (внешность, характер, речь, предпочтения и др.), — потому-то и Хлебников, и Гумилев, и Ахматова, и Мандельштам кажутся нам порой несколько *придуманными* людьми. Но все они стали теми, кем себя увидели.

* * *

Благодаря письмам Брюсова из рабочих тетрадей мы узнаем еще одно женское имя — Евгения Ильинична Павловская. Осенью 1896 года она поступила гувернант-

кой в семью Брюсовых к младшим девочкам. Писала стихи и не замедлила влюбиться в начинающего поэта. Брюсов записал, что она «понимает поэзию» — крайне редкая похвала в его устах. Скрыть чувств к Валерию Павловская не смогла и уже 8 ноября потеряла место. Общались они вплоть до ее смерти в 1898 году от туберкулеза.

Павловской адресовано несколько тетрадных писем, в которых Брюсов перечисляет свои литературные замыслы, перемежая их описание с объяснениями себя самого. Одно уже цитировалось — тот отрывок, где Брюсов рассказывает о легкости перехода от текста к тексту. Продолжим его:

Ты хотела, чтобы я любил Тебя — и Тебя без конца. Ты хотела этого, Женя, не отказывайся. Теперь я более, чем когда-либо, не стану говорить несправедливостей, потому что я действительно тоскую о Тебе — но я говорю правду. Что же делать — вот я такой, каков я есмь, эгоист, себялюбец, самообожатель — какие еще есть синонимы? — понимающий только свои желания и блуждающий в жизни, как хозяин в цветнике, который он если и устраивает, то лишь для себя. О, если бы ты хотела быть моей Книгой, которую я читал бы, когда этого желала душа моя, — моим творением, к которому я возвращался бы в минуты вдохновения опять и опять, но которое я мог и покинуть для других работ. <...> Женя, оставь в стороне и Талю, и Маню, и даже Елену Евгеньевну — будь собой и возьми в моем сердце то, что там есть. Будь моей книгой, которую я буду приходить читать, но для которой я не брошу других книг, будь моим творением, моей поэмой, к которой я опять и опять буду возвращаться, но которая все же останется лишь веткой в моем лавровом венце. Не требуй большего — потому что большего нет, нет в этом мире. Или любовь — мираж — оставь его себе, но не презирай того, кто видит пустыню на месте твоих дворцов и пальм.

Дело не в дальнейших отношениях Брюсова с противоположным полом: они, кажется, предопределены этими словами. 23-летний Брюсов хорошо понимал себя уже в то время, когда его донжуанский список был еще коротким. На другом хочется заострить внимание: женщина-книга, женщина-тайна, женщина-художественное создание предстает перед его внутренним взором. И нет в его знаменитых произведениях ни одного героя, который не проходил бы через *испытание женщиной*.

* * *

Несколько прозаических сочинений Брюсова обычно причисляются к статьям, но, кажется, они слишком свободны по форме: мысль развивается от ассоциации к ассоциации, как в «Опытах» Монтеня. Поэтому назову их *эссе*. В этих работах высказаны самые сокровенные мысли поэта, среди которых главная — что искусство есть самостоятельная сфера, не подчиненная и не служащая ничему, со своими задачами, которые решаются только и исключительно здесь. Оно не находится ни на службе обществу, ни на службе религии, ни на службе философии.

Работа «О искусстве» (1899) доставила автору несколько неприятных минут: по выходе брошюры он выяснил — точнее, ему показалось, — что его эссе повторяет мысли, высказанные Львом Толстым в статье «О том, что называют искусством» (1896). Сразу обозначим толстовский пассаж, который, по-видимому, и привлек внимание Брюсова:

<...> искусство есть средство заражения своим чувством других людей, но заражаются люди тем легче и сильнее, чем чувство, которое воспроизводит художник, общее всем людям, и напротив, чем личнее это чувство, тем меньше оно действует.

Любовь духовная есть чувство самое общее и наиболее свойственное всем людям, и потому оно всегда было и будет содержанием истинного искусства; любовь половая, семейная, хотя и не столь общая — есть девственники от природы, старики, дети, не знающие этой любви, — все-таки обща большинству людей и поэтому служила и служит предметом искусства; но извращенная любовь соединяет уже меньше людей и становится непонятной и недействующей на людей, как скоро она доходит до последней степени извращенности, как это совершается теперь в искусстве. Так что исключительность чувств, передаваемых новым искусством, уничтожает его действительность. Сознывая же свое бессилие в заражении людей своими исключительными, уродливыми, извращенными чувствами, эти люди усиливают внешние средства искусства — технику, полагая этим воздействовать на слушателя и зрителя. И действительно, техника стихотворная, реалистическая в описаниях, в драме, в живописи, особенно в музыке, где люди всю жизнь проводят в упражнении пальцев и оркестры становятся равны батальонам, доведены до высшей степени совершенства. Но именно совершенство техники и сложность приемов особенно поражают контрастом, полным отсутствием того, что составляет основу искусства — чувства, передаваемого воспринимающему.

Брюсов же писал так:

В человеческой жизни ясно проявляются два закона: стремление к совершенствованию и жажда общения. Их источники не в мире сознания; подойти к ним можно вдохновением, не рассуждениями. В вопросах бытия неверны пути мысли; истинам нет доказательств.

Основа нашего существования — дух. Все духи равны между собой. Безмерны изначальные сокровища духа. Но мы их не ведаем, нам озарена лишь небольшая часть, это — наша душа. Идти к совершенству значит озарять все новые дали нашего духа, увеличивать области души. Кто выше поднялся по этой бесконечной лестнице — в жизни или возрождениях, — кто стоит ниже, тем и различаются люди между собою. Одинаково высшей ступени способны достигнуть все.

Человек, как личность, отделен от других как бы неодолимыми преградами. «Я» — нечто довлеющее себе, сила творческая, которая все свое будущее почерпает из себя. Мир есть мое представление. Мне даны только мои мысли, мои ощущения, мои желания — ничего больше и никогда больше. Из этого одиночества душа страстно порывается к общению. В единении с другою для нее блаженство. И единение возможно. <...> Искусство запечатлевает для земли душу художника; оно удовлетворяет двойной жажде общения: вступить в единение с другим и открыть перед другими тайну своей личности; самого художника искусство ведет к самопознанию. <...> В душе своей мы усматриваем, чего не замечали прежде: вот явления распада души, двойного зрения, внушения; вот воскрешающие сокровенные учения средневековья (магия) и попытки сношений с невидимыми (спиритизм).

Заражение у Толстого и *общение* у Брюсова, конечно, не одно и то же. Если классик русского реализма настаивал, что именуемый художником заражает своими чувствами, посему должен чувствовать правильно, *всеобщие*, то для Брюсова ситуация в том, что художник в своих творениях оставляет живой *свою* душу и передает ее любому, кто ее востребует. Трудно было не заметить — у Брюсова, правда, получилось, хотя не очень понятно как, ведь обычно он был чрезвычайно внимательным читателем, — что Толстой дискредитировал как раз то, что возвеличивал Брюсов, а именно *совершенство техники и сложность приемов*. Брюсов «упражнял пальцы», чтобы как можно точнее воспроизвести в словах содержание своей души, априори полагая его уникальным и важным для других; Толстой же ждал от художника того, что тот уловит и сфор-

мулирует основные ментальные потребности человеческого «роя» в данный момент и изложит их для удобства восприятия живо и образно.

Пути мыслителей принципиально различны: старший подчиняет индивидуальное всеобщему, младший обогащает всеобщее индивидуальным. При таком несходстве установок нет даже почвы для сравнения.

Следующее эссе, «Истины (Начала и намеки)» (1901), в итоге опровергает основное положение «О искусстве»:

Я пришел ко взгляду, что цель творчества не общение, а только самоудовлетворение и самопостижение. И слово первоначально создалось не для общения между людьми, а для уяснения себе своей мысли. <...> поэт творит, чтобы самому себе уяснить свои думы и волнения, возвести их к определенности. Вот почему «болящий дух врачует песнопенье», вот почему, когда преследует и возмущает один образ, можно «от него отделаться стихами». Что будет после создания стихотворения, это другое дело. Оно может послужить и для общения. Из этого еще и еще раз следует, что все истинные создания искусства равноценны. Нет великих и второстепенных поэтов, все равны, хотя, конечно, по влиянию на современников, по количеству написанного могут различаться, как различались и цветом волос. Поскольку создание есть истинное творение искусства, оно драгоценно, каково бы ни было настроение, затаенное в нем. По содержанию не может быть достойных и недостойных произведений искусства, они различаются только по форме. «Дорогою свободной иди, куда влечет свободный ум». Выбирать из созданного есть дело редактора, издателя или книгопродавца, а не художника (говорим не о лице). Нет низменных чувствований, и нет ложных. Что во мне есть, то истинно. Не человек — мера вещей, а мгновение. Истинно то, что признаю я, признаю теперь, сегодня, в это мгновение.

Занятно, что как редактор Брюсов очень даже различал посредственные и хорошие стихи и выбирал жестко и требовательно. Однако главная мысль отрывка — «Нет великих и второстепенных поэтов, все равны» — стала лейтмотивом неоконченного печального рассказа «Голубочки — это непорочность» (конец 1890-х). В нем дедушку-стихотворца дочери травят за то, что по своей поэтической непрактичности он не оставил им наследства, в внука любит как раз за способность оторваться от обыденности. Концовка такова:

Бедный дедушка! Когда ты умрешь, твои дочери и сыновья разбросают дорогие тебе бумаги с твоими стихами; иные будут уничтожены, иные сохранит (Анюточка) и будет, может быть, хранить долгие годы; потом и они там затеряются, там пропадут, рассеются все... Исполнится ли твое чаянье, и правда ли, что стихи все равно не умрут, хотя бы никто никогда и (не) прочитал их?

Несмотря на спор автора в «О искусстве» и «Истинах...» с самим собой, основное содержание эссе — все тот же субъективизм, утверждение права личности *быть*.

В «Ключах тайн» (1904) Брюсов последовательно рассмотрел идеи «полезного искусства», «искусства для искусства» и научный подход и показал несостоятельность каждого отдельного взгляда. Основным пороком, свойственным любой концепции, он назвал оторванность от жизни, что кажется странным в русле *наших* представлений о символизме. Но Брюсов всегда утверждал: *художник должен быть открыт жизни*, связан с нею. Другое дело, как он интерпретирует факты реальности. И конечный вывод Брюсова — связь эстетической деятельности человека с интуицией, откровением, вечностью, Творцом — порождает идею искусства как способа познания мира «вне рассудочных форм, вне мышления по причинности».

Наконец, обратимся к эссе «Священная жертва» (1905), манифесту жизнетворчества, гласящему, что поэт созидает прежде всего свою душу. Здесь сходятся все линии прежних брюсовских размышлений. Свобода души связывается со свободой творчества, а она, в свою очередь, предполагает, что бессонный, вечно бодрствующий поэт добровольно жертвует собой ради откровений в постижении мира.

* * *

Итак, благодаря дневнику Брюсов понял, что ему нужно для *развития*; в тетрадных письмах осознал и довел до степени художественности *свою авторскую личность*; в эссе пришел к выводу, в чем же сущность того, чему он отдает себя без остатка, то есть *искусства*.

И совершенно естественно, что начало работы над первой большой прозой — «Огненным ангелом» (1905–1907) — пришлось на тот момент, когда была написана «Священная жертва». «Огненный ангел», как и второй роман Брюсова, «Алтарь победы» (начало 1910-х), — сочинения исторические (задумано было и продолжение «Алтаря...», «Юпитер поверженный», но этот роман остался неоконченным). Не желая ни в чем поступаться правдоподобием жизненных обстоятельств своих героев, Брюсов последовательно изучил сначала одну, затем другую эпоху, что дало ему право заявить:

Работая над своим «Огненным ангелом», я изучил XVI век, а также то, что имеется «тайными науками», знаю магию, знаю оккультизм, знаю спиритизм, осведомлен в алхимии, астрологии, теософии.

Последнее время исключительно занимаюсь Древним Римом и римской литературой, специально изучал Вергилия и его время и всю эпоху IV века — от Константина Великого до Феодосия Великого. Во всех этих областях я, в настоящем смысле слова, специалист; по каждой из них прочел целую библиотеку.

Но задача была, конечно, не только воссоздать историю в деталях. Обстановка служила фоном действий героев, охваченных разного рода страстями, не только любовной. Чтобы все это объединить, нужен был особый стиль.

Что общего в обоих романах? Характеристика исторического момента: перед нами Германия XVI века, переход от средневековья к Возрождению, и Рим IV века, переход от язычества к христианству. В переходную эпоху человек вынужден расставаться с прежними ценностями и принимать новые — или получится, как в новелле Брюсова «Последние мученики»: оргия как взлет наслаждения полнотой бытия — и гибель. Основной персонаж,двигающий сюжет в обоих романах, — женщина во власти чувства. Рената в «Огненном ангеле» одержима любовью к графу Генриху, являющемуся ей в ангельском обличье. Реа в «Алтаре победы» одержима ожиданием нового пришествия Спасителя.

Оба романа — несомненные удачи Брюсова, но в конце 1890-х ничто, как говорится, не предвещало художественных побед такого масштаба.

Повестью «Моя юность» (а также неоконченным романом «Декадент», где мир чувств передан с повышенной экспрессией) замыкается круг стилевых поисков раннего Брюсова. Он стремился найти такой способ строить художественную речь, который позволил бы соединить в образе жизнь души и тела человека и его духовные искания. В «Декаденте» попытки увенчались напыщенностью тона, ставившей под сомнение искренность автора, в «Моей юности» — углублением в реалистическую манеру, что тоже не могло устроить Брюсова.

Проблема, которую он ощущал как наиважнейшую, поскольку она была связана с литературной речью и стилем повествования, повисла в воздухе.

Решение нашлось следующее. Совершенно необязательно ниспровергать общественную мораль, щекоча нервы обывателя. Достаточно воссоздать критическую, кризисную ситуацию, довести ее до апогея — и показать, как в жестком капкане обстоятельств человек борется за свое достоинство, за свою личность, а личность, как мы помним, для Брюсова едва ли не высшая (после искусства) ценность. Но только одно, а именно *тщательная разработка сюжета*, может обеспечить переплетение событий и действий, для героя означающее крайнее напряжение сил, а читателя понуждающее обострить внимание. И Брюсов, едва ли не первый в русской литературе со времен «Капитанской дочки», принялся за *остросюжетное повествование*. Справедливости ради следует отметить, что и ранние его прозаические опыты, написанные, по образному выражению Василия Молодякова, в «подземный период», частично не опубликованные до сих пор, тоже основаны на движении сюжета. «Роман из современной жизни» «Стеклянный столп», начатый в 1914 году, возможно, остался незаконченным в том числе и потому, что размышления Брюсова об эпохе 1860—1910-х явно преобладали над действием, способным объединить полувековые события истории страны и семьи.

Какая была ошибка Брюсова в «Декаденте», в «Моей юности»? В русле лермонтовско-толстовской традиции (от «психологического романа» до «диалектики души») он концентрировался на переживаниях героев и сам понимал, что этого недостаточно. Оказалось, что разработанная, увлекательная событийная канва дает больше, чем самая подробная эротическая сцена.

Что Брюсов выступил новатором в этой области, подчеркнул исследователь С. С. Гречишкин:

<...> стремление отмежеваться от вершинных достижений прозы второй половины XIX века <...> имеет скорее полемический, чем прямой, дословный смысл. Не Толстого или Тургенева отрицает здесь Брюсов, а в первую очередь тот поток современной ему повествовательной литературы, который в известной мере унаследовал открытия подлинно реалистической, социально-психологической прозы, но низвел эти открытия до уровня натуралистического фактографизма, пространной бытоописательности, измелчил их в бесчисленном количестве «жизнеподобных» произведений с вялым сюжетом, безликими персонажами и банальной, усредненной стилиевой фактурой. <...> Апологет символизма Брюсов избрал для себя иную сферу исканий. Не обнаруживая в русской литературе достаточно устойчивой традиции «рассказа положений», Брюсов устремился «на запад». Пожалуй, он первым из русских прозаиков новейшего времени стал сознательно опираться прежде всего на опыт европейской новеллистики.

«...И вечные французы...» Да, но заимствованная западноевропейская манера повествования соединялась с подлинным — куда там Дюма! — колоритом эпохи, недаром «Огненного ангела» бесчисленное количество раз переводили в Германии, а после первой публикации сочли мистификацией: ну не мог, по мнению немцев, иностранец написать такой роман. А по «Алтарю победы» можно при желании изучать эпоху истории Рима, что не исключает занимательности.

Остросюжетное повествование составило славу отечественной литературы XX века. Достаточно почитать Чехова, Горького, Каверина, Катаева...

Итак, каковы образные узлы большой брюсовской прозы? Эпоха. Личность. История. Страсть. Женщина. Эротика. Познание. И в «Огненном ангеле», и в «Алтаре по-

беды» развитие повествования связано с героиней, ее характером, поступками, желаниями. Не будем говорить о том, что «Огненный ангел» во многом навеян событиями внутри любовного треугольника «Брюсов — Нина Ивановна Петровская — Андрей Белый»: об этом существуют тома исследований. Скажем лишь, что при создании образа героини «Огненного ангела», Ренаты, Брюсов использовал также и черты Евгении Павловской; она же стала прототипом Валерии в «Алтаре победы».

Дело, конечно, не в прототипах: женщина, *книга между книг*, объект и субъект познания, воплощение тайны, со всей спонтанностью, непредсказуемостью и вместе с тем внутренней, эмоциональной убедительностью поступков способна стать рычагом,двигающим сюжет и делающим его все увлекательнее. Этот образ связывает остальные мотивы, наполняя их непосредственной жизненностью. История ренессансной Германии XVI века с «Молотом ведьм» и нарождающейся философией главенства человеческой мысли оживает благодаря тому, что Рената, находясь в плену своих мистико-эротических фантазий, толкает любящего ее Рупрехта совершать поступки, порой весьма рискованные, вроде визита на шабаш ведьм. Блистательная, честолюбивая, двуличная Гесперия побуждает юного Децима Юния Норбана участвовать в политическом заговоре, едва не стоившем ему жизни, а ее антипод, пассионарная Реа, заставляет его задуматься о том, что человек существует не в одном только житейском измерении. Насыщенная событиями канва приводит героя к размышлениям, выводам, духовным открытиям, но не забудем, что отправной пункт странствий Рупрехта и Децима Юния — любовь и влечение к женщине.

Что же касается обоих главных героев, то поскольку повествование в обоих случаях ведется от первого лица, я-Рупрехт и я-Децим Юний, хочешь не хочешь, ассоциируются с авторским я. Брюсов, в поэзии породивший гордого, смелого, самодостаточного и несколько нарциссичного лирического героя, в романах перевоплощается в простоватых, доверчивых, хотя и верных, преданных мужчин. Рупрехту далеко до изысканности Ренаты, как и Децим Юний не дотягивает ни до Гесперии, ни до Реи ни образованностью, ни целеустремленностью.

Кто оказывается в первом романе *огненным ангелом*? Пресловутый Мадизель, он же граф Генрих? Да Боже упаси! Конечно, Рената! Это она сгорает в пламени страсти, освещая для Рупрехта путь познания. Женская истерия, которой много занимались психиатры во время создания романа, для Брюсова — способ выйти за пределы обыденности, за пределы личности.

В «Алтаре победы» с женскими образами все сложнее: состояние Гесперии или Реи нельзя соотнести с психическими явлениями, известными во времена Брюсова. Гесперия, скорее, порождение любого общества, основанного на приоритетах славы и богатства, а фанатичная Реа, чей ум изощряется благодаря ее мистическим побуждениям, — гость из эпохи первых христиан.

В обоих случаях главный герой-рассказчик выживает, чтобы задуматься.

* * *

Несколько слов о малой прозе Брюсова, его новеллах и рассказах. Один из сборников, уже упоминавшаяся «Земная ось», выдержала три издания (1907, 1910, 1911). Название восходит к словам Станислава Пшибышевского: «Ось нашей жизни — это любовь и смерть». В предисловии к первому изданию Брюсов как раз и писал, что предпочел психологизму сюжетность, подразумевая, что второе — никак не враг первому. Есть, объяснял он, «рассказы характеров», написанные с целью «дать возможность действующим лицам полнее раскрыть свою душу перед читателями». А есть «рассказы

положений», в которых все подчинено сюжету. Как и в романах, в новеллах и рассказах Брюсова черты характера персонажей проявляются, а душевные состояния возникают благодаря *положениям*. Повторимся, что Брюсов это сделал первым в свое время. И блистательные прозаики 1920-х годов шли по его следам.

«В подземной тюрьме» — начало XVI века, турки в Италии, христиане в плену, молодые заключенные, Джулия и Марко, любят друг друга. «В зеркале» — подзаголовок «Из архива психиатра» — женщина борется со своим отражением в зеркале. «Теперь, когда я проснулся» — подзаголовок «Записки психопата» — имеет лейтмотив: «Мне с детства сон нравился больше яви». «В башне» — «Записанный сон» — герой видит во сне, будто живет в средневековом замке как пленник, но побеждает своего пленителя, рассказав ему о грядущей победе Александра Невского на Чудском озере. «Последние мученики» — поэты, художники, перед которыми стоит угроза насильственной смерти, добровольно гибнут в оргии, которая предстает как вид служения; раскрепощение души и тела достигает такой степени, что утрачивается персонификация и люди полностью растворяются в страсти. Самый популярный рассказ из этого сборника — «Республика Южного Креста» — антиутопия, предвестие антиутопий XX века: Брюсов додумал до конца, что будет, когда тенденции большевиков в управлении реализуются полностью.

В таких сюжетах можно сопрягать и высшее напряжение чувств, и эротику, и тайну, и явь, и сон — событийная канва все это выдержит.

Ко второму сборнику рассказов (и драматических сцен) «Ночи и дни» (1913) Брюсов тоже, по обыкновению, написал предисловие, гласившее:

Кроме времени и места действия (наши дни, современное русское общество), эти повествования объединены еще и общей задачей: всмотреться в особенности психологии женской души.

Предмет изучения, как мы видим, все тот же. А в повестях «Рея Сильвия» (1914), «Элули, сын Элули» (1915) художественно исследуется — вспомним, что искусство есть метод познания! — бытие человека в истории и памяти и актуальный для эпохи вопрос о жизни, смерти и воскрешении. Выходит, что вживание в историю, перемещение во времени губительно, как и попытка насильно вскрыть тайны времени.

* * *

Многочисленные издания «Огненного ангела» и научно-фантастических произведений Брюсова, несомненная читательская любовь к «Последним страницам из дневника женщины» и другим произведениям — свидетельство того, что проза Брюсова никоим образом не «устарела». Хотелось, однако, показать, как зарождалась и строилась его неповторимая творческая манера, основанная на тончайшем, глубоком соединении авторской личности с характерами и психологией персонажей в увлекательном сюжете, полном неожиданных поворотов и острых коллизий.



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Сергей СОЛОУХ

МЕЖДУ К. Р. И «ЛЕФ'ОМ»¹

Искусство и эпоха. Поэт живет ею, дышит, или ему попросту по, как объявил бы современный рокер? Вопрос вопросов. Вечный.

Вот март—апрель 1919-го. Сибирь. Колчак, мобилизация, расстрелы. Крестьянские восстания, забастовки, партизаны... А между тем каждый вечер в Омске, столице диктатуры, кондовых монархистов и быстрых на расправы местных казаков, «отец русского футуризма», художник и поэт Давид Бурлюк «напудрил перед уходом... лицо... нарисовал на нем цветок. Затем вставил в петлицу фрака деревянную ложку и ушел»². Двинул на вечер-диспут, совмещенный с выставкой-продажей. Вперед и с песней:

Где скукотундру режет властно
Сырое тело Иртыша;
Где юговетр свой лет напрасный
Подъемлет слабо и спеша...³

Аншлаг. Сборы невиданные. Успех оглушительный. И все, конечно, флаги в гости к нам. Автор самого современного жизнеописания Давида Давидовича сообщает:

Сергей Солоух — писатель, эссеист переводчик. Родился в 1959 году в Ленинске-Кузнецком. Окончил Кузбасский политехнический институт. Автор нескольких романов: «Шизгара» (1993), «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева» (1996), «Игра в ящик» (2011) и др., а также книги «Комментарии к русскому переводу романа Ярослава Гашека „Похождения бравого солдата Швейка“» (2015). Лауреат премии им. Ю. Казакова за лучший рассказ года (2003, 2004, 2005). Живет в Кемерове.

¹ Автор хотел бы выразить благодарность знатоку сибирского поэтического ландшафта Игорю Лощину за бескорыстную и дружескую помощь, без которой эта художественная зарисовка бы точно не получилась.

² Евгений Деменок. Давид Бурлюк. Инстинкт эстетического самосохранения. М.: Молодая гвардия, 2020. С. 370.

³ Там же.

В Омске к выступлениям присоединился писатель Антон Сорокин, которого пресса иронично называла «гордостью Сибири» и «национальным Гением». Бурлюк действительно выдал Сорокину «удостоверение в гениальности», и позже Сорокин уже выдавал подобное своим ученикам. На одном из вечеров он даже прочел манифест, в котором объявил себя королем и государем писателей и приказал всем местным газетам «завести автомобили и возить на них мозг сибирской нации, знаменитого писателя Антона Сорокина»⁴.

Цветет и пахнет мир подлунный. Футуризм побеждает в одной отдельно взятой Сибири. И если даже

Не проходило почти ни одной ночи, чтобы на улицах Омска, либо на берегу Иртыша не было найдено по одному или несколько трупов, неизвестно кем расстрелянных людей, без всяких документов...⁵

Есть ведь и Томск, и Новониколаевск, а дальше Красноярск, Иркутск, Чита, и там, где небо сходится с волной, где нет начала и конца по самому определению, благословенный Владивосток. Show must go on, как утверждал, октавы теряя счет, не очень, правда, современный, но тоже, уж конечно, рокер.

Впрочем, задержимся в Чите, как это сделал летом 1919-го и Давид Бурлюк. Проверим и здесь среднюю температуру по больнице Сибири, объятый всеобщей горячкой Гражданской. Тифозной, паровозной буквально и судьбоносной, роковой фигурально. Что тут, в столице другой диктатуры того времени, себя открыто противопоставлявшей той, что в Омске? Даже боровшейся, ну, или пакостившей всеми возможными способами. Как там у атамана Семенова, не подчинившегося адмиралу?

А все то же. Крестьянские восстания, забастовки, партизаны... карательные экспедиции, расстрелы, реквизиции... Мрак...

Брожу по улицам... И что удивительно: в любом городе, какой ни возьми, свой шум, рокот, движение... В Чите же гробовая тишина. До войны она была живым торговым местом, а нынче как будто бы все разом осеклись. Никто без острой нужды, как говорится, на улицу не кажет носа... Атаман повелел, едва лишь начинается сумрак, всем закрывать ставни. Если кого и встретите теперь дорогой куда-нибудь, то только лишь солдата...⁶

...Бронепоезда Семенова стали такой притчей во языцех, что лучше особенно и не распространяться. Использовались они главным образом для карательных вылазок. А также, как тюрьмы и места казней. Попасть на бронепоезд, означало погибнуть самой мучительной смертью. Если получал какой-нибудь офицер или же чиновник повестку, явится на такой-то и такой-то бронепоезд, это был для него сигнал, что нужно немедленно из Читы бежать...⁷

Но что до всего этого художнику, поэту? Футуристу! Жителю иного измерения. Председателю земного шара, а заодно если не РСФСР, то ВэФэФэ (Всероссийской

⁴ Там же. С. 369.

⁵ Гоппер, К. Четыре катастрофы. Воспоминания. Dzīve un kultūra. Рига, 1920. С. 105.

⁶ Fink, Pavel. Umírající království: Glossy a materiály ze zápisníku válečného korespondenta. Praha: Památník odboje, 1921, s. 30. Здесь и далее перевод мой. — С. С.

⁷ Там же. С. 65.

федерации футуристов), спешащего, летящего своих соратников собирать в колонны и на великие дела благословлять под небом русского востока, казавшегося «русским Западом», где Оцеола — вождь киргизов, ну, или казахов, и прочих Майн Рид:

Я, Давид Бурлюк, отец российского футуризма, властью, данной мне вождями нового искусства, присоединяю Вас, Антон Сорокин, в ВФФ. Приказываем отныне именоваться в титулах своих Великим художником, а не только писателем, и извещаем, что отныне Ваше имя вписано и будет упоминаться в обращениях наших к народу в следующем порядке: Давид Бурлюк, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Игорь Северянин и Антон Сорокин⁸.

«Конечно, — ко всему этому с восторгом добавляет современный биограф Давида Давидовича, — „Всероссийская федерация футуристов“ существовала только в воображении Бурлюка, но до чего же красиво!»⁹

Красиво. Не поспоришь. Образцовая прагматика поэта. Реальность осязаемую и данную в ощущения подменять воображаемой, данной во снах, и фантазия. А равно и самомнением, амбициями, быстрым умом и ловкими руками. Поэтому, конечно, в Чите летом 1919-го происходит, пусть и среди мертвых улиц, за закрытыми ставнями и под гудки семеновских бронепоездов, все то же самое, что и весной того же года в Омске, Томске, Новониколаевске и Иркутске. Лекция-представление «Грандиозар».

«Критика писала о том, что Бурлюк счастливо сочетает в себе лектора, конференсье, а футуризм в его лице имеет прекрасного глашатая, инструктора и трубадура»¹⁰.

Но не на пустом месте. Не сам по себе, один. Имелись и в самой Чите побратимы, футуристы, пусть и без официального «удостоверение в гениальности», но калибра никак не меньшего, чем уже упомянутый омич и будетлянин Антон Сорокин. Петр Незнамов, например. Будущий сотрудник и даже секретарь редакции «ЛЕФа» и «Нового ЛЕФа». Но это уже в двадцатых. А в 1919-м рубивший с плеча вот так:

В небе веером распластался закат.
Облака зацвели нежно-эмалевые:
Сидеть б, молчать да умиляться стократ,
А меня будто ужалили!
...
Ругался стозевно, высматривал стооко
В чьих-то мозгах кричал бараньих,
Вспомнился Блок-тишайший, а — я и Блока
Выкупал в потоках брани¹¹.

Хорош. Буквально знаменосец, да. Запевала. Но проблему, кого еще под стяг «стоzeвости и стоокости» поставить в Забайкалье сам по себе, один, не снимал. Бурлюк приехал и уехал, нагнал волну, спел, станцевал, опубликовал в местном журнале «Театр и искусство» статью «Художественная жизнь Сибири» и дальше, дальше... во Владивосток. А что делать редактору этого самого «Театра и искусства» Петру Тимошеvскому, который пусть и остался, но тоже хочет в ногу со временем:

⁸ Евгений Деменок. Давид Бурлюк. Инстинкт эстетического самосохранения. М.: Молодая гвардия, 2020. С. 370.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. С. 372.

¹¹ Пестрые щупальцы: Поэзо-сборник. Чита: Изд. журнала «Театр и искусство», 1919. — 54 нел. с. + 48 с. Л. 6.

Тучи в кучу взбаламучу
И себе и Вам наскучу
И, нагнав поэзо-сон,
Дам большущий фельетон¹².

А вместе с ним и поэзо-сборник. Наш читинский. Забайкальский футур-модерн. В духе времени. Или вопреки ему, неважно, главное, тип-топ. Вперед всегда же можно, если с песней. Тем более что при журнале «Театр и искусство» есть общество пописывающих — «Кружок творческих исканий»¹³. Не ВэФэФэ, конечно, гимназистками пахнет, салонными альбомами этот «кружок исканий», но тем не менее снабдит, даст строчки, рифмы плюсом, все то, чем можно надуть лягушку, нагнать объем, иными словами, сдобрить и разбавить по части лирики «громокипящей» и не очень, как самого себя, Петра Т. или же ПАТа, так и Анания, вполне себе человека будущего, Рябцева¹⁴.

Вот кузнец кует железо
Раскаленное огнем
Бьет и чаще, бьет и реже
Искры сыпятся кругом
Словно лошадь подыхает
Грузно дышет мех,
Угли в пламя расдыхает...
Щелк, как щелкают орех.
Распотелся... катят капли
С кузнеца; он черномаз...
Тику... Таку... Тику... Такли...
Молот бьет за разом раз¹⁵.

Получилось, конечно, забавно. Такой диалог ушлого с пошлым. На одной странице читинского поэзо-сборника с названием «Пестрые щупальцы», изданного редакцией журнала «Театр и искусство» в 1919-м, Петр Незнамов рвет и мечет:

По началу — молитвенный, под конец — дерзкий,
Капризной поэтессе объяснился поэт...
Она ему бросила: — Может быть, да, может быть нет, —
Словно погладила по шерстке и против шерстки¹⁶.

¹² Там же.

¹³ Кружок не только, надо отметить, одних лишь поэтических исканий, но и иных, в том числе театральных, что и естественно, наверное, при журнале «Искусство и театр». Так что совершенно ожидаемым кажется участие в поэзо-сборнике будущих актеров и режиссеров. В частности, ленинградских, Киры Львовны Мантейфель и мужа ее читинской поры Роберта Газтановича Барбетти.

¹⁴ Тут сам собой у автора получился каламбур. Поскольку славу читинский эсер, поэт-любитель и будущая жертва чисток тридцатых Ананий Моисеевич Рябцев обрел не сам, а как бы пророс к ней через два поколения, расцвел внуком — прекрасным советским актером Юрием Мефодьевичем Соломиным.

¹⁵ Пестрые щупальцы: Поэзо-сборник. Чита: Изд. журнала «Театр и искусство», 1919. — 54 нен. с. + 48 с. Л. 5.

¹⁶ Там же. Л. 1.

А на другой ему тут же и отвечает эта самая капризная дама под вуалью кокетливого псевдонима Л. Ни-ва, за которым вся, как есть, — «Родная речь», покой... овес, да лютики, и васильки:

Только чары искусства в изломе прозрений
Нас овеют волной возвышающих грез,
Нас спасут от греховно-желанных падений,
От укоров, борьбы, горькой накипи слез¹⁷.

Винегрет изломов, несусазица, но именно она и возвращает вновь к теме «поэт и эпоха». Где же он, художник? С ней, обнимается, шагает в ногу? Или «над небом голубым, где город золотой», как это у еще одного незабвенного рокера, за годы творческих исканий худосочность комплекции Христа сменившего на полнотелость Будды.

Разгадку этой загадки поэтического бытия в эпоху общественных волнений и социальных передраг нам если не обещает самый неожиданный и неуместный участник читинского поэзо-сборника «Пестрые щупальца» 1919-го, то, как минимум, дает возможность предполагать. Александр Ефимович Котомкин. Или, как он подписывался в ту пору, Котомкин-Савинский. В честь деревни Савино. Родной. Что на Волге.

Автор верноподданных кантат и благолепных панегириков, в литературу введенный лично великим князем Константином Романовым, к тому же офицер, из личного окружения атамана Семенова¹⁸, с чего и почему он вдруг дозволил какому-то щелкоперу, ПАТу, Петру Тимошевскому, футуристу-модернисту, родом не то из Крыма, не то из азиатского Семиречья¹⁹, с такой бесцеремонностью обращаться с благословленной самим К. Р. фамилией, родовым именем. Буквально рвать напополам.

Фельетон мой — обозрение
Всех исканий, всех движений
От Незнамова до Кот
Омкина и «наоборот»²⁰.

Да, потому что просто не заметил. Не обратил внимания. Счастливая поэтическая юродивость. Придурковатость. Именно то самое, что и объединяет, связывает во едино (как это так наглядно, само собой, и вышло, получилось в читинском сборнике 1919-го) всех чохом разношерстных рифмоплетов от патентованных графоманов до гениев, будь он, последний, с удостоверением или же без. Блажь лирического целеполагания. И связанное с ней, прямо вытекающее нежелание слышать и видеть мир. Соизмеряться с ним. Реальным. Чуждым, враждебным, неправильным и непонятным.

¹⁷ Там же. Л. 4.

¹⁸ Регулярно повторяемый рассказ о том, что Александр Ефимович Котомкин участвовал в Ледовом походе и пришел в Читу с каппелевцами только в начале двадцатого, не находит своего подтверждения в записках самого Александра Ефимовича (Котомкин А. О чехословацких легионерах в Сибири 1918—1920. Воспоминания и документы. Париж, 1930, 182 с.). См., в частности, описания подготовки Читы к приходу каппелевцев (с. 128) и самой столь чаемой встречи (с. 129), сделанные от первого лица, а вот собственно Ледового похода — лишь «устаи одного изъ участниковъ его» (с. 124).

¹⁹ См. биографическую справку Петр Андреевич Тимошевский (Пат) в журнале «Новая русская книга». 1922. № 5. Берлин: Издательство И. П. Ладыжникова, 1922. С. 37.

²⁰ Пестрые щупальцы: Поэзо-сборник. Чита: Изд. журнала «Театр и искусство», 1919. — 54 нен. с. + 48 с. Л. 6.

Только скрываться от него и отгораживаться. Уж кто как может. Один шумно, на миру, рисуя розу на щеке, другой же, залезая под подушку, буквально сам в себя.

И в этом смысле особо выразительно одно стихотворение Александра Ефимовича из пары тиснутых бесцеремонным ПАТом в поэзо-сборнике «Пестрые щупальца» 1919-го. Десяток строк, которые, как кажется, впоследствии сам Котомкин нигде и никогда уже повторно больше не публиковал.

Прикажу замолчать я устам,
И не выдам я тайны, не дам,
Чтобы лживый, скучающий свет
Струн сердечных коснулся, — о, нет!...
Чтобы их сокровенных напев
Он подслушать не мог, подсмотрев,
Как горит чудным светом душа,
Как бываешь ты так хороша,
Когда взор твоих чудных очей
Зачарованный песней моей,
Смотрит так, будто хочет назвать
Про заветные тайны сказать,
То, чем сердце в полночной тиши
Отвечает на зовы души...
О, поверь, тот чарующий зов
Часто я понимаю без слов
Лишь прочту золотые мечты
В миг, когда неожиданно ты
Средь людей, нам и чуждых и злых
Бросишь взгляд свой с тревожной тоской
Будто просишь ты, друг дорогой,
Дать желанный ответ... А на что?
То никто не поймет ни за что...
Все поймут только сердца друзья:
Это — песня, да я...²¹

Автор жэзээловской, неоднократно уже упомянутой биографии Давида Давидовича Бурлюка Евгений Деменок назвал ее «Инстинкт эстетического самосохранения». А вот автор будущей биографии Александра Ефимовича Котомкина, я уверен, должен будет назвать ее «Инстинкт самосохранения блаженства».

И это как нельзя лучше опишет путь превращения бабочки назад... в куколку. Путь пройденный поэтом среди «стоzewости» и «стоокости» его времени» к молчанию.

²¹ Там же. Л. 4.

РЕЦЕНЗИИ

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Книга о Георгии Иванове

Андрей Арьев написал книгу о Георгии Иванове¹. Книгу, обобщающую его труды по изучению жизни и творчества поэта. Свою первую монографию на эту тему он издал 15 лет назад в издательстве журнала «Звезда»². Долгие эти 15 лет даром не прошли: новая книга вышла более объемной во всех смыслах, в ней появились новые подробности личной жизни Г. И., его общения с коллегами, его поэтического становления. Многие документы, а также рукописи, бывшие в черновиках, увидели свет, стихи и письма были заново прочитаны и сверены по копиям, находящимся в различных зарубежных архивах, да и некоторые собственные первоначальные выводы подверглись небольшой коррекции, за что исследователю особая хвала!

Если говорить громко: получился «труд жизни». Об особой привязанности Андрея Арьева к личности и творчеству избранного поэта косвенно можно судить по тем прямо-таки поэтическим кускам авторской речи, встречающимся в книге. На ее полях я тут и там ставила пометку «Красота» — как Лев Толстой на полях рукописи Тютчева. Посудите сами, вот отрывок из текста:

Быть может, втайне от самого себя, но он пестовал очищающую сознание первопричину своего лиризма, звал ее: лермонтовскую, русскую, божественную тоску. Как ничто другое, она оправдывала и наполняла его поэтические видения эмигрантских лет «сияниями», развоплощающими «выспреннюю болтовню» стихотворцев и «развязную мазню» живописцев.

Ирина Чайковская — прозаик, критик, преподаватель-славист. Главный редактор американского русскоязычного журнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе. Семь лет жила в Италии, с 2000 года — в США. Автор 18 книг и многочисленных публикаций в российских и зарубежных изданиях. Автор статей и докладов о жизни и творчестве И. С. Тургенева, А. Я. Панаевой, Н. А. Некрасова и других представителей русской литературы второй половины XIX века. Участница международных тургеневских конференций и конференций по связям русской и зарубежной литературы. Член редколлегии американского русскоязычного журнала «Слово/Word» и поэтического альманаха «Связь времен». Лауреат премии журнала «Нева» за 2015 год в номинации «Критика». Живет в Большом Вашингтоне.

¹ Арьев А. Был целый мир. Книга о Георгии Иванове. СПб.: Нестор-История, 2024.

² Арьев А. Жизнь Георгия Иванова: Документальное повествование. СПб.: Журнал «Звезда», 2009.

Или вот это: «Время поэзии прошло» — так мыслили русские поэты со времен Евгения Баратынского. И так они мыслят до сегодняшнего дня. Тем сладостнее Георгий Иванов, вполне разделяя это представление, утверждал наперекор веку и судьбе: кроме поэзии, ничего в мире не остается такого, ради чего в нем стоило бы «мыслить и страдать».

Это последнее высказывание стало одной из главных линий книги, а стихотворение Баратынского «Последний поэт» дало прекрасное обозначение для места Г. И. в истории русской литературы. Родившийся в 1894 году, на изломе XIX века, проживший 64 года и ушедший в 1958-м (пережив многих из тех, о ком рассказывает в своих художественных мемуарах «Петербургские зимы»), Георгий Иванов представляется потомкам эдаким затерявшимся во времени осколком Серебряного века, воистину его Последним поэтом.

В приведенных мною фрагментах книги Андрея Арьева есть отсылка еще к одному поэту уже позапрошлой эпохи — Лермонтову. И тоже очень значимое упоминание. Лермонтов, с его надмирным одиночеством, с прелестью звучащих стихов (чье значение бывает темно иль ничтожно), с его желанием «забыться и заснуть», чрезвычайно близкий, родственник Иванову поэту.

В самом начале своей книги исследователь сообщает, как однажды петербургской ночью в спальне 2-го кадетского корпуса «неизъяснимой красоты голос прочитал для него единственного (Георгия Иванова. — И. Ч.), для его внутреннего слуха „Выхожу один я на дорогу...“»

А в самом конце книги Арьев приводит стихотворение из «Дневника», посланное автором Нине Берберовой (1950). Приведу два последних двустишия:

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Прекрасная окольцовка сюжета жизни, как и книги об этой жизни.

Так что же нового внес исследователь в свою тему? Удивительно, но серьезно расширились наши знания о личной жизни поэта и его спутницы Ирины Одоевцевой. Оказалось, что ДО своего соединения и Он, и Она уже были в браке. Мало того, у Георгия Иванова в первом браке была дочь³, жившая во Франции и носившая его фамилию. В книге среди замечательной портретной галереи (а об оформлении и научном «снаряжении» арьевской монографии речь впереди) встретим фотографию его первой жены — француженки Габриэль Тернизьен и дочери Елены Ивановой. Фотография юной Габриэль прелестна. Брак продержался три года, с 1916-го (Георгию Иванову — 22) по 1919-й, в этом году Габриэль с маленькой Леночкой уезжают во Францию. Первый брак в общем мало отразился на последующей жизни нашего поэта. Фото дочери, Елены Ивановой, привлекает внимание. Ее внешность необычна: высокий открытый лоб, роскошные волосы до плеч, ироничный прищур глаз. Молодая женщина смотрит куда-то поверх нас и очень похожа на отца — его глаза, нос, губы, ироничный взгляд... Загадка: почему долгие годы, начиная с 1922 года, проживая в одной стране, дочь с отцом так и не встретились.

Добавились удивительные подробности и в теме брака Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой.

³ Эти сведения никогда прежде не публиковались.

В течение жизни они несколько раз расходились (разводились?) и снова соединялись (заключали брак?) Арьев пишет, что Ирина Владимировна («маленькая поэтесса с большим бантом», как она сама себя аттестовала) имела черты Манон Леско. Соответственно, Георгий Иванов «усвоил себе в сюжете их жизни... роль кавалера де Грие. А может, и стал им». Судя по всему, так оно и было.

Влюбившись в молодости, пронес он это чувство до последних дней жизни, что вроде никак не вяжется с его образом. Арьев приводит обнаруженную в архиве характеристику 17-летнего недоучившегося кадета перед отчислением из корпуса: «Общее впечатление какого-то нравственного и физического калеки». А вот как характеризует Г. И. уже много позже, в Париже, Владислав Ходасевич: «Особенно опасайтесь Георгия Иванова... Он горд, вздорно обидчив, мстителен, а в своей ругани — убийственно зол».

Хочу слегка продолжить тему. «Злой» и «вздорно обидчивый», Иванов преображается, когда говорит об Одоевцевой. Ей он посвятил несколько лирических шедевров, среди которых стихотворение, написанное за четыре года до смерти, «Распыленный миллионом мельчайших частиц» (1954), заканчивающееся картиной из длящегося в сознании прошлого, чье повторение поэт прозревает в некоем призрачном сомнамбулическом будущем:

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

По силе и красоте эти строчки напомнили мне фетовское «заклинание» о посмертном соединении с возлюбленной:

У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить.

(1878)

В ивановском «Распаде атома» (1938) среди жутковатых картин разрушения и гибели мира и человека многожды повторяется ритмизованная, словно стихотворная строчка: «Синее платье, размолвка, зимний туманный день». А еще есть там рвущийся наружу возглас: «Смысл жизни? Бог? Нет, все то же: дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твоё лицо».

Арьев приводит предсмертную записку Георгия Иванова, просящего об одном: «Позаботьтесь о моей жене, Ирине Одоевцевой. Тревога о ее будущем сводит меня с ума. Она была светом и счастьем моей жизни, и я ей бесконечно обязан». Но и Одоевцева, при всей схожести с Манон, «подозревала», по слову Арьева, в своем муже «что-то совсем особенное, не поддающееся определению, почти таинственное, что-то... от четвертого измерения».

Читатель, возможно, уловил в приведенных мною строчках из «Распада атома» некую переключку с Блоком. «Синее платье» может напомнить «синий плащ» из «О доблестях, о подвигах, о славе», а горький вскрик «дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твоё лицо» — концовку блоковского «Перед судом»: «Страстная, безбожная, пустая/Незабвенная, прости меня!»

О близости к Блоку, становящуюся тем глубже и значимее, чем дальше ГИ удалялся от времени первого с ним знакомства, в арьевской монографии много. И начинается эта его связь с Блоком очень рано, с первого посещения, чуть ли не с 16 лет⁴.

В 17 «юнец» дарит Александру Александровичу — первому — свой дебютный сборник «Отплытие на о. Цитеру» — «с любовью, нежностью и благодарностью». В первой главе своей монографии, разбирая творчество Георгия Иванова до эмиграции, говоря об его участии в гумилевском «Цехе поэтов», провозгласившем отход от символизма во имя предметности и реальности, Андрей Арьев показывает, что ГИ при всем том, несмотря на огромное влияние на него Гумилева и его последователей, оставался в орбите Блока.

Признаюсь, читать первую главу книги, называющуюся «Закат над Петербургом (1894—1922)», совсем непросто. Здесь автор, как, впрочем, и во всей книге, обнаруживает свою бескрайнюю эрудицию и знакомство со всеми деталями вопроса, но это порой уводит нас в лабиринты литературоведческих штудий. В первой главе досконально и скрупулезно прослеживаются поэтические связи Георгия Иванова, чье вхождение в мир петербургской богемы 1910-х было на редкость быстрым и интенсивным, с представителями разных направлений и школ. Одновременно с Г. И. жили и творили Гумилев и Городецкий, Ахматова и Мандельштам — все они объединились под знаменем акмеизма. Рядом жил и работал Блок, чей условный символизм был явно шире и содержательнее провозглашаемых границ⁵. Начали свой путь футуристы: Маяковский, Бурлюк, Северянин. Свой путь был у Вячеслава Иванова, Федора Сологуба, Зинаиды Гиппиус, Владислава Ходасевича, с ревнивым беспокойством наблюдавшего за «поисками» Г. И., москвичей Марины Цветаевой и Пастернака.

И среди этого разнообразия поэтических школ, вер и голосов нужно было прокладывать свой путь, искать своего бога, обнаруживать свой голос. Молодой поэт как бы примеривается, накапливает опыт и выучку. Через отрицание и безнадегу прорывается к свету⁶. Не единожды в книге прозвучит мысль, что Г. И. практически с отрочества был поэтом — поэтом по своей сути, никогда ничем другим не занимался и заниматься не хотел, да и не умел, даже в годы эмиграции, в период нужды и отчаяния...⁷

Горбоносый майоликовый Иванов, с подкрашенными губами, появившийся в компании еще одного Жоржика — Адамовича, бывшего на протяжении его жизни «заклятым другом» или, по определению Арьева, «изысканным другом и обходительным недругом», — один из его тогдашних ликов. Но уже в те ранние времена в его стихах, широко публиковавшихся в «Аполлоне», «Северных записках» и прочей петербургской периодике, собранных в нескольких авторских сборниках, изданных до отъезда за границу, уже проглядывало нечто, что исследователь определяет как «опрошение», с годами переросшее в «простоту», «за которой мерцала глубина».

Вторая глава книги называется «Парадиз над бездной (1922—1938)» и рассказывает о нашем поэте, уже совершившем прыжок в эмиграцию. С дурацким заданием — добыть репертуар для гостеатров — он отбывает в Германию, оттуда перебирается в Париж и на родину уже не возвращается. Все 36 лет эмиграции живет, не принимая французского гражданства, по нансеновскому паспорту для беженцев и дни свои

⁴ См. в «Биографической канве», ноябрь (1910). Знакомство с Блоком (может быть, позже).

⁵ Андрей Арьев пишет о КУЛЬТУРЕ ВСЕГО Серебряного века (а не отдельно о символизме, акмеизме и проч.), из которой вырастает и творчество Блока, и, без сомнения, Георгия Иванова.

⁶ Арьев говорит об апофатике Иванова — утверждении через отрицание.

⁷ «Единственное, что я могу делать, это стихи. Они сочиняются сами». Из статьи-комментария Андрея Арьева по поводу публикации письма Георгия Иванова к Т. Г. Терентьевой. См. Звезда, 2024, № 11.

окончит в пансионате для старых и больных апатридов в Йере (на юге Франции). При этом осознает себя как русский, как петербуржец и как поэт.

И тут уместно привести цитату из Владислава Ходасевича: «Г. Иванов умет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя. Собственно, только и этого надо ему пожелать» (1916).

Как говорится, нагадал. И не только Иванову — также и себе, и своим многочисленным коллегам. Имею в виду «большую житейскую катастрофу». Катастрофа случилась. И была она вселенского масштаба, сломав и искорежив миллионы жизней, вытеснив за пределы России сотни тысяч, миллионы граждан⁸. Но относительно Иванова «пророчество» Ходасевича исполнилось в полной мере. Находясь вне России и бесконечно ощущая ее отсутствие, потеряв привычные жизненные ориентиры, он из поэта «без свойств» (термин А. Арьева) вырос в поэта трагического, его дарование в этих тягчайших обстоятельствах обнаружило свой истинный потенциал.

Хочется привести здесь одно стихотворение 1931 года. Арьев называет его «главным стихотворением Георгия Иванова». В его публикации соредатор «Современных записок» (М. В. Вишняк) отказал под предлогом, что «такого вызова» они печатать не могут, хотя и против монархии. Приведем его полностью.

Хорошо, что нет Царя,
Хорошо, что нет России,
Хорошо, что Бога нет... —

Только желтая заря
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо, что никого,
Хорошо, что ничего,
Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может
И чернее не бывает,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

Можно увидеть в этом «стихе» воплощение двух черт поэзии Г. И., о которых читаем в исследовании, — ее апофатичность и простоту.

Сегодняшний читатель легко уловит в этом стихотворении «троллинг». Во времена Иванова этого слова не знали. Арьеву, сравнивавшему ивановский «стих» с греческой трагедией, «имеющей целью очищение и катарсис», кажется убедительным мнение тогдашнего критика и поэта Юрия Иваска: «Это празднование великой беды, в которой светится какой-то проблеск надежды»⁹.

Симптоматично, что Г. И. в своем отрицании воспользовался известным воинским девизом Российской империи «За веру, царя и отечество!». К этому же можно присо-

⁸ Общее количество эмигрантов из России на 1 ноября 1920 года, по подсчетам американского Красного Креста, составило 1 млн 194 тыс. человек. По данным Лиги Наций, по состоянию на август 1921 года в мире было более 1,4 млн беженцев из России. А на 1 ноября 1921 года американский Красный Крест оценивал русскую эмиграцию уже в 2 млн человек.

⁹ У Иваска этот апофатический прием назван словом «наобороты».

вокупить известную «уваровскую» формулу: «Самодержавие, православие и народность». Три «хорошо» поэта последовательно относятся ко всем трем частям «девиза» и «формулы»: «нет Царя», «нет России», «Бога нет». Можно сказать, что Г. И. впервые с октября 1917 года так четко и просто сформулировал суть происшедшего. В трех последующих катренах раскрывается трагическая начинка этого «хорошо». «Желтая заря», «Ледяные звезды», «Миллионы лет». Возникает эсхатологическая картина конца мироздания, перекликающаяся с похожей у Блока: «Миры летят. Года летят. Пустая Вселенная глядит в нас мраком глаз...»

Дальше — больше: (вокруг) никого и ничего, черно и мертво, да еще в самой высокой степени: «...мертвее быть не может и чернее не бывать». И вот он, финал: «Что никто нам не поможет/ И не надо помогать»¹⁰.

Почему не надо помогать? Да потому что все, что произошло, само по себе является катастрофой, сломом эпох, переворачиванием страницы... По миллионам «бывших» жителей России проехалось «колесо истории» — и каждый из них выбирался из-под обломков на свой лад. Кто-то погиб, кто-то стал калекой, кто-то нашел возможность приспособиться...

Русские эмигранты в основном приспособились к «той жизни». Другое дело, что ощущение беды и безнадёги многих не оставляло. И выразителем этих настроений стал Георгий Иванов.

Еще одно стихотворение, в сущности, о том же. Оно из числа тех, которые можно назвать «главными» и «очень ивановскими» — «Невероятно до смешного» (1941). Андрей Арьев приводит его на задней обложке:

...Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его...

Вдруг — ни похода Ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно ничего!

Сказано самое главное, сказано емко и кратко: «Был целый мир — и нет его». Маяковский в поэме «Хорошо!» (1927) писал: «Кругом тонула Россия Блока / Незнакомки... дымки севера / Шли на дно, как идут обломки / и жестянки консервов». Для Маяковского «старая Россия», «Россия Блока», олицетворялась в образах блоковских стихов. Георгий Иванов, в чьем роду были военные — и со стороны отца, и со стороны матери, а два брата служили в царской армии, — связывает образ России с военными событиями и именами. О чем говорит Георгий Иванов, что застряло у него в сознании из того времени, когда он жил в большевистской России и, естественно, «болел» за белых?

Легендарный Ледяной поход — первый поход Кубанской добровольческой армии Деникина (март 1918 года), в ходе которого формировалась Белая армия. Капитан Иванов (Иванов-Тринадцатый) — герой Русско-японской войны, воевавший затем в армии Деникина и в итоге принужденный вместе с ее остатками эвакуироваться в Турцию... Воспоминания о том и другом с уходом «старого мира» действительно исчезли; если окончательно не ушли из истории, то из людской памяти точно...

¹⁰ Андрей Арьев видит в этом стихотворении «отчаянное развитие» идеи тютческого «Эти бедные селенья». «Именно к нему „Хорошо, что нет Царя...“ является горьким постскриптумом: ни земного царя не осталось, ни небесного...»

И снова типично ивановское заострение: «невероятно до смешного». При чем здесь смех? А при том, что случившуюся трагедию поэт, совершенно в своем духе, готов приравнять к комедии.

В монографии много об активной работе Георгия Иванова в предвоенное «парижское время», о котором позднее он вспомнит как о счастливом, он печатается в журналах, оказывая огромное влияние на поэтов «парижской ноты», огрызается на недружелюбные отзывы коллег (Ходасевич, Набоков), выходят его книги...

В довоенные годы издается проза Георгия Иванова. В первую очередь это «Петербургские зимы» (1928), Арьев пишет о них так: «Книга, ради правды вымысла то и дело приносящая в жертву правду факта, с живой непринужденностью передает дух литературной жизни Петербурга 1910—1920 годов».

Мой совет тем, кто еще не читал этих очерков, — прочитайте! Это блестящий и, как кажется на расстоянии, достоверный рассказ о тех, кого начинающий поэт знал, видел, с кем общался. Разумеется, не без отбора. Прежде всего это будут те, кого из современников Иванов, с его общепризнанным литературным вкусом и поэтическим чутьем, признает «лучшими»: Александр Блок, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Анна Ахматова... Некоторые картины врезаются в память. Не могу забыть, как Иванов описывает работающего в кабинете Блока. Каждый час тот должен был выпивать стакан вина, иначе, видимо, работа не шла. Два слова в сторону. В прошлой монографии автор не касался темы «пьянства» Георгия Иванова, просил убрать из рецензии слова о «спивающемся» поэте. В новой работе эта тема не обойдена. Приводится цитата из письма самого Г. И. к С. А. Риттенбергу: «Я пьяница — не знаю, известно ли Вам это, пьяница давно, „всерьез и надолго“. От чрезмерного употребления спирта жизнь моя пришла в безобразное состояние. Но рассчитываю вылечиться».

Однако продолжу о «Петербургских зимах». Хорошо известно, что наряду с восхищенными отзывами о них были и отрицательные. Например, Анны Ахматовой, о которой Г. И. не написал в своей книге ни одного худого слова. Возможно, она обиделась на описание Мандельштама. Иванов встретил его в раннюю пору, в период «Камня» (1913), когда тот был «самым смешливым существом на свете». Ахматовой же хотелось другого, отсюда ее отзыв: «...мелко, пусто и несущественно».

Мне хочется присоединиться к отзыву из «Современных записок», приводимому Арьевым: «Независимо от случайных ошибок памяти и обмолвок, картина, данная в блестящей книге Г. В. Иванова, „исторически верна“...»

Еще одна проза, на этот раз не мемуарная, а отражающая современность, — «Распад атома» — книга издана в Париже перед войной, в 1938 году. Книга отрицания всех канонов и табу и прорыва к чему-то новому. Поразительно, как много параллелей нашел Арьев к этой «поэме в прозе» в западной литературе — французской, английской, американской, даже ирландской (Джойс), — что еще раз говорит о безбрежной эрудиции автора. Из всех приведенных имен выделю Льва Семеновича Выготского, чье определение трагедии с юности казалось мне наиболее точным и эстетически прозорливым. В какой-то степени оно может объяснить и смысл «Распада атома»: «...два развивающихся в ней (в трагедии. — И. Ч.) плана замыкаются в одной общей катастрофе, которая одновременно знаменует и вершину гибели и вершину торжества героя» (из «Психологии искусства»).

Третья часть монографии, названная «Если плещется где-то Нева (1939—1958)», посвящена самому драматичному времени в жизни Георгия Иванова и его супруги Ирины Одоевцевой.

Причем начинался этот период вполне благополучно. Приведем целиком первый абзац этой главы, который понадобится нам для последующего:

«Всю Вторую мировую войну Георгий Иванов с Ириной Одоевцевой провели в Биарицце (там у них была роскошная дача. — И. Ч.), ставшем с 1940 года оккупированной зоной. Явным репрессиям со стороны немцев не подвергались. Следовательно... Следовательно, им служили».

Как всегда у Арьева, этот вроде бы «окончательный» вывод подвергается сомнению. Приводятся различные доводы «за» и «против». При этом обнаруживается, что масса других русских писателей-эмигрантов, в частности Мережковский, Шмелев и др., или открыто приветствовали приход фашистов, или сотрудничали в фашиствующих печатных органах, чего у Г. И. и Одоевцевой не было. Однако нужно заметить, что и в этом вопросе позиция Арьева-исследователя слегка сдвинулась. Если прежде его убеждение в отсутствии коллаборационизма у четы Ивановых-Одоевцевых выглядело железобетонным, то сейчас оно поколебалось: Иванов, как и многие его соотечественники-эмигранты, надеялся на то, что с приходом Гитлера рухнет ненавистный сталинский режим.

После войны лишившимся всех доходов, дачи — сначала отобранной немцами, а потом разбомбленной американцами, — библиотеки, ценнейших писем и рукописей (Блока, Гумилева) Иванову и Одоевцевой ничего другого не оставалось, как жить в старческих домах на обеспечении государства, ждать «американских гонораров» (Г. И. последние семь лет жизни сотрудничает с нью-йоркским «Новым журналом») и кормиться за счет пожертвований «на бедность» богатых или сердобольных соотечественников...

При том, что за четой тянется шлейф коллаборационизма (было — не было?), любопытно, что после войны в Иванове, как и во многих тогдашних эмигрантах, разыграл «русский дух». Победа над Гитлером сделала советскую Россию как-то ближе и роднее.

Арьев приводит найденные в рукописях и впервые опубликованные незаконченные статьи Г. И. «о русской эмиграции во Франции» и «О русском народе». Первая говорит о «нечаянной радости» — встрече с Россией (которую так трудно отделить от ненавистного С.С.С. Р¹¹.), вторая содержит такое утверждение: «Но перед нацией, такого напора и жизненной силы — есть только одна возможность — жизнь». Партийное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года поэта отрезвило и вернуло к прежнему взгляду на страну и народ, находящихся под властью Сталина и его подручных.

В это тяжелейшее для поэта время, время, когда все силы уходили на «выживание», появляется поразительный сборник. Я бы сравнила его с ахматовской «Лебединой стаей» — по красоте и емкости каждого стихотворения. Говорю о «Портрете без сходства» (1950). Соглашусь с Арьевым, что это «высшее достижение ивановского лиризма». Вот из него первое стихотворение, начало которого дало название третьей главе:

Что-то сбудется; что-то не сбудется;
Перемелется все, позабудется.

Но останется эта вот, рыжая,
У заборной калитки трава.

Если плещется где-то Нева
Если к ней долетают слова —
Это вам говорю из Парижа я
То, что сам понимаю едва.

¹¹ Так в подлиннике.

Мне кажется, что такие стихи, которые появляются так просто, «как растет трава», вот так, из ничего, — это и есть тот спасительный Дар, который Господь припас для поэта. Нева упомянута здесь не случайно. Георгий Иванов все эти долгие годы, живя на берегах Сены, нес в душе и эту Неву, и Петербург, и тех поэтов, которых встретил и полюбил в юности... Тому свидетельство стихи этого сборника.

Не касаюсь здесь истории с убийством на Почтамтской, 20, о которой в монографии Арьева сказано совсем мало, он называет ее «кровавым наветом», по аналогии с обвинением евреев в использовании крови христианских младенцев в пасхальной маце. Этой, как кажется, сфабрикованной истории Арьев посвятил специальную статью¹².

Осталось сказать, что книги, изданной с такой академической полнотой и полиграфической щедростью, я давно не держала в руках. Строго оформленный переплет, прекрасная бумага, четкий, хорошо читаемый шрифт, замечательно подобранный иллюстративный материал: фотографии, афиши, автографы и автошаржи, факсимильное воспроизведение страниц рукописей. В приложении «Биографическая канва» — с нее, кстати, я начала чтение книги — очень увлекательно. Краткая библиография, включающая как книги самого Георгия Иванова, так и книги о нем. Список иллюстраций и именной указатель.

Поздравляю автора и нас, читателей, с появлением этого замечательного труда!

Айдар ХУСАИНОВ

СИБИРЬ? ДА Я ТАМ ВСЕХ ЗНАЮ!

Красноярские оригиналы: Повести, рассказы, воспоминания /

Сост. С. Задереев и Е. Попов. Минусинск: Издательский дом «Ошаров и Ко.», 2024.

Как-то в своей родной деревне Кугарчи, что в Зианчуринском районе, в Башкирии, поднимался я на гору да и свернул в лесок, который чудом растет в небольшой ложбине ближе к верхотуре самой. А там обнаружился небольшой родничок посреди полянки. Если руки, левую да правую, сложить пальцами друг к другу, ну вот такое небольшое зеркальце воды, прозрачной и холодной. А внутри этого зеркальца, размером с пятак — мелкий такой песочек на дне. А вот из песочка и вырываются пузырьки — это и есть родник. Из самого сердца земли он булькает, родной, и уже дальше бежит с воодушевлением, несет себя людям и окружающей его природе.

Не просто так я вспоминал о родничке, а навеяли на меня эти воспоминания рассказы красноярских писателей, опубликованные в книге, которая так и называется «Красноярские оригиналы». Могучим сибирским архетипом повеяло от этой книги, видимо, именно здесь и находится сердце Сибири, ибо рассказы эти — о бродягах.

¹² Арьев А. Когда замрут отчаянье и злоба // Звезда. 2008. № 8.

И даже когда пишут тут нам о писателе Викторе Астафьеве, то одобрение рассказчика вызывают черты характера героя, которые ведут свое начало от духа бродяжьего, а осуждается все, что от лукавого, то есть от культуры высокой, ненароком им и напрасно вовсе приобретенной в странствиях по Руси.

А вот художник Поздеев одобрение получает полное, ибо наш оказался пьющий, а главное, что такой же бродяга, как и все вокруг.

И сообщает нам об этом писатель Александр Астраханцев искренне, от всей души, не боясь никакого осуждения, ибо за что тут осуждать? За правду сибирскую, что ли?

Писатель Сергей Задереев в своих рассказах делится самоощущением бродяги, который задержался на месте и оттого чувствует себя неудобно, все ждет момента, чтобы в путь отправиться.

Можно задаться вопросом: вот писатель написал три длиннющих рассказа, а у меня для него всего три строчки в итоге, как же так? Тут нужно упомянуть биографию писателя, причудливые изгибы которой сами по себе художественное произведение. Достаточно сказать, что родился он в селе Ирбейское Ирбейского же района. Находится оно в глухой тайге за Енисеем. Удивительно, не находите? Не легче ли стать писателем человеку, урожденному в культурном центре, с детства в нее, то есть культуру, погруженному? Так-то оно так, но вон ведь как получается!

Всякому бродяге положен предел, а называется он полицейские. И вот остановят они путника, да спросят, кто ты, мил человек, откуда путь держишь? Сядет тут бродяга, да начнет рассказывать о себе, да всю правду-то и выложит. В этом формате и работает Сергей Кузнечихин, человек давно и прочно сибирский, даром что, баит, будто под Костромой родился. Да он не только о себе, и о деде, и об отце с матерью рассказывает, заслушаешься. Рука не поднимется такого добра молодца, да столько пережившего, в кутузку-то запирать да лишний раз досматривать.

Ну а следующий за ним автор вопросов и вовсе не вызывает. Да это же сам Попов, который Евгений свет Анатольевич! В таком тесном окружении и рассказы его из фантазмагорических-фантазийных и вовсе становятся правдой, какая она есть. Живут так люди, и хорошо живут, то есть могли бы и лучше, но вот так оно сложилось. Архетип, значит, сибирский таков. Юнг не даст соврать. Закрадывается у нас страшное подозрение, что автору, то бишь Попову, и друг его Аксенов полюбился этой вот сибирской стороной своего характера, то есть бродяжьей да свободолобивой. Жил бы да жил, нет, альманах «Метрополь» замутил, такую кашу заварили они с Поповым!

А в книге этой, в рассказах этих целая галерея таких людей со своей историей каждый, так что возникает еще один момент — уж не энциклопедия ли сибирских характеров перед нами?

А поскольку я тоже в Сибири жывал, да в лесу работал, да в Барнаул на перекладных езживал, то что-то да видел в этой жизни!

А вот в конце книги той опубликованы две повести Эдуарда Русакова. И как незнаем электрон, так и сибирские характеры неисчерпаемы, хоть вычерпывай ковшом. И поскольку наш человек в ОВИР теперь не ходит, а ходит в кассу железнодорожного вокзала, то он смело может сказать кассирше: «Дайте мне билет в Сибирь!» — и на резонный вопрос: «Почему в Сибирь?» — может так же резонно ответить: «А я там всех знаю!»

Так что хорошо, что такая книжка вышла и в руки мне попала, а я ее прочитал. И вам не то что советую, но рекомендую. И не то что рекомендую, потому что в каком магазине вы ее найдете? Там же милорд глупый продается! Но вот есть Интернет, и там наверняка можно углядеть да и скачать эту книжку, которая называется «Красноярские

оригиналы», а вышла в 2024 году в маленьком Минусинске. Но это не так важно. А важно, что каждому-то городу надо бы так своих писателей привечать да книжки их издавать, чтобы люди-то знали. Польза от этого дела, знаете ли, превеликая!

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Михаил Рахунов. В трубу трубили слоники... СПб.: Алетейя, 2023. — 284 с.: ил. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы).

Михаил Рахунов. Негасимый свет вечерний. 135 стихотворений. Чикаго, 2024. — 147 с.

Михаил Рахунов (1953 г. р., Киев), международный гроссмейстер по шашкам, двукратный чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата мира (1989), с 1995 года проживает в пригороде Чикаго. Он уехал в США после развала СССР, когда шахматисты и шашкисты стали не нужны ни республиканским, ни городским властям. Возглавляемый им Украинский республиканский шахматно-шашечный клуб был ликвидирован, а помещение продано. Человек с ярко выраженными математическими способностями, он стал программистом, а затем открылась поэтическая грань его талантов. Он и раньше писал стихи, но впервые они были опубликованы в Чикаго в 1995 году. В 2009 году он, обратившись к творчеству «американской Марины Цветаевой» С. Тисдейл (1884–1933), практически незнакомой русскоязычному читателю, дебютировал как поэт-переводчик. С тех пор переводит англоязычных поэтов: Р.-Л. Стивенсона, У. Йейтса, Р. Киплинга. Оказывается, математика, шашки и поэзия, физика и лирика прекрасно сочетаются. Михаил Рахунов — поэт многогранный, остро воспринимающий красоту природы в ее обыденном проявлении. Природные ритмы: смена времен года, дня и ночи — во многом определяют его мироощущение. В его стихах звучит птичий гомон, разбитной голосок птиц, звонкие трели; озябший клен кутается в желто-красный плащ, продрогшие деревья стынют в ожидании весны; вольно ведут себя белки и вороны; своей жизнью живут луна, солнце, облака. «С тенью играет дорога, смотрит во тьму наугад, / Ветер запутался в листьях, небо из темных заплат». Поэт стремится превратить птичий гам, дробь дождя и рев машин в живую речь, возвеличить и сберечь стоны, возгласы и вздохи окружающей его среды. За внешней простотой бытописания зримо проступают вечные вопросы бытия: текучесть времени, «кто мы есть?», «откуда?», «в чем жизни смысл?», место человека в мире и в вечности и сколько еще осталось лет и зим самому поэту. Из «пыли незатейливых буден» поэт в надежде познать себя и свой путь на Земле устремляется за пределы Ойкумены, туда, где рождаются звезды, где обитают ангелы и есть знаки божественного присутствия.

Пойду, поброжу по осеннему саду
И там на скамью одинокую сяду.
Взгляну на притихшие липы и клены
И буду мечтать в окружении сонном:
«...На острове дивном за морем далеким,
Где птиц голоса и где мыслей истоки...»

Все призрачно здесь, недосказано Богом,
И все мы поймем лишь за смертным порогом...

7 ноября 2016–28 декабря 2018

* * *

Легко нам музыка дает
Возможность слышать за пределом
Той грани, там, где переход,
Очерченный упрямым мелом.

За гранью, там, где переход,
Где музыка совсем другая,
Где стрелок остановлен ход
Одним щелчком, как бы играя.

...

И только музыка дает
Возможность оценить без страха
В прах неизбежный переход
И вновь рождение из праха.

2016

В то же время стихи свидетельствуют о жизнелюбии, стоицизме, готовности поэта следовать выбранным путем, как бы труден он ни был.

Зря ты себя распинаешь порой,
Что ты устал и совсем не герой.
Нужно идти и сквозь дождь, и сквозь снег,
Пусть и не твой этот сумрачный век,

...

Время рассудит, кто прав, а кто нет,
Будут, увидишь, идущие вслед.

* * *

Не пешки мы в этой игре в непонятки,
Не голь для битья, не картофель для грядки.
Мы мыслим — и, значит, достойны успеха;
Мы можем уплыть, улететь и уехать;
Сказать свое слово, поступком ответить —
И быть всех мудрее на всем белом свете.

Поэту открыт весь мир, что нашло отражение в стихотворных зарисовках: Амстердам, где спит сама история; чужая страна Латвия, неповторимый Париж; древности Осетии; когда-то благословенная, а ныне унылая Грузия; страна минаретов и юрких торговцев с муравейником Стамбулом. Рахунова можно назвать поэтом многих тем. Есть и публицистические, горькие и жесткие, очень личные стихи, посвященные когда-то родной Украине. Это и «Предсказание» 2019 года:

Рабам, отдавшим все за мелочь,
Не убережь страны своей.
И кто-то в черном метит мелом.
Фрамуги проклятых дверей.

И другое, 2020 года:

Как живете-можете,
Жалкие и вздорные?
Как всегда на торжище
С бубнами и горнами?

И с ума все сходите,
Ах, от одиночества,
Что досталась Родина
Вам не та, что хочется?

Лишь плевки да окрики,
Что бы мы ни сделали,
Будьте вы все прокляты,
Рожи оголтелые!

И смело — для жителя США — звучат строки, посвященные России:

Она живет и будет жить столетья!
И счастлив я, что и ни тем, ни этим
Ее распутным злом не окружить.
Не удушить завистливым советом,
Не соблазнить подачкой со стола...

М. Рахунов давно дал отповедь всем «постмодернистам»: «Оставьте меня в покое на все времена мои, / Провидцы, глупцы, герои, бездельники, холуи...» Он убежден, что «поэзия — один из немногих видов искусства, к которому нужно относиться серьезно, я бы сказал, очень серьезно. Ерничество, чрезмерная ирония, заповившие современные поэтические книги, журналы и Интернет, не должны выдавать себя за поэзию. Это недопустимо так же, как выставлять в одном зале для всеобщего обозрения картины, написанные маслом, и газетные вырезки карикатур. Этот низкий жанр должен вести себя подобающим образом. „Тень, знай свое место! “...» Для него как поэта важно все: интуиция, мысли, слова и строчки, музыка стиха. Он искусно использует разные стихотворные размеры, разные формы — рифмованные стихи и верлибры, соблюдает точность рифм. Переключки с наследием русских поэтов прошлых веков и современников свидетельствуют о глубоком знании их трудов. М. Рахунов дал свое краткое и емкое определение поэзии:

Поэзия — это просто
Разговор с Богом.
На равных.

И с удивлением —
Обоюдным.

М. Рахунов убежден: поэзия невозможна без возвышающей любви к родному языку.

Ты вернешься в мой город дрожанием листьев,
Звоном первых трамваев, гудками машин.
Ты не можешь быть ложным, пустым, ненавистным,
Ты не можешь быть грязным, никчемным, чужим.

Ты ворвешься в дома позывною трубою,
Светом, полным надежды, речным ветерком.
Там, где каждое деревце дышит тобою,
Ты не можешь быть, слышишь, слепым чужаком.

Ты вернешься на площади, улицы, скверы,
Где сам воздух к твоим перезвонам привык.
Ты вернешься, — я верю всей силою веры, —
Оклеветанный завистью русский язык!

2009

Он готов распространить русский язык на весь мир. Тем более что есть единая, великая поэзия, создаваемая на русском языке чуть ли не во всех странах мира. Он проводит международные поэтические форумы «Солнечный ветер», на которых собираются русскоязычные поэты со всего мира. В США помогает печатать книги на русском языке. В книгу «В трубу трубили слоники...» вошли стихи, написанные Рахуновым с 2016-го по 2023 год, его переводы зарубежной поэзии, стихи для детей. В сборник «Негасимый свет вечерний» — 135 стихотворений разных лет, которые сам поэт считает лучшими.

Дарио Фо, Франка Раме. Дочь понтифика: Роман. Пер. с итал. Н. Колосовой.
СПб.: Лимбус Пресс, издательство К. Тублина, 2023. — 272 с.: ил.

Лукреция Борджиа (1480—1519), одна из самых загадочных женщин эпохи Возрождения, была незаконнорожденной дочерью кардинала Родриго Борджиа, в 1492 году ставшего папой Александром VI, и его официальной любовницы Ванноццы деи Каттанеи, имевшей от Родриго четырех детей. Религиозная карьера Родриго начиналась под покровительством дядюшки, папы Каликста III. Борджиа прославились властолюбием, алчностью, коварством, неразборчивостью в достижении своих целей, беспринципностью и аморальностью. Из-за неприязни, которую они вызывали в Италии, широкую известность приобрели слухи об отравлениях и убийствах в семействе Борджиа, о плотской связи Лукреции с отцом и братом. Считалось, что Лукреция смертельно опасна красотой, остро отточенным умом и ядом, который в кубках с отравленным вином подносила врагам папского престола. В художественных и документальных книгах, в спектаклях, в кино- и телефильмах она предстает как преступница и олицетворение разврата. Дарио Фо реабилитирует моральный облик своей героини. Его Лукреция — женщина образованная, воспитанная, набожная, многодетная мать и любящая жена. Дарио Фо тщательно изучал документы и делал выводы, исходя из проверенных источников. Никаких исторических оснований для обвинений Лукреции

в разврате, отравлениях, тем более в инцесте нет. Обычная информационная война, а слух про ее «отношения» с отцом и братом распустил первый муж Джованни Сфорца, которого Борджиа представили импотентом, чтобы аннулировать ставший невыгодным брак. Дарио Фо считает Лукрецию жертвой, которую с самой ранней юности неоднократно и без жалости возлагали на алтарь финансовых и политических интересов отца — папы Александра VI и брата-кардинала Чезаре. Товаром, ценность которого определялась происхождением, семейными связями и в последнюю очередь — красотой, образованием, душевными качествами. Современник описал внешность Лукреции, когда ей было лет двадцать: «Она среднего роста, отлично сложена. Лицо продолговатое, нос правильный, волосы золотистые, глаза неопределенного цвета. Довольно большой рот, белоснежные зубы, красивая стройная шея, великолепный бюст. Всегда весела и улыбчива». Ради выгодных политических союзов ее выдавали замуж за самых перспективных для семьи женихов. Ее чувства, предпочтения в расчет не принимались. Так, когда отпала необходимость в союзе с могущественными Сфорца, мужа Лукреции вывели из игры. Дарио Фо придерживается общепринятой версии, что Александр VI тайно приказал казнить Джованни, о чем Лукрецию проинформировал ее брат Чезаре, и она предупредила своего мужа, который бежал из Рима и уже потом под давлением собственной семьи подписал признание в мужском бессилии. Всех своих мужей, а их было трое, Лукреция любила и, как могла, спасала от своей кровавой семейки. Любимую дочь и сестру пристроили в другое, более на тот момент перспективное в политическом смысле семейство. Второй муж, неаполитанский Альфонсо Арагонский, после того, как его политическая ценность снизилась, был убит по приказу Чезаре. Этот брак продлился всего около двух лет. У мужчин рода Борджиа, по словам Лукреции, было непреодолимое свойство — на ходу менять свои планы. А следы предыдущих скрывать в могиле. Желая поднять в общественном мнении престиж дочери, Александр VI, на месяц отправившись во главе армии на юг Италии для решения некоторых территориально-имущественных проблем, поручил управление Ватиканом Лукреции. И она блестяще справилась. В начале 1502 года она вышла замуж за Альфонсо I д'Эсте, герцога Феррарского. В этом браке у нее родилось восемь детей. И хотя у нее были и длительные отношения с деверем Франческо II Гонзагой, и роман с поэтом Пьетро Бембо, она считалась респектабельной и образованной герцогиней эпохи Возрождения, что позволило ей пережить падение Борджиа после смерти отца. С 1505-го по 1519 год она, герцогиня-консорт Феррары, Модена и Реджо, правила этими землями. Дарио Фо в подробностях изображает все семейные перипетии своей героини: личные отношения Лукреции с мужьями, с их родственниками, со своими близкими — семейством Борджиа. Он показывает ее и в ежедневных заботах, и в семейной жизни, и в государственных делах. Иронично и хлестко воссоздает исторические реалии эпохи Итальянского Возрождения: изощренные интриги, коварные заговоры, политические и военные столкновения. История папы римского Александра VI и его родственников неотделима от эпохи Возрождения. Они следовали нравам конца XV века, и они их определяли. Время больших страстей, когда самые скандальные истории считались нормой. И когда на праздничном «примирительном» ужине по приказу Чезаре перерезали, перебили все семейство Орсини, общество в поступке Чезаре увидело прежде всего ловкость и решительность, хладнокровие истинного кондотьера, ибо «важен не сюжет полемики, а способ ее ведения: побеждает тот, кто первым перережет горло другому». И когда Чезаре, отлучая от церкви и власти крупных феодалов за неуплату налогов в казну Папской области, сумел стать в короткий срок хозяином огромной территории с городами, угодьями, крепостями и замками, очарован-

ный масштабами этой операции Макиавелли посвятит ему свой политический трактат «Государь». И идут бесконечные войны на территории, раздробленной на королевства, герцогства, карликовые государства Италии, создаются и рассыпаются союзы. В хитросплетениях большой политики свою игру ведут Франция и Испания, император Священной Римской и король Неаполя и Сицилии, герцог Мантуи Франческо II Гонзаго и герцог Феррары Альфонсо I д'Эсте... И все это требовало присмотра Ватикана. Неудивительно, что в бурных событиях постепенно погрузилась в пучину забвения Великая реформа против привилегий и излишеств, подкупов и вымогательств в церковной среде, затеянная Александром VI. В России итальянского писателя Дарио Фо, нобелевского лауреата по литературе (1997), знают мало. На родине он известен как драматург и как стендапер, который сам находится на сцене и произносит авторский текст. Историческим моноспектаклем является и «Дочь понтифика». Отсюда особое изящество текста, в котором свободно соединяются исторические события и современный язык, остроумные диалоги и ироничные суждения.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит издательства
за предоставленные книги

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

РУССКИЕ ПАЛОМНИКИ У СВЯТЫНЬ БЕЛЬГИИ

Часть 2

Соборная колокольня; вечевой колокол

Символом Гента является Беффруа — набатная башня (флам. Belfort), которая возвышается напротив кафедрального собора. Начата в 1183 году, основная постройка — 1313—1321 годы, окончена к 1339 году, высота 91 метр; наверху медный дракон, 1380 год, длина 3,5 метра. «Бельфортская башня, в пятьсот ступеней вышины, а на ней колокол в 11 тысяч фунтов весу»¹, — сообщалось об этой башне в русской печати. «Эта квадратная башня построена в 1300—1339 гг.; музыкальные часы в 44 колокола отлиты в 1661 г.»², — дополняет сведения о гентской колокольне один из русских авторов.

Это ее колокол, знаменитый «Роланд», сотрясал великолепным звоном стены домов и сердца горожан. Отлитый в 1314 году, он предупреждал жителей Гента о стихийных бедствиях, и надпись на нем гласила: «Слышен громкий удар — значит, вспыхнул пожар. Я в набат начинаю бить — во Фландрии буре быть». Он был самым звучным из 52 колоколов, что составляют карийон гентской Беффруа, и самым тяжелым — целых 6 тонн³.

Дальнейшая судьба «Роланда» была связана с бурными событиями, потрясшими Гент в 1539 году. Вот что рассказывает об этом Н. И. Греч.

В 1539 году граждане Гента, находившегося под управлением сестры императора, отказались выплатить чрезвычайную военную подать, и среди города возникло возмущение так называемых крессеров (крикунов), составившихся из самых низких ремесленников. Они казнили городского главу Лиевина Пина и хотели было поддаться Франции. Появление грозного императора с войском образумило их. Карл повел судить преступников и, выслушав защиту, объявил их виновными в оскорблении величества, приговорил заплатить денежную пеню и явиться пред ним с повинною

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Рот Р. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотрения света. СПб., 1761. С. 97.

² Ненашев А. П. Бельгия, Голландия и Лондон. М., 1911. С. 56.

³ Герман М. Антверпен. Гент. Брюгге. Города старой Фландрии. Л., 1974. С. 101.

головую. Старшины города, в черном одеянии, босиком, с непокрытой головой, тридцать граждан, начальники ткачей с пятидесятью мастерами сего ремесла, шесть членов других сословий, наконец, пятьдесят крессеров, главнейшие виновники бунта, в одних рубахах, с веревкой на шее, явились пред императором и наместницей его, и на коленях просили прощения. Карл отнял у города все его привилегии, доходы, имущества, пушки и другое оружие, даже знаменитый вечевой колокол, именовавшийся *Роландом*, и созывавший мятежников к восстанию. Укрепления города были разрушены, жители обязаны (были) выплатить большие суммы и содержать в исправности цитадель, которую велено было построить для удержания буйного города в покорности. Четырнадцать крессеров были казнены. Сими средствами Карл V утвердил власть свою в Нидерландах⁴.

Итак, «опальный Роланд» был низвергнут с колокольни, но на своем месте остался медный дракон длиной 3,5 метра, установленный на Беффруа в 1380 году. Об истории этой диковины рассказывает Н. И. Греч: «На вершине башни был медный вызолоченный дракон, трофей победы, одержанной Гентом над гражданами Брюжа (Брюгге. — *Авт.*), которые получили его в дар от графа Балдуина Фландрского. Граф, как говорит предание, привез его из Палестины, где он возвышался над мечетью. В большие праздники зажигают на башне смоляные бочки и из пасти драконовой пускают ракеты»⁵.

О медном драконе упоминает и князь Алексей Мещерский. В своих заметках под 1839 год он пишет про Беффруа: «Башня по древности, как и по архитектуре, очень замечательна. Проходя мимо, я искал глазами медного дракона, который, как говорят, был снят с цареградской мечети и привезен в Брюгге, а оттуда попал в Гент; но его не было: он находился на то время в руках мастера, для некоторых поправок»⁶.

Впрочем, не все удалось осмотреть на Беффруа и другим русским путешественникам. В начале XX столетия старинная сторожевая башня высотой в 91 метр подверглась серьезной реставрации. Александр Блок, побывавший в Генте летом 1911 года, не смог увидеть ее во всей красе. «Сегодня очень жарко. Сейчас уезжаю в Брюгге. *Veffroï* в лесах»⁷, — сообщал поэт жене в письме из Гента 25 августа (7 сентября н. ст.) 1911 года.

Гент издавна славился колокольными звонами. Именно здесь появились первые часы с механическим колокольным боем. Они были установлены на городской башне, как только она была достроена; затем здесь появились «жакмарты» — бронзовые карлики, которые отбивали часовой звон молоточками. Потом, продолжая увеличивать число колоколов, гентские мастера открыли возможность подобрать из них целую гамму и исполнять сложные мелодии. «Первые колокольные клавикорды устроил в 1543 году один гентский органист, — сообщалось в русской печати, — это показалось для того времени таким замечательным событием, что о нем даже упомянуто в современных мемуарах. Получив способность разыгрывать праздничные арии, колокольный звон естественно приспособлен был затем и для гражданских мотивов и стал принимать близкое участие в жизни города»⁸.

...Давно молчит, стоя на пьедестале, низвергнутый Карлом V колокол «Роланд». Неподалеку от него — памятник императору Карлу V и памятник освободителю города Артевельде. Время примирило бронзовые фигуры.

⁴ Греч Н. И. Парижские письма... С. 188—189. О гентском вечевом колоколе см.: Пантелеева С. В. Нидерланды и Бельгия. СПб., 1905. С. 139—141.

⁵ Там же. С. 192.

⁶ Мещерский А. Записки путешественника. М., 1842. С. 279.

⁷ Блок А. Письма к жене. М., 1978. С. 274.

⁸ Изар И. Современная Бельгия. Пг., 1914. С. 167.

Церковь Св. Николая (Синт Никласкерк)

Церковь Св. Николая (Синт Никласкерк) — одна из самых старых храмов Гента; она стоит на площади Хлебного Рынка. Возведение церкви Св. Николая восходит к началу XIII века; трансепт и хор — около 1230—1250 годов, а своды завершены лишь в 1658 году. В своих записках Н. И. Греч рассказывает историю, связанную с храмом Синт Никласкерк.

«Мне показывали в ней на одном столпе надпись, что подле церкви погребен Оливер Менжан (Minjan), жена его и тридцать одно дитя их, — пишет российский литератор. — При въезде Карла V в Гент Менжан встретил его в сопровождении двадцати одного сына и обратил на себя его внимание. Император осведомился о состоянии этого семейства, и удостоверившись, что Менжан, простой ремесленник, дал детям своим хорошее воспитание, пожаловал ему пенсию. Вскоре потом Менжан поражен был смертью всех детей своих: они умерли от *потовой* заразы (*suette*), занесенной из Англии. Несчастные родители вскоре последовали за детьми своими»⁹.

Как и другие храмы Гента, церковь Св. Николая стала жертвой наполеоновской оккупации: «она пострадала во время революции, и в ней нет классических произведений»¹⁰, — пишет Н. И. Греч.

Церковь Св. Михаила (Синт Михилскерк)

Этот готический храм возводился с 1440 года по XVII век. Алексей Мещерский рассказывает о судьбе церкви Св. Михаила: «Она была начата в половине 15 столетия; ее башня, которую хотели поднять на высоту 400 футов, осталась недостроенной»¹¹.

Беды, связанные с наполеоновским нашествием, претерпели многие храмы города; не избежала этой участи и церковь Св. Михаила. «Здесь Французская революция оставила памятник ужаснейшего поругания святыни: в 1792 году храм св. Михаила был торжественно переименован Храмом Разума, и на престоле поставили статую вольности, перед которой совершались бракосочетания. В 1802 году водворилось богослужение, но совершенно ограбленная церковь являла вид самого жалкого опустошения, — сообщает русский князь. — Теперь престол отделан в простоте новейшего вкуса и, как мне показалось, очень расчетливо. Распятие, кисти Ван-Дика (Ван Дейка. — *Авт.*), почитается лучшею картиною в храме; умирающий Спаситель на кресте изображен превосходно»¹².

Ограбленная французскими якобинцами, церковь Св. Михаила «лишилась многих художественных драгоценностей. Они заменены были впоследствии картинами новых артистов (художников. — *Авт.*)»¹³, — добавляет Н. И. Греч.

Бегинаж Св. Елизаветы (Синт Элизабет)

В старинном Генте до сих пор сохраняются здания двух Бегинажей: Малый (Онзе-ливе-Врау; основан около 1234 года, перестроен около 1600 года) и Большой (Синт Элизабет), с его романскими, готическими и ренессансными постройками и церковью, возведенной в 1637 году (перенесен в Новый Бегинаж, 1874 год, архитектор А. Верхаген).

⁹ Греч Н. И. Парижские письма... С. 198.

¹⁰ Там же.

¹¹ Мещерский Алексей. Записки путешественника. М., 1842. С. 277.

¹² Там же.

¹³ Греч Н. И. Парижские письма... С. 197.

Бегинки (познелат. *beguinae*), члены женских полумонашеских общин, объединялись для ведения совместной благочестивой жизни и не принадлежали ни к одному ордену. Первые упоминания о бегинках как «святых женщинах» (лат. *mulieres sanctae, mulieres religiosae*) встречаются в конце XII века в документах г. Люттиха (соврем. Льеж, Бельгия)¹⁴.

Вот что пишет об этих общинах Н. И. Греч: «Орден бегинков основан, как говорят одни, в VII веке, святой Беггой, матерью Пепина Геристальского. Другие приписывают учреждение его Ламберту Косноязычному (*le Begue*) в 1180 г. Достоверно то, что они появились в XII веке в Люттихе, распространились потом в Нидерландах и в западной Германии, в Швейцарии и во Франции. В половине XIII века было их в Кельне и в окрестностях до двух тысяч, в Нивелле столько же, близ Камбре тысяча триста»¹⁵.

Термин «бегинки» появляется в источниках около 30-х годов XIII века. Традиционно он связывается с именем священника Ламберта де Бега (сконч. ок. 1180 года), якобы основавшего первую общину бегинков, хотя, возможно, он происходит от какого-то уничижительного слова, например, средненижненемецкого *beggat* — нищенствовать или древнесаксонского *beg* — просить милостыню. Возможно, что бегинки стали называться так из-за одежды, сшитой из грубой, неочищенной шерстяной ткани серо-коричневого цвета (отсюда франц. *beige* — беж).

С XV века покровительницей бегинков стала считаться св. Бега, с именем которой в XVII века связывалось название «бегинки». К середине XIII века движение бегинков получает распространение в Южных Нидерландах, прирейнских районах Германии и во Франции, где сообщества благочестивых женщин назывались «*Filles compagnes du bon secour*»¹⁶.

«Причины умножения их числа должно искать в крестовых походах, — пишет Н. И. Греч. — Многие отцы семейства погибли, много было вдов и сирот; девицы не находили женихов, и имели необходимость в защите от буйства развращенных рыцарей. Для вступления в женский монастырь, требовались большие вклады. Бегинажи были приютами для благочестивых жен и дев, соединявшихся для совместного жития, в целомудрии, тишине и молитве. Они не давали вечного обета, могли оставлять обитель по своей воле и выходить замуж. Зависели они не от духовных, а от светских властей, потому что не были утверждены папой и не принадлежали ни к какому монашескому ордену. И одежда у них была не одинаковая: они носили платье серое, черное, коричневое, иногда и голубое, с белым покрывалом. Занимались они воспитанием бедных девиц, призрением сирот, ходили за больными и отличались благочестием, трудолюбием и строгостью нравов»¹⁷.

Бегинки объединялись под управлением избранной ими настоятельницы для ведения благочестивой жизни и благотворительной деятельности. Многие сообщества бегинков имели тесные отношения с нищенствующими францисканским и доминиканским монашескими орденами. Однако с 1244 года поступление в союз бегинков в некоторых землях было запрещено женщинам моложе 40 лет из-за обвинений в испорченности нравов. В 1287 году бегинкам было отказано в праве заниматься торговлей. В 1307 году по обвинению в ереси состоялись казни бегинков в Тулузе¹⁸. «Всему в свете бывает предел, — пишет Н. И. Греч. — С течением времени важность их уставов и строгость повиновения ослабели; легкомыслие и пороки водворились в скромных и чистых дотоле

¹⁴ Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002. С. 414.

¹⁵ Греч Н. И. Парижские письма... С. 198.

¹⁶ Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002. С. 414.

¹⁷ Греч Н. И. Парижские письма... С. 198–199.

¹⁸ Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002. С. 414.

приютах. В XIV веке бегинки исчезли в Германии и Франции, и уцелели только в Нидерландах, потому что здешние обители строже наблюдали правила своего общества»¹⁹.

В дальнейшем отношение Римско-католической церкви к бегинкам не раз менялось, пока с XV века не стало терпимым. Отдельные общины бегиннок сохранились до настоящего времени в Амстердаме, Брюгге, Генте и некоторых других городах Бельгии²⁰.

В 1705 году русский посол А. А. Матвеев посетил гентский Бегинаж Св. Елизаветы, где присутствовал на общей молитве. Об этом сообщается в записках русского автора, который отметил, что посол «был в кляшторе монахинь закона святых Елисаветы, которых в той киновии с 900 обретается особ. Носят покрывала белая, ходят в черном платье, где во время вечерни с органами оне пели партес, какой сладости голосов их описать невозможно. Правило имеют нетяжкое и могут выходить без удержания свободно замуж, если не похотят в том законе больша быть»²¹.

Пение бегиннок настолько понравилось А. А. Матвееву, что он не преминул отметить это даже в официальной дипломатической переписке. Из Гента А. А. Матвеев впервые за время пути отправил 16 сентября (ст. ст.) письмо в Москву Ф. А. Головину, которое было получено 9 октября. В нем он писал о Генте: «Сей город бывал резиденцией прежде цесарей, которые обще державу правили гишпанскую. Величеством мало меньши Амстердама, токмо жильем пустее, кляшторов с 70 имеет разных регул законников, а больша монахинь, которых в одном кляшторе регулы святые Елисаветы с 1000 особ видел я и пение слышал голосов неописанных»²².

В 1843 году в Бегинаже Св. Елизаветы побывал другой российский паломник — Н. И. Греч. «Бегинажи есть во многих больших городах Бельгии, но гентский Бегинаж св. Елисаветы считается одним из самых важных, — пишет отечественный автор. — Я рассматривал его с любопытством и вниманием. Посреди просторного двора, обведенного высокой каменной стеной и окруженного рвом, возвышается небольшая церковь, содержащая в примерной опрятности. Вокруг нее построено множество домиков с небольшими отдельными дворами, в которых обитают отшельницы. Я входил в один такой дом»²³. Вот его рассказ.

Учтивая бегинка немолодых лет, показывала мне все его части, толковала и образ жизни сестер, их занятия, и проч. В эти обители поступают вдовы и девицы, желающие провести остаток жизни своей в удалении от светского шума и суеты земной. Они живут небольшими обществами, в отдельных домиках. Пищу стряпают себе сами, в общей кухне, но каждая сама для себя. Обедают в общей столовой, каждая за своим столиком и перед своим шкапом, в котором прячет свое кушанье. Говорят, что это заведено для избежания ссор и раздоров между ними.

Все они занимаются каким-нибудь рукоделием, преимущественно плетением кружев, и обучают маленьких девочек. Ходят они в черной одежде с белым покрывалом. Числом их до семи сот. Они могут оставить бегинаж, когда пожелают, но это случается очень редко: в пятнадцать лет вышли из обители только шестеро. Заведение это достойно всего внимания и уважения.

Иосиф П, упразднивший многие монастыри в своих владениях, сохранил заведение бегиннок, а король Нидерландский Вильгельм I в 1836 году утвердил их су-

¹⁹ Греч Н. И. Парижские письма... С. 199.

²⁰ Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002. С. 414; О бегинках в Генте см.: Ненашев А. П. Бельгия, Голландия и Лондон. М., 1911. С. 59—60.

²¹ Цит. по: Русский посол во Франции... С. 40.

²² ЦГАДА, ф. 93. Сношения России с Францией, оп. 1, 1705, № 2, л. I об. (см. указ. соч., с. 241, примеч. 24).

²³ Греч Н. И. Парижские письма... С. 199.

ществование законом. Но смешение духовного со светским, отсутствие священного обета, которым человек навек обрекает себя на служение Богу и жизнь богоугодную, охлаждает посетителя бегинажей²⁴.

Общины бегинок существуют в Генте и донныне, как и в близлежащем Брюгге. Поэтесса русского зарубежья Мария Вега, посетившая Фландрию в 1929 году, вопрошала с ностальгией:

Может быть в монастырской келье,
Где лампы всю ночь горят,
Суждено мне молитвы зелье
И бегинки скромный наряд.

.....
Или там, в России далекой,
Где в полях сверкает покос,
Буду девушкой синеокой
С пышной лентой в золоте кос?²⁵

Монастырь Сестер милосердия

В записках русских паломников, посещавших Гент, большое внимание уделяется храмам и другим старинным постройкам, находящимся в центре города. В отличие от своих собратьев по перу, Н. И. Греч не довольствовался беглым осмотром гентских достопамятностей и, наряду с посещением Бегинажа, нанес визит в монастырь Сестер милосердия, где его «ожидало высокое душевное наслаждение»²⁶. Слово отечественному литератору.

Монастырь Милосердых Сестер Иисуса и Марии находится в части города, отдаленной от центра и от светского шума, в старинном здании угрюмой наружности. Лонлакей постучался. Привратница отворила двери, и впустила нас в небольшую приемную комнату. Я отдал ей свою визитную карточку, и минуты через две вошла в комнату монахиня, лет тридцати пяти, довольно высокого роста, статная, милостивая, приветливая, и с самым чистым французским языком (здесь преобладает фламандский), в самых учтивых выражениях изъявила удовольствие принять гостя из далекой России. Я изумился этим неземным явлением.

Платье на ней черное, фланелевое, белая фланелевая пелеринка, на голове снеговый чепец. Но эти выразительные глаза, эти правильные черты лица, эта приятная улыбка, эта благородная поступь, этот очаровательный голос, в котором отзывалась кротость душевная, эта откровенность во всех действиях и речах — все это меня дивило и восхищало. Я пошел за нею и предлагал ей вопросы, на которые она отвечала умно и искренно.

Мы вошли в коридор, над дверями которого изображено слово: Silence! Монахиня предвела меня, что в этом месте не позволено говорить, а тут-то мне, по обыкновенной падкости человека ко всему запрещенному, и хотелось предложить ей несколько вопросов. Из коридора вход в церковь. Вожатая моя пред алтарем преклонила колени с искренним благочестием, и прочитала тихую молитву. Мы пошли далее. Она рассказала мне, что сестры сей обители занимаются исключительно воспитанием глухонемых девочек и попечением о неизлечимо больных, которых в больнице монастыря до полнотораста.

В большой зале собраны были глухонемые. Под надзором нескольких монахинь они занимались чтением, письмом, рукоделием. Вызвали одну девочку лет десяти.

²⁴ Там же. С. 200.

²⁵ Вега М. Полюнь Парижа. Б/г. С. 36.

²⁶ Греч Н. И. Парижские письма... С. 200.

Путеводительница моя продиктовала ей движениями пальцев, девочка написала на доске по-французски: этот господин приехал издалека, из России, и посетил наше заведение. Я взял мел, и написал, что считаю за счастье узнать людей столь благочестивых и благодетельных.

— Понимаю, сказал я монахине, что Вы можете выразить движением пальцев, рук, головы, слова: *этот, господин, приехал*; но как выразили Вы имя собственное: Россия?

— Эти слова выражаются буквами, а не понятием, отвечала она: вот *R*, вот *и*, вот *s*, и так далее.

Достоин внимания, что точно таким же образом выражались имена собственные и в иероглифах египетских.

После этого экзамена посетил я кухню, пекарню, прачечную: все устроено в порядке и удобно, везде тишина и нидерландская опрятность. Все работы в доме, и самые трудные, и самые отвратительные отправляются сестрами беспрекословно, безропотно, в сладостном чувстве исполнения священного своего долга. В кухне и в прачечной молодые, прекрасные собою послушницы мыли посуду, полы, стирали белье. Сестра хотела повести меня в больницу неизлечимых, но я не имел духу последовать туда за нею.

Виденное мною преисполнило мою душу искренним умилением, которое не скрылось и от путеводительницы моей, и, сколько я мог заметить, было ей очень приятно. О жизни и занятиях своих говорила она с сердечным удовольствием. «Мы здесь совершенно счастливы, не знаем, что делается в свете, и находим отраду в благоденствии нашим ближним, в облегчении их страданий».

И Вы не сожалеете о свете? — спросил я.

Да что мы там оставили? Кашемиры и бриллианты: мы их носили и видели всю их ничтожность. Здесь живем мы в совершенном спокойствии духа, в надежде, в предвкушении тех благ, которые Спаситель завещал в ином свете.

И это было сказано без всякого лицемерия или хвастовства, с неизъяснимой, увлекательной истиной и скромностью.

Мы вышли в сени. Сестра поклонилась мне учтиво.

— «Пожалуйста мне вашу руку!» — сказал я.

— «Не смею», — отвечала она.

«Так благословите меня!», — сказал я ей, преклонившись пред нею.

«Да благословит Вас Бог! — отвечала она с чувством, — вижу, что Его святая благодать на Вас действует».

Я вышел из монастыря, погруженный в чувство умиления пред сими истинно христианскими добродетелями, и не раз оборачивался дорогой, чтобы взглянуть на почерневшие стены, в которых таятся такие сокровища.

Всякому, кто любит и чувствует добродетели христианские, советую, в случае посещения Бельгии, съездить в Гент и пойти в монастырь Сестер Милосердия. Не знаю, как зовут мою незабвенную путеводительницу: я не догадался спросить ее об имени. Сей монастырь, равно как и многие другие богоугодные заведения Бельгии, обязан существованием своим христианскому усердию каноника Триеста, который оставил здесь по себе благословенную память. Из монастыря пришел я прямо домой. Хорошо, повторяю, что я видел театр и прочие светские здания прежде этого: теперь я не был бы в состоянии взглянуть на них.

Читатели мои, может быть, найдут, что описанного мною недостаточно было для возбуждения такого сильного чувства умиления. Но могу ли я выразить все, что видел? Я описал только наружность действовавших на меня лиц и предметов, а той духовности, той святости, которая облекала и проникала их, ни мое перо, ни чье другое не опишет. Между мертвым изображением добрых дел буквами на бумаге, и между действительным их созерцанием есть такая же разность, как между молитвой напечатанной и той же молитвой, произнесенной устами верующего²⁷.

²⁷ Там же. С. 201—203.

Музей изящных искусств

Музей изящных искусств в Генте занимает видное место среди крупнейших художественных музеев Бельгии по богатству и разнообразию своих коллекций. Основание его собраний было заложено еще в конце XVIII века, когда в связи с секуляризацией церковных имуществ множество первоклассных произведений искусства стало собственностью городских властей. Особенно богатыми оказались имущественные владения ордена иезуитов, запрещенного указом 1773 года. При этом по распоряжению австрийских властей было приобретено немалое количество живописных и скульптурных произведений, которые были затем отправлены в Вену. В 1783 году Иосиф II отдал распоряжение (Бельгия тогда входила во владения Габсбургского дома) о закрытии в Генте еще тринадцати религиозных общин и изъятии у них принадлежащих им ценностей. Произведения искусства из их состава были проданы на аукционах²⁸.

В 1789 году во Франции начались революционные события, которые затронули и соседнюю Фландрию. Многочисленные храмы подверглись разрушению, а монастыри — упразднению. Об этом постоянно напоминают отрывки из записей русских путешественников, бывавших в Генте в начале XIX века. Об этом в 1828 году писал Р. Ниберг, врач по профессии. По его словам, «военный госпиталь в Генте занимает прежде бывший монастырь; в нем помещаются 150 больных»²⁹.

«В 1826 г. учрежден в Генте Университет, занимающий здание бывшего монастыря, — продолжает Р. Ниберг. — В сем университете обучаются 600 студентов»; «главная зала весьма обширна, она занимает прежнюю церковь монастыря»³⁰.

Сведения о Гентском университете дополняет другой автор из России — И. Симонов, побывавший в Бельгии в 1842 году. Он пишет об университетской библиотеке Гента, также размещенной в бывшем церковном здании: «Публичная библиотека очень бедна числом книг, но заключает в себе очень драгоценные рукописи, взятые из уничтоженных аббатств. Между прочими показывают там Библию, написанную в XIII столетии, необыкновенно отличным письмом, на пергаменте столь тонком, что вся Библия заключается в одной книге в 12-ю долю листа. Библиотека помещается в церкви древнего бенедиктинского аббатства»³¹.

(И. Симонов сообщает аналогичные сведения о событиях 1789 года, происходивших в Льежском епископстве: «Литтихский университет составляет лучшее украшение города. Он основан 25 сентября 1816 г. и занимает здание, построенное на развалинах иезуитской церкви. Библиотека состоит из 75 тысяч книг и из шестисот рукописей, взятых из уничтоженных аббатств провинции»³².)

С гонениями на Церковь были связаны пополнения художественных собраний Гента, когда в связи с секуляризацией церковных имуществ множество произведений религиозной живописи стало собственностью городских властей. Войдя в Гент 12 ноября 1792 года, французские оккупационные власти распорядились об отправке в Париж многих сокровищ.

Оставшиеся двести пятьдесят произведений были собраны в церкви Св. Петра, которая как музей была открыта для публики 22 ноября 1802 года. Но уже в 1805 году кол-

²⁸ Седова Т. А. Художественные музеи Бельгии. М., 1973. С. 37.

²⁹ Ниберг Р. Путешествие по Германии, Италии, Швейцарии, Франции, Англии и Нидерландам в 1828 и 1829 годах. СПб., 1831, ч. III. С. 84.

³⁰ Там же. С. 82.

³¹ Симонов И. Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году. Казань, 1844. С. 245.

³² Там же. С. 261—262.

лекции перевели в Академию изящных искусств, основанную в бывшем монастыре августинцев. Вот как излагает эти события И. Симонов: «Художник Мариссаль в 1751 году был основателем в Генте Школы рисования, живописи, скульптуры и архитектуры. Через 20 лет это училище получило от Марии Терезии название Королевской Академии. Уничтоженные аббатства ее обогатили: Академии были отданы дом, назначенный для августинской коллегии, и 150 картин, которые составили галерею Академии»³³.

В бывшей обители августинцев бесценные полотна оставались в течение ста лет. И лишь в 1896 году бургомистр Гента барон Браун обещал городу строительство нового здания музея. Разработка его плана была поручена архитектору города Шарлю ван Рейселберге. Открытие здания музея состоялось в 1902 году с участием принца Альберта и принцессы Елизаветы по случаю их торжественного въезда в Гент. Полностью оборудованный музей был открыт 9 мая 1904 года королем Леопольдом II.

Во время Первой мировой войны музей испытал много трудностей. Гент был занят немецкими войсками. Музей закрылся, так как в нем расположилась немецкая часть, и был открыт для посетителей только в мае 1921 года. После начала Второй мировой войны часть коллекций была эвакуирована в По, другие спрятаны в крипте собора Св. Бавона, в ратуше и в библиотеке университета. Часть произведений бесследно исчезла. Здание музея снова было занято немецкими войсками. Понадобилось около десяти послевоенных лет, чтобы восстановить его в прежнем виде³⁴.

Православные приходы Гента

После 1917 года в Бельгии нашли приют беженцы из советской России. Едва ли не единственными русскими островками православия в этой стране были храм Св. Николая (Брюссель, Московский патриархат), церковь Иова Многострадального и церковь Воскресения Христова (Брюссель, Русская православная церковь за границей). Именно вокруг этих приходов формировалась эмигрантская община. Молодое поколение, сменившее «старую гвардию», сумело найти свое место в жизни, не порывая связи с русскими традициями.

Примечательна судьба Наталии Георгиевны Рейнгардт — внучки генерала Романовского, начальника штаба армии генерала Деникина. Она родилась в Бельгии, работала переводчиком при бельгийском посольстве в Москве, личным секретарем супруги короля Леопольда III, ставшей церковной старостой при соборе Св. Николая в Брюсселе... В 1985 году вышла на пенсию и стала преподавать... фехтование.

Однако старшее поколение так и не смогло избавиться от ностальгии, и мысли о родине неотступно преследовали «Русь уходящую». Вот строки из стихотворения «О России», написанного Зинаидой Шаховской:

Как сказать твое простое имя,
На фламандской, радостной земле
Солнце падает лучами золотыми,
Может быть, и ты одета ими,
Может быть, и ты цветешь в тепле.

О тебе кричать... Тебя забыть...
Это все, что нам теперь осталось.
И еще, — осталась в сердце жалость,
Нам велящая тебя любить³⁵.

³³ Там же. С. 245.

³⁴ Седова Т. А. Художественные музеи Бельгии. М., 1973. С. 37–38.

³⁵ Шаховская З. Перед сном. Париж, 1970. С. 53.

В 1930 году в Генте открылся первый православный приход, входивший в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Это был приход для русских студентов, и служил там простым священником будущий архиепископ Парижский Георгий (Тарасов). Просуществовал этот приход до 1953 года, до отъезда Георгия Тарасова в Париж³⁶.

В 1969 году Константинопольским патриархатом была учреждена в Бельгии митрополия, насчитывающая 20 приходов: шесть в Брюсселе, по одному в городах Антверпен, Шарлеруа, Монс, Льеж, Намюр, Гент и др. Об истории нынешнего православного прихода святого апостола Андрея в Генте рассказывает его настоятель — протоиерей Игнатий Пекстад.

Приход в Генте был основан после второй мировой войны, когда в Бельгию на работу в угольных шахтах приехало около 20 тысяч рабочих из Греции. Тогда Константинопольский патриарх послал в Бельгию трех священников, одним из которых был нынешний митрополит Пантелеимон. Не было храма, где он мог бы служить, не было жилья; три месяца он должен был спать на полу. И вот однажды один католический священник, итальянец, сказал ему: «Вы можете разделить со мной мою комнату. Вы православный священник, я — католический; мы — братья, и я хочу Вам помочь».

С того дня все пошло успешно. То, что сегодня, возможно, трудно понять в России, так это то, что на Западе Католическая Церковь очень помогает Православной. Православная община в Генте получила от католического епископа Брюгге 150 тысяч франков на строительство нового храма, а один из католических монастырей предоставил общине 100 тысяч франков. Они знают, что мы православные. У нас прекрасные отношения, мы уважаем друг друга.

В моем приходе около 600 верующих. Наша община — региональная, объединяющая не только верующих Гента, но и других, живущих от города в 20—50 километрах. В нашей общине более 40 русских, более 30 сербов, около 50 греков. Есть и приехавшие с Ближнего Востока, из Ливана. Есть киприоты, есть около 40 эмигрантов из Болгарии. Остальные — бельгийцы.

Мы стараемся сохранить прекрасные славянские песнопения, напевы — и в этом мы следуем русской литургической традиции — но, на нашем родном фламандском языке. Богослужебные тексты были переведены на фламандский язык в монастыре святого Иоанна Предтечи в Гааге, в Голландии. Наш фламандский язык, хотя мы и говорим: мы фламандцы, мы фламандский народ, — это тот же язык, что и в Голландии, только несколько отличается от голландского по произношению. Наше письмо, наша лексика — те же, что и у голландцев. Основные богослужебные книги были переведены на фламандский язык после Второй мировой войны настоятелем гаагского монастыря архимандритом Адрианом, посвятившим этому делу всю свою жизнь. Интересно, что в Бельгии переводы литургических текстов появились раньше, чем во Франции. Так что для наших прихожан, в том числе и для эмигрантов из других стран, для которых фламандский язык стал просто вторым родным, вовсе нет никаких языковых проблем³⁷.

Отец Игнатий Пекстад неоднократно бывал в бенедиктинском монастыре Шеветонь (Бельгия), и с его настоятелем аббатом Мишелем ван Парийсом, уроженцем Гента, у него большая дружба: они друзья с детства. Монахи Шеветони налаживают добрые контакты между Римско-католической и Православной церквями. Протоиерей Игнатий служит в городе, где рядом находятся четыре храма разных конфессий: ка-

³⁶ Пекстад Игнатий, прот. Православие в Бельгии // Альфа и омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. № 3 (6). М., 1995. С. 210.

³⁷ Там же. С. 209—210.

толический, реформатский, англиканский и православный. И это побуждает духовенство Гента к сотрудничеству на местном уровне.

Один раз в месяц мы, священники разных исповеданий, собираемся вместе, чтобы обсудить различные проблемы, — продолжает о. Игнатий свой рассказ. — Мы — друзья, наше общение абсолютно открытое, между нами нет никакого напряжения. И так уже многие годы. Сейчас мы строим новый храм, поскольку старый уже не может вместить всех прихожан. Поэтому время от времени наш приход собирается для молитвы в протестантском храме, а затем православные вместе с другими христианами общаются друг с другом за совместной трапезой. Есть и традиция: за два месяца до Рождества Христова хоры всех храмов собираются в самом большом, католическом, и исполняют рождественские песнопения. Я сам — член смешанной экуменической комиссии в Бельгии, куда на равных правах — несмотря на то, что католиков в стране большинство — входят представители всех четырех конфессий. Мы много и плодотворно работаем³⁸.

В настоящее время у Московского патриархата в Бельгии также имеется несколько православных приходов: Свято-Никольский собор, церковь Прав. Анны, часовня Апостола Иоанна Богослова (Брюссель), храм Российских святых в Левенском (Лувенском) католическом университете и Свято-Троицкий храм в Шарлеруа. Прихожанами православных церквей являются в основном эмигранты из России, Украины и Греции, а также небольшое число коренных бельгийцев.

В 1976 году в городке Первейзе (в 50 километрах к западу от Гента и в четырех километрах от побережья Северного моря) был основан православный монастырь в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте». Эта обитель была образована по благословию архиепископа Гаагского и Нидерландского Иакова с разрешения правящего архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Московский патриархат).

Постепенно братия пополнялась насельниками. В 1980 году во иеромонаха был рукоположен отец Иоанн, в 1983 году был рукоположен во иеродиакона отец Елевферий, в 1990 году — брат Моисей, в 1993 году — брат Силуан... В 1988 году игумен Фома получил благословение от епископа Симона на строительство новой церкви. Возведение и благоустройство нового храма были проведены под особым покровительством Божией Матери и св. Мартина Турского.

В храме хранятся частицы мощей св. Иоанна Крестителя, св. Иоанна Златоустого, св. Иакова брата Господня, 40 мучеников Севастийских, св. Пиата, св. Урсулы. Кроме молитвенного правила, монахи занимаются огородом, кустарным производством козьего сыра. Но их главная работа — переводы и издания на фламандском языке. Приход проводит катехизацию для новообращенных в православие. При монастыре основано «братство для мирян» и «апостольская диакония», которые поставили себе задачу перевести труды избранных отцов Церкви и распространять их среди фламандского населения.

По словам правящего архиепископа Симона (Ишунина), монастырская братия разумно соединяет в себе «духовность Марии» и «материальное попечительство Марфы». Монахи являются проводниками света Христова, который просвещает всякого обращающегося к нему человека, исполняя прежде всего первую и главную заповедь любви к Богу и ближнему.

³⁸ Там же. С. 212.

Contents

Prose and Poetry

Yulia Pikalova. Temples. *Poems* • 3

Alexander Laskin. Matyushin's Wives. *Documentary novel* • 7

Valery Skoblo. The Best Country in the World. *Poems* • 106

Eric Schmitke. Laptev's Method. *Story* • 109

Vladimir Spektor. And the Truth is Called Victory... *Poems* • 153

Non-Capital Russia

Yulia Dolganovskikh. Dark Glow. *Poems. Foreword by D. Dragunsky* • 156

Publicistic Writings

Dmitry Lanko. The Agrarian Question and the Finnish Economic Miracle • 164

Criticism and Essays

Alexander Melikhov. A Good Reason to Remember • 187

On the 130th Anniversary of Vsevolod Ivanov

Maria Chernyak. „The Deaf Composer“ Vsevolod Ivanov • 196

Elena Papkova. The Writer's Path in the Context of History: Vsevolod Ivanov • 201

Vsevolod Ivanov. Piebald Coast. *Short Story* • 207

Vera Kalmykova. Valery Bryusov — Cultural Hero of Russian Modernism. *Article Two. Prose. Movement* • 212

Petersburg Bookman

Territory of Memory. *Sergei Soloukh.* Between K. R. and „LEF“. **Reviews.** *Irina Chaikovskaya.* The Last Poet of the Silver Age. Book about Georgy Ivanov. *Aidar Khusainov.* Siberia? I know everyone there! **Book Island.** *E. Zinovieva's Publication* • 222

The Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Russian Pilgrims at the Holy Places of Belgium. *Part 2* • 244

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»

Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9

Телефон: (812) 314-72-50

E-mail: nevaredaction@mail.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Сайт «Невы»: <http://nevajournal.ru>, <https://neva-journal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>, <https://neva-journal.ru>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 26.12.2024. Подписано в печать 23.01.2025.

Выход в свет 06.02.2025. Гарнитура «Октава».

Формат 70×108 $\frac{1}{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 8

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86

Тел. (812) 207-58-43